

Ф. И. Гиренок

# АУТОГРАФИЯ ЯЗЫКА И СОЗНАНИЯ



**Ф.И. Гиренок**

**АУТОГРАФИЯ ЯЗЫКА И СОЗНАНИЯ**

---



[ebooks@prospekt.org](mailto:ebooks@prospekt.org)

## Информация о книге

УДК 1/14(075.8)

ББК 87.я73

Г51

### ***Автор:***

**Гиренок Ф. И.**, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философской антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Книга посвящена философским проблемам сознания. Автор возражает против биологизации философского дискурса о человеке и задается вопросом: что является определяющим для сознания — приспособление к миру или самоограничение человека? Функция отражения или функция воображения? Нуждается ли сознание в языке или язык — это явный враг сознания? В поисках ответа Федор Гиренок обращается к анализу наскальной живописи — впечатляющему результату существования человека воображающего.

Автор — сторонник аутографического исследования феномена человека; суть его — в рассмотрении аутизма как фундаментальной антропологической характеристики. Отсюда неизбежен вывод об асоциальной природе человека.

Книга предназначена всем, кто интересуется современной философией.

УДК 1/14(075.8)

ББК 87.я73

© Гиренок Ф. И., 2016

© ООО «Перспект», 2016

## Предисловие

В 2010 году вышло первое издание «Автографии языка и сознания». Прошло шесть лет. Издательство «Проспект» предложило мне переиздать эту книгу, внося в нее необходимые изменения. Признаюсь, мои взгляды на сознание и язык не изменились и мне ничего не пришлось менять в «Автографии», кроме как исправить технические погрешности. Я по-прежнему считаю, что современная философия существует в форме антропологии. Из вопроса о том, что есть бытие, не следует ответ на вопрос о том, что есть человек. Напротив, из ответа на вопрос о том, что есть человек, следует ответ и на вопрос о том, что есть бытие, и почему существует «что-то», а не «ничто». Существование «что» неотделимо от существования «ничто» в жизни человека. На мой взгляд, европейская философия не заметила этой двойственности и поэтому не смогла поставить вопрос о человеке. На мой взгляд, человек рождается как творец и вопрос о человеке нужно ставить как вопрос о том, что позволяет человеку творить и чем он вынужден заплатить за свое творчество.

В античности не верили, что творчество является атрибутивным свойством человека. Звезды, по словам Аристотеля, являются более интересным объектом исследования, чем человек. Греки и римляне полагали, что творчество является способностью божественного и вечного, и верили, например, что у каждого человека есть свой гений. То есть они думали, что гениален не человек, а демон. Если у человека что-то не получалось, то отвечал за это не он, а его гений. Человек не был субъектом своей мысли. Он не мог сказать, как Декарт, «я мыслю», потому что мысль приходит к нам не тогда, когда мы захотим, а тогда, когда она захочет.

Изъян в субъектности человека попыталась восполнить философия Ренессанса, которая приписала вечное индивиду. Она в конечное поместила божественное. «Я творец, — заявил человек. — Я Бог». Но, кто он, человек не знал. Антропологический поворот в философии совершил Кант, заявив, что вопрос о том, что есть человек, является основополагающим для философии. Кант открыл в человеке продуктивную способность воображения априори.

Благодаря этой способности человек смог стать причиной реальности объектов своих галлюцинаций. Боги и гении перестали творить реальность, им было в этом отказано. После Канта человек уже понимается как конечное бытие, которое не нуждается в поддержке богов.

Открытие бессознательного в XIX веке обесмыслило кантовский антропологический поворот. Кант задал вопрос: «Что есть человек?». Ницше ответил, что человека на самом деле нет, ибо человек — это бессознательное, а не сознание. На этом закончился антропологический поворот в европейской философии, которая обнаружила в себе страсть к позитивному, к искоренению ненаблюдаемого. Если у Канта человек понимался как сознание, то к XX веку утвердилась мысль о том, что нужно заниматься не сознанием, а бессознательным. Анализ сознания ведет к мистической непрозрачности априорных синтезов воображения. А наука хотела обойтись без Бога. Анализ бессознательного ведет к телу человека, к социуму, к тому, что формирует бессознательное. Наблюдая за сознанием, философы не могли не думать, что человек существует. Отделив «что» от «ничто», устремившись в погоню за позитивностью, европейская философия стала наблюдать за бессознательным и поняла, что человек не существует, потому что в человеке осталось только то, что улавливается его телесностью. Но человек не является чем-то исключительно позитивным. В нем есть еще и воображаемое, субъективное. Если человек — тело, то это тело, которое галлюцинирует и относится к галлюцинации как к реальности. Одной из таких реальностей является социум, ибо социум — это не множество индивидуумов, а множество фигур воображаемого.

Современной философии, на мой взгляд, придется отказаться от позитивности, чтобы вернуться к вопросу о том, что есть человек. Если бессознательное — это язык, то сознание — это не язык, а непозитивное присутствие себя по отношению к себе. Бессознательное — это сознание, которое было у тебя и ушло.

## Введение

Современная философия научилась различать мыслящее и разумное, сознание и интеллект. Это различие позволяет избежать примитивных трактовок сознания, а также биологизации антропологического дискурса, когда разговоры о нейронах сознания замещают понимание проблем сознания, а обсуждение проблемы гиппокампа подменяет обсуждение проблемы воображения. Как заметил Выготский, физиология всегда будет пытаться «съесть» психологию. Я могу лишь добавить, что «прожорливая» аналитика пытается сегодня «проглотить» даже самую философию. Примером биологизации философского дискурса является эволюционная психология, а примером натурализации метафизики сознания является теория зеркальных нейронов Ризолатти, а также теория модулей Пинкера. В терминах этой теории нельзя различить то, что противоречит самому себе, и то, что себе не противоречит, полагая, что противоречит себе человек, а не противоречит себе животное.

То, что себе противоречит, обладает сознанием, или, что одно и то же, способностью быть слабее себя или сильнее себя. То, что себе не противоречит, обладает разумом. У сознания есть два атрибута: воображение и изображение. У разума — один. Вычисление. Что такое разум? Разум — это вычислительная машина, используя которую, можно все сосчитать и измерить. Сознание — это греза, воображение. Можно быть разумным, но немыслящим, и можно быть мыслящим, но неразумным. Человека обычно относили к существам разумным и ошибались, потому что он является мыслящим, но неразумным существом. И эта последняя теза открывает горизонт аутографического исследования в философии человека. Что такое аутография? Это изображение человека, построенное так, что оно включает в свою онтологию феномен аутизма не как болезнь, не как исключение из нормы, а как первичный синтез жизни человека.

Рассмотрим два примера. В одном из них речь пойдет об обезьяне, которая действует почти как человек. Американские

ученые, реализуя амбициозный проект по обучению обезьян языку, научили одну обезьяну рассматривать фотографии. Однажды перед ней положили стопку фотографий и попросили изображения людей отложить в одну сторону, а изображения обезьян — в другую. Обезьяна легко справилась с этой задачей, показав наличие у нее интеллекта. Однако свою фотографию она почему-то положила к изображениям людей, а фотографии своих родителей — к обезьянам. Это действие, если оно действительно случилось, носит уже не интеллектуальный характер, а экзистенциальный. Рефлексия, то есть сравнение и соединение представлений, случается, как заметил еще Кант, даже у животных. Правда, у них она носит инстинктивный характер. Поскольку животные не удваивают мир, являясь элементом самого этого мира, постольку, я думаю, экзистенциальная версия рефлексии обезьяны, скорее всего, зародилась в воображении экспериментаторов и затем была приписана обезьяне.

Другой пример относится к человеку, который действует как обезьяна, играя в шахматы с ЭВМ. Для игры в шахматы нужен ум, который не связан с сознанием, то есть для игры нужен интеллект. В процессе игры не машина приобретает сознание, чтобы состязаться с человеком, а человек его теряет, уподобляя себя машине. Тем самым проблемой становится вопрос о том, что есть человек и чем он отличается от машины. И не является ли он сам живой машиной? Само понятие человека становится сегодня зыбким и неопределенным.

Вопрос о том, что есть человек, представлен Кантом как самый главный вопрос философии. В «Логике» Канта установлена зависимость трех трансцендентальных вопросов, а именно: «Что я могу знать, что я должен делать и на что я смею надеяться?» — от одного простого, как выстрел, нетрансцендентального вопроса: «Что есть человек?»

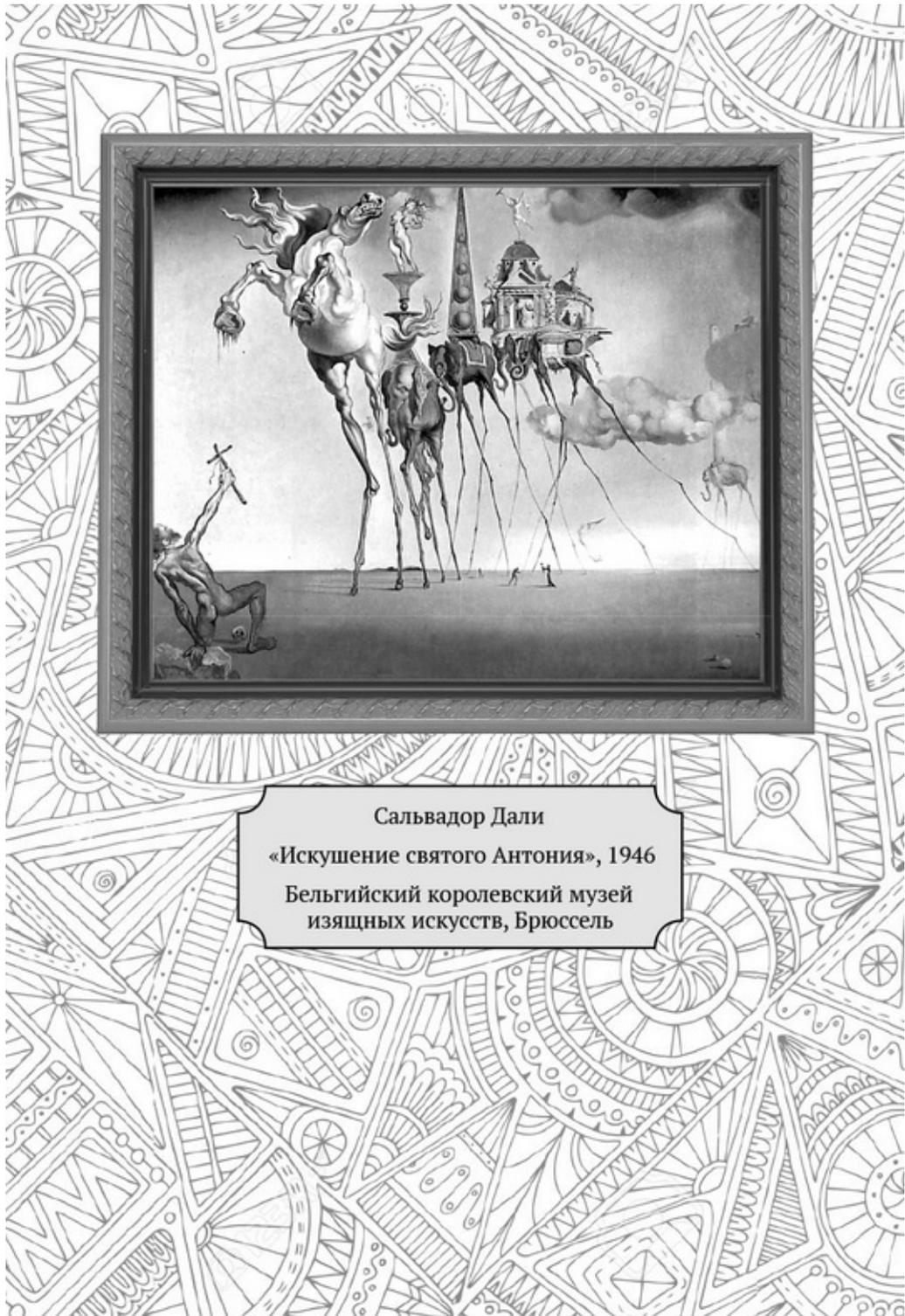
На эту зависимость опираются те, кто сомневается в универсальном характере философии, кто не верит в возможность мыслить мыслимое вне связи с тем, что мыслит человек. Конечно,

стремление уподобить философию науке, попытка сделать ее чем-то вроде математики мысли сыграли свою роль в истории философии, породив ряд успешных проектов, таких как феноменология. Но объективирующее мышление всякий раз натывается на свой предел, на отсутствие у человека сущности, которая бы показывала себя независимо от действия, обращенного человеком к самому себе. Преданное натуралистическому забвению бытие — это не то, что раскрывает сущность человека, напротив, это человеком раскрываемая сущность.

С осознания этого обстоятельства начался антропологический поворот в философии. Этот поворот заставил Фуко заявить о том, что философия находится в опасности, что она погружается в сон, навеянный антропологией<sup>1</sup>. Чтобы спасти ее, Фуко решил мыслить по-новому. Для этого он предложил «разрушить до основания весь антропологический четырехугольник»<sup>2</sup>. Тем самым Фуко восстал против Канта. «В наши дни, — говорил Фуко, — мыслить можно лишь в пустом пространстве, где уже нет человека»<sup>3</sup>. Тем же, кто не желает мыслить без мысли о том, что мыслит именно человек, Фуко противопоставил философический смех. В этом смехе растворилось понимание различия между человеком, животным и машиной. Ведь если мысль мыслится вне связи с тем, кто мыслит, то указанное различие теряет смысл.

На мой взгляд, безмолвному смеху Фуко следует противопоставить гебефренический смех тех, кто сам для себя устанавливает закон, кто не выходит к бытию за пределы самого себя, не пытаясь опереться на некую чистую онтологию.

Сама по себе такая попытка является источником всех ненастоящих принципов мышления. Тогда как настоящие принципы мышления не выходят за пределы человеческого воображения. Вопреки Фуко, человек — это не тот, кто трудится, не тот, кто говорит. Человек — это тот, кто галлюцинирует, создавая из материи галлюцинаций реальность. Человек — это и есть неуловимая иллюзия, обладающая свойством самоактуализации.



Сальвадор Дали  
«Искушение святого Антония», 1946  
Бельгийский королевский музей  
изящных искусств, Брюссель

## Глава 1. Аутография абсурда

Нельзя, подчиняясь логике языка, понять, как появился язык. Нельзя говорить о сознании, пребывая вне сознания. А, будучи в сознании, мы можем говорить только о прошлом. Настоящее сознания ускользает от разговора о сознании. Нельзя понять человека, не понимая смысл аутизма. Во всех этих случаях нашему мышлению нужно будет пройти пространство абсурда.

## **1. Разумность мира**

Мир разумен потому, что в нем для всего есть своя причина. При этом минимум сущности в нем соответствует максимуму существования. Силами реальности всякое сущее может быть приведено в такое положение, в котором оно будет испытывать действие двух причин, одна из которых исключает другую. И при этом обе причины будут действовать в одном и том же месте, в одно и то же время, в одном и том же отношении, что, конечно, уже само по себе абсурдно. Поскольку субъектом такой двойной логики является человек, постольку он абсурден, то есть в одном и том же отношении и свободен, и подчинен необходимости. Поскольку ни одно животное не может быть двойственным, постольку оно разумно. Вывод: мир сохраняет свою разумность до тех пор, пока ему удастся уклониться от встречи с абсурдом.

## **2. Встреча с абсурдом**

Человек — это неудачная попытка мира уклониться от встречи с абсурдом. В феномене человека закодировано неумение спрятать себя в складках наличного, затеряться в просторах возможного. Поэтому человек подчинен одновременно и логике свободы, и логике нудящей необходимости. Человек — это плата разумного мира за встречу с абсурдом, перед которым разум слагает свои полномочия, отказываясь быть поводырем. Поэтому на любом человеке всегда, как клеймо, лежат следы, оставленные его изначальной неразумностью.

## **3. Трансгрессия природы**

Силой абсурда человек устанавливает себя как мыслящее, но

неразумное существо. В той мере, в какой он грезит, он выходит за пределы наличного. Выходя за пределы наличного, человек перестает быть природным существом. Перестав быть природным существом, человек не становится существом культурным. Трансгрессия границ биологии не означает скорого попадания в мир социума. Она также не означает появление какого-то обезьяночеловека. Она означает появление воображающего человека и начало войны между телом и организмом. Организм служит застывшему интеллекту природы. У него есть органы. Тело подчиняется суггестии грез. У тела есть функциональные органы. Человек — это промежуточное, не эволюционирующее, а трансгрессирующее существо, которое находится между природой и социумом. Он возник не более 50 тысяч лет назад, тогда как его социальная история началась не более 15 тысяч лет назад. То есть трансгрессирующее состояние в филогенезе занимает у человека 30–40 тысяч лет, а в онтогенезе оно занимает около двух лет и заканчивается тем, что язык подчиняет грезы человека социуму.

#### 4. Мизология

«Мизология» — это термин философии Канта. Он обозначает нелюбовь человека к сознанию. Почему возникает эта нелюбовь? Потому что сознание лишает человека радости жизни, отнимая у него счастье. Что же в сознании есть такого, что лишает человека счастья? Это грезы, которыми человек действует на себя и которые не позволяют действовать на него вещам. Среди этих грех есть и грезы самоограничения человека. Сознание — это первичное самоограничение человека, то есть способ, которым он самому себе наносит ущерб. В свою очередь, Бог является первичной актуализацией самоограничения человека, то есть условием его существования.

Поскольку сознание возникает не для знания, а для причинения себе ущерба, постольку человеческий ум является объективацией страдания. Тогда как для самосохранения, для достижения практической пользы, равно как для игры в шахматы, нужно не сознание, а интеллект, ум природы, то, что стоики назвали

инстинктом. А поскольку этот ум сложил свои полномочия перед абсурдом, постольку человек оказался без поводыря в мире грез и галлюцинаций.

Вывод: для устройства счастья человеку нужно не сознание, а инстинкт. Сознание же может только грезить о счастливой жизни, если она уже есть. Мизология — это ненависть к разуму человека и тоска по инстинкту природы. Сознательный разум возникает не для счастья, не для целесообразного устройства жизни, не для пользы, а для наведения порядка в мире человеческого воображения, его безумного сумасбродства. Ум сводит на нет то, что может дать инстинкт, а инстинкт может дать нам счастье. Быть автоматом — это счастье, быть умным для человека — это несчастье. Ничего, кроме ярма на шею и больших тягот, ум человеку не дает. Мысль о наслаждении удаляет от нас наслаждение, а мысль о счастье удаляет от счастья.

## 5. Безудержное сумасбродство

Человеческий разум — это вторичное следствие встречи реального с абсурдом, ибо первичное следствие состоит в безудержном сумасбродстве иллюзий, освобожденных абсурдом из-под гнета инстинкта. Если бы не было иллюзий, не зависимых от опыта, то не было бы и того, что человек предписывает самому себе, вопреки опыту.

Скрытой основой любой свободы является произвол иллюзий. Благодаря этому произволу приостанавливаются побудительные действия сигналов среды, действующих причин природы. Воля предстает в виде такого вида причинения, свойством которого, по словам Канта, является свобода, то есть способность быть причиной своего действия, пренебрегая склонностями своей природы. Поскольку человек грезит, постольку он мыслит. Его мысли — это галлюцинации, посредством которых он ввязывается в намерения природы и которым подчиняет свои желания.

Как мыслящее существо человек получает способность определять самого себя к совершению поступков, сообразно своим

иллюзиям. А как неразумное существо он выходит из-под контроля внешних побуждений.

Вывод: быть свободным неразумно, ибо свободе нужно подчинять себя иллюзиям, которые приобретают прочность моральных законов.

## 6. Хаос

Абсурд, освобождая иллюзии, освобождает место хаосу, в котором все возможно, но ничего нельзя. И нет никакой внешней силы, которая бы могла принудить хаос к ограничению возможностей, кроме самого хаоса. Для человека плодотворен не детерминизм, а хаос. Безудержное сумасбродство хаоса дает нам чистую возможность, без какой-либо ее связи с наличным. В нем бытие не бытийствует, а ускользает. В модусе ускользающего бытия ни одно действие не имеет ни смысла, ни цели. Безудержное сумасбродство хаоса заманивает одним тем, что в нем все возможно. А все возможно потому, что ничего нельзя, ничто не имеет смысла.

Вывод: всякому смыслу предшествует движение без смысла. Любой смысл появляется только потом, вторым шагом, и тогда уже не все можно.

## 7. Бессмыслица

Бессмыслица свалилась с небес хаоса. Это, как бы сказал Гегель, еще свобода в себе, ей нужно пройти путь самоограничения, чтобы стать свободой для себя, чтобы подчинить себя своему закону. Если хаос говорит, что ничего нельзя, то свобода отвечает ему, что не все возможно. Бессмыслица — это не антоним смысла и не отсутствие смысла, а его предварение. Если бы это было отсутствие смысла, то оно бы никогда не породило его присутствие. А бессмысленное действие может подарить себе смысл. Поэтому изначальное человеческое действие — это действие без смысла, которое всегда предшествует смыслу, появляющемуся вдруг, неожиданно. Только абсурдность существования позволяет человеку придавать смысл бессмысленному.

## 8. Рефлексия по поводу хаоса, абсурда и бессмыслицы

1. Антропологический дискурс может строиться двояким образом. Если мы полагаем, что непрерывным и однородным преобразованием мы можем прийти от современного человека к моменту его возникновения, то это будет линейный дискурс. Этот дискурс лежит в основании современной натуральной антропологии, в которой предполагается, что человек коммуникативно и причинно обусловлен. Линейными преобразованиями получить из современного человека воображающего человека нельзя.

Если же мы полагаем, что для человека нет причин, то нам нужно согласиться и с тем, что однородным и непрерывным преобразованием современного человека мы не сможем получить начальную точку его существования. Мы никогда не сможем к ней прийти, она все время будет отодвигаться, ибо она будет требовать от нас не эволюционной логики, а парадоксальной. То есть начало и конец человека объединены не линейной логикой, а антиномично.

Все это позволяет сделать вывод о том, что у человека нет сущности, что его место всегда пусто и требует постоянной самоактуализации.

2. Абсурд — это и то, что рождает человека, и одновременно то, что рождено человеком. Почему при обсуждении вопроса о способе существования человека непременно возникает идея абсурда? Потому что иным образом нельзя обесмыслить привычное различие между теоретическим действием и практическим. А обесмыслить его нужно, ибо и то, и другое основано на представлении вещей, в котором представление конкурирует с вещью. Эпоха представлений заканчивается в абсурде, обнажая то, что основано на законах свободы.

3. Хаос — это, конечно, что-то беспредельное, смешивающее в одну кучу все стихии, и, следовательно, нечто беспорядочное, нелинейное. В стихотворении Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной?» передается изначальная тревога и первобытная

настроенность души человека, который слушает, как воет ветер. То есть он слушает приближение к себе шагов той бездны, в которой сгинут и он, и ветер. «О, бурь уснувших не буди — под ними хаос шевелится».

Вот человек и есть это непрерывно воспроизводящееся осознание того, что под ним шевелится хаос, и никакими скрепами, никакими структурами этот хаос не упорядочить, не закрепить. А это значит, что во всякой структуре всегда будет нечто, нами не структурируемое.

У греков хаос понимается как зияющая бездна, которая, в свою очередь, может пониматься и как пустота, и как ничто, и как вечное становление. Зияние указывает на зев, на разверзшуюся пасть, в которой все пропадает. В хаосе нет связи между началом и концом. Здесь существуют начала, которые никак не начнутся, и концы, которые никак не закончатся. А значит, в нем есть все. Хаос есть место, которое вмещает себя в целое. А его беспорядочность оказывается творческой полнотой.

4. В современной французской философии понятие хаоса заменяется хаосмосом, тем, что не является ни хаосом, ни космосом, а чем-то средним, неустойчивым и нестабильным. То есть Лиотар и Делез попытались в самой материи языка утвердить нестабильность, бесструктурность хаоса, показывая неразличимость в нем хаоса и космоса. Хаос потенциально космичен, но эта его космичность имеет множественный характер. Она не ограничена единственно возможной версией обретения смысла.

## 9. Рождение абсурда

Кант в «Основах метафизики нравственности» настаивает на том, чтобы мы мыслили поступок человека свободным и необходимым в одном и том же смысле, в одном и том же отношении. Не может быть так, чтобы в одном отношении я был свободен, а в другом — нет. «Человек должен и представлять и мыслить себя таким двояким

образом»<sup>4</sup>. А это значит, что аналитика человека, ограничиваясь плоским правдоподобием, не может помыслить необходимо соединенным то, что исключает друг друга. Человек — это практический априорный синтез чувственного и сверхчувственного, которому не надо выходить за пределы самого себя, чтобы найти безусловное для условного, умопостигаемое для чувственного.

Абсурд, говорит Делез, есть то, что существует без значения, как, например квадратный круг или гора без долины<sup>5</sup>. Чем плоха эта формула? Эта формула плоха тем, что она заставляет нас понимать абсурд концептуально. Например, я взял лестницу и залез на крышу. Лестница имеет для меня значение. Но для того, чтобы ходить по крыше, мне лестница не нужна. Она для меня не имеет значения. Но следует ли отсюда, что я буду абсурдно ходить по крыше? Нет.

Формула Делеза нехороша тем, что она связывает абсурд с существованием и не связывает само существование с чувством. Ведь существование само по себе может быть дано в представлении или в понятии. Но абсурд нельзя дать в представлении в силу его двойственности, так же как о нем нельзя составить понятие в силу его неоднородности. В понятии мы можем дать философию абсурда, но не абсурд.

Вывод: абсурд может быть дан только чувством. Чувство невозможного есть чувство абсурда.

Открывая книгу Камю «Бунтующий человек», мы читаем: «...Речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в наш век повсюду, — о чувстве абсурда, а не о философии абсурда, собственно говоря, нашему времени неизвестной»<sup>6</sup>.

Вот, например, как передает это чувство Хармс в рассказе «Голубая тетрадь № 10». «Был, — рассказывает Хармс, — один рыжий человек. Это был странный человек. У него не было волос, не было ушей, рта, носа, внутренностей. У него ничего не было. А коль

ничего у него не было, то и говорить не о чем»<sup>7</sup>.

В терминах Делеза рассказ Хармса звучал бы так. Был один рыжий человек. У него не было ни волос, ни носа, ни ушей, ни печени, ни сердца, ни головы. У него было просто тело, которое следовало бы назвать телом без органов.

У Хармса рассказ строится на сочетании таких выражений, как рыжий человек. Но то, что он рыжий, устанавливается по волосам. А у него волос нет, хотя он рыжий. Вот эта рыжеватость устанавливается по фигуре. Что, конечно же, напоминает синестезию, которая всегда абсурдна.

В экзистенциализме абсурд предстает как бессмысленная попытка жить после того, как утрачен смысл. Сознание абсурда делает невозможным коммуникацию с другим человеком. Взгляд другого человека становится невыносимым, и на него можно ответить только взглядом аутиста.

Абсурд — это чувство, которым мы терзаем самих себя, и избавиться от него по собственной воле нельзя. Вернее, можно. Но для этого нужно убить себя.

Объективированное чувство абсурда предстает в виде двух исключаящих друг друга действий, которые совершаются в одно и то же время одним и тем же человеком. Поэтому абсурд — это не столько граница рационального объяснения мира, сколько граница рационального существования человека. Вернее, граница реального существования человека дает нам понять, что мы нереальны и все в нас невозможно.

Через ворота хаоса, называемого абсурдом, человек входит в мир и выходит из него. Ничто в мире не желает встречи с абсурдом, ибо эта встреча означает крах реального. В чувстве абсурда прекращается существование человека как социального существа и начинается его существование как промежуточного существа.

Абсурд сопряжен с непереносимой интенсивностью жизни

человека воображения. Тот, кто смог уклониться от встречи с абсурдом, оказывается, безусловно, разумным, но не мыслящим существом.

## **10. Депривация и дипластия как изначальный опыт взаимодействия с самим собой**

Ближайшим следствием изначальной абсурдности человеческого существования является неопределенность, которая уже сама по себе предстает фундаментальным препятствием для реализации свободы. Быть в подвешенном состоянии — значит играть втемную с неизвестностью, становиться объектом ее власти.

В «Стене» Сартра в игру с абсурдом вступил Пабло. В ночь перед расстрелом ему обещают сохранить жизнь, если он выдаст своего друга Рамона. Пабло решает пошутить с неизвестностью, поиграть с тем, что подвешивает тебя в состояние неопределенности. Он называет мнимое местонахождение своего товарища. Но игра не любит мнимостей. Она превращает их в реальность. Его друг оказался в том месте, на которое указал Пабло: на кладбище, в доме у могильщика. Пабло проиграл. Не предавая, он предал. Эринии настигли Пабло в виде чувства вины, в виде самонаказания. Только смерть может теперь облегчить жизнь человеку, который терзает себя галлюцинацией вины. Нельзя завидовать тому, кто попал под влияние синтеза дипластии, соединяющей несоединимое, заставляющей человека предавать, не предавая.

«За запертой дверью» Сартра абсурд играет в депривацию. В запертой комнате находятся люди. В комнате нет зеркала. Каждый человек становится зеркалом для другого. Но если другой — это мое зеркальное отражение, то «ад — это другие». Если я сам становлюсь зеркалом для другого, то я — это не я, а если я — это не я, то я ад для самого себя. Ибо мне не уйти от себя, мне не взглянуть на себя со стороны, все отражаются друг в друге, все являются зеркалом друг друга, все похожи, подобны. Нет ни одного человека с собственным лицом, поэтому выйти из абсурда, уклониться от синтеза меня и другого можно лишь, разбив зеркало Лакана, убрав другого в

качестве того, кто учреждает меня. Но для этого каждому из нас нужно стать фантазмом, грезой.

Иными словами, прямыми следствиями абсурда являются депривация и дипластия. Депривация — это изоляция, обособление от мира и от его разумности. Антропологический смысл депривации состоит в попытке человека сделать себя невидимым, не заметным для реальности, уйти от соприкосновения с вещами.

В депривации начинается игра человека с миром в прятки. Эта игра является первичным допредикативным опытом взаимодействия с самим собой. Символом депривации в философии является миф Платона о пещере. Первичным опытом депривации в психоанализе считается отнятие ребенка от груди матери.

Дипластия — это конъюнктивный синтез противоположностей, который предполагает, что целое всегда предшествует частям. Например, что «три» всегда предшествует «двум», а «два» — «единице». Дипластия — это не дихотомия. Поскольку дипластия сращивает в одно целое прямо противоположное, поскольку она совмещает несовместимое, постольку ее синтезы предшествуют различию. Дихотомия делит надвое, но она не может разделить целое, образованное по принципу дипластии. Нельзя разделить эмоцию, которая всегда амбивалентна. Деабсурдизация мира предает забвению дипластия, заменяя ее бинарными оппозициями, монотонным повторением одного и того же.

## **11. Реальное и невозможное**

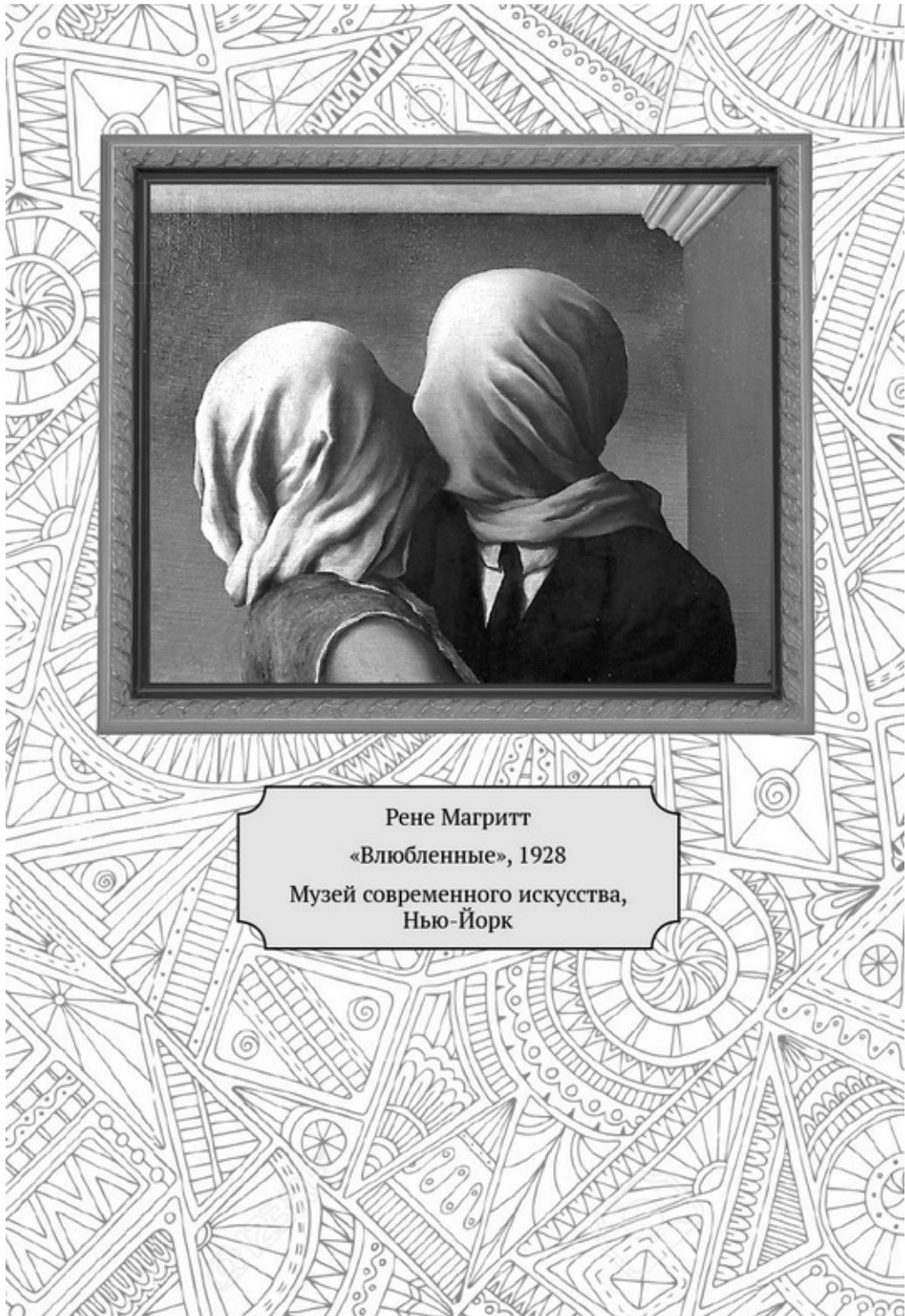
Всякая реальность — это иллюзия, объективированная в законах. Она состоит из наличного существования и возможного. Наличное — это бывшее возможное, реализованное в виде предметов, состояний и актов. Оно делает нас свидетелями неотменимой фактичности.

Возможное — это будущее наличное, взятое в перспективе бесконечности. Возможное существование действует на нас своей возможностью. Возможное существует не потому, что мы хотим,

чтобы оно было, а потому, что превосходит наличное и поэтому всегда опаздывает, задерживаясь в ожидании подходящего случая стать наличным. Всякое наличное завернуто в оболочку возможного. У каждого из нас есть прошлое, которое было. И еще есть прошлое, которое могло бы быть, но которого не было. И то, и другое дают нам о себе знать. У каждого из нас есть будущее, которое будет. И еще есть будущее, которое могло бы быть, но которого не будет. Хотя несбывшееся нашей жизни и определяет всю нашу жизнь.

Возможное реализуется, невозможное нельзя реализовать, оно находится вне плана реальности. Его можно только актуализировать. В процессе актуализации невозможное остается там, где оно актуализируется. То есть оно остается в пространстве мистерики, в том, что не может быть отнесено к миру фактического существования. Актуализация оказывается скрытой причиной любой реализации, а невозможное утверждает себя как нечто более фундаментальное, чем реальное.

В актуализации мы посредством воображения оказываемся причиной реальности объектов воображения. Но вне актуализации эти объекты не существуют, ибо они требуют наших непрерывных усилий, чтобы существовать. Актуальное — не реально, а реальное — не актуально. Первое — невозможно. Второе — не актуально. Проблема же состоит в том, чтобы объекты актуализации заставить существовать вне актуализации. Но для этого они должны пересечь границу воображаемого, то есть трансгрессировать. А трансгрессировать — значит наличное заменить возможным. Суть феномена актуализации состоит в том, что сам этот феномен не наблюдаем, а действия его наблюдаемы.



Рене Магритт  
«Влюбленные», 1928  
Музей современного искусства,  
Нью-Йорк

## Глава 2. Новый натурализм в антропологии

К новым натуралистам в антропологии относятся Палмеры<sup>8</sup>, Пинкер<sup>9</sup>, Деннет<sup>10</sup>, Мониц<sup>11</sup> и другие исследователи. В чем же новизна натурализма? На мой взгляд, она состоит в учреждении концептуального пространства, основанного на идеях языковой, коммуникативной и ментальной близости человека и животного. В этом пространстве встретились филологи и биологи, психологи и дарвинисты, генетические инженеры и эволюционисты. Что же их так сблизило? На мой взгляд, их сблизила попытка удалить из языка описания человека все неудобные метафизические проблемы в надежде получить эффективные схемы упрощения. Например, начиная с Декарта, любимым предметом обсуждения философов было сознание. И вот недавно за дело взялись биологи и филологи. Но, о чем бы они ни говорили, у них все сводится к нейронам мозга и синтаксису. Одним из центров упрощения стало понятие коммуникации.

## **1. Критика эволюционной психологии**

Натурализм грозит затопить пространство современной мысли. Он надеется покончить с бесплодными разговорами философов о сознании и языке и пытается перевести обсуждение проблемы в плоскость естественнонаучного мышления.

### **1.1 Коммуникация**

Новые натуралисты считают очевидным факт социализации приматов, понимая социальность и как умение предсказывать реакцию представителей своего вида на собственное поведение, и как различие полов и поколений. Но никто из новых антропологов не объяснил, почему каждая обезьяна существует сама по себе, хотя она и социальна.

Видимо, обезьяний эгоизм связан с тем, что животные подчиняются побудительной силе действия их собственного сенсомоторного аппарата. И ничему иному они не подчиняются. А без подчинения коллективной галлюцинации или слову никакая коммуникация, на мой взгляд, невозможна. То есть проблема

коммуникации состоит в выборе соотношения больших и малых грез, а не в обмене информацией.

Новые антропологи говорят о том, что животных волнует положение в социальной иерархии, а также возможность повышения своего ранга.

Конечно, чем выше ранг, тем доступнее еда и самки. Но высота ранга обеспечивается силой, а не умом. Между тем, новые антропологи полагают, что чем больше социальная группа, тем больше неокортекс, новая кора мозга. Обосновывается это тем, что в большой социальной группе нужно уметь следить за друзьями друзей и друзьями врагов. Как же разрешается эта проблема?

Малая социальная группа спланивается уходом друг за другом, вычесыванием паразитов. Но что делать, когда возникает большая группа? Тогда, как думают новые антропологи, на смену вычесыванию паразитов приходит язык.

## **1.2 Язык**

Язык возникает как замещение процедуры поиска обезьянами друг у друга паразитов. Смысл языка, по словам Бикертонна, состоит в познании социума, которое выражается в болтовне, в сплетнях друг о друге. Эта болтовня склеивает значительно больше особей в одно целое, чем вычесывание паразитов. Но чтобы болтать, нужно говорить. У животных есть язык, но у них нет речи. Как же они тогда болтают?

Новый натурализм в антропологии понимает, что коммуникация животных осуществляется без речи, с опорой на сигнальную суггестию. Тогда как у человека коммуникация осуществляется посредством речевой суггестии, которой, в свою очередь, предшествует магия, то есть галлюцинация, подчиняющая себе организм.

Чтобы уменьшить разрыв между человеком и животным, новые антропологи стали искать говорящих птиц и животных. Особой

популярностью у них стали пользоваться попугай Алекс, шимпанзе Уошу и лингвистический гений Канзи, который сам научился говорить. Однако эволюционные психологи пришли к выводу, что:

- языковые способности обезьян не являются врожденными;
- обезьяны не способны спонтанно создавать знаки;
- у обезьян нет внутренней мотивации к языковому общению.

Очевиден огромный разрыв между человеком и его ближайшими родственниками.

Новый натурализм в антропологии не смог объяснить появление этого разрыва, ибо сам этот разрыв должен интерпретироваться как разрыв в адаптивном поведении человека, благодаря которому эволюция заменилась историей. Между обезьяной, имеющей языковой опыт, и человеком, не имеющим языкового опыта, лежит не преодолеваемая эволюцией пропасть.

### **1.3 Мозги палеолита и история**

Все понимают, что эволюция идет медленно, шаг за шагом, сотнями тысяч лет. Сначала появился *homo habilis* — человек умелый. Это было 2,5 миллиона лет тому назад в Танзании. Прожил он миллион лет и помер. В местах его захоронения находят заостренные каменные отщепы. Был этот человек обезьяной. На смену ему пришел *homo erectus*, прямоходящий гоминид. Эти приматы хорошо бегали и научились пользоваться огнем. Об их уме свидетельствует изобретенный ими топор в виде капли. Все было хорошо, но эти приматы превратились в каннибалов. Затем их сменили неандертальцы — смесь, как многие думают, человека и обезьяны.

Современные ученые склонны рассматривать этих обезьян, как параллельное человечество. Жили неандертальцы недолго, около 200 тысяч лет, и вымерли примерно 30 тысяч лет назад. Вернее, они не вымерли. Их просто съели наши предки, которые, как полагает

Поршневы и как склонны полагать современные антропологи, были каннибалами. Правда, у Рэчел Кастэри из Мичиганского университета другой взгляд на проблему. Она полагает, что неандертальцы жили трудно и недолго. А наши предки тоже жили трудно, но долго. У неандертальцев не было бабушек и дедушек, а у наших предков они были. Вот они-то и решили судьбу соревнования между ними. Ведь бабушки — это опыт, это библиотека знаний и умений. Это то, что ускорило процесс исторического развития человека.

Неандертальцы тоже были очень умными обезьянами. Размер их мозга был больше, чем у современных людей. Они делали эффективные ножи. Но, к сожалению, у них голова не имела лба. У них лоб заменял затылок. Но и затылка им хватало для того, чтобы хоронить мертвых и даже класть в могилу цветы. Недавно у неандертальца нашли подъязычную кость. Она оказалась такой же, как и у нас. Поэтому пошли слухи о том, что эти обезьяны разговаривали.

По мнению новых натуралистов, неандертальцев интересовали вопросы жизни и смерти. Но ответить на эти вопросы они не успели, ибо вымерли. В Институте эволюционной антропологии им. Планка восстановили генетический код неандертальца. И если ничто не помешает немецким ученым, то они готовы воссоздать неандертальца в виде параллельного человечества.

Неандертальцев сменили наши предки — *homo sapiens sapiens*. Некоторое время ученые думали, что наш предок — это кроманьонский человек. Но потом они решили, что это все-таки еще обезьяна, хотя и очень умная. Современный же человек в Европе появился совсем недавно, каких-нибудь 35 тысяч лет назад. До этого он жил в Африке и почему-то молчал. Ничего о себе не рассказывал. Затем пришел в Европу и здесь стал рисовать. Аборигены удивились этому и умерли.

У нас и у наших предков одни и те же мозги, одна и та же психика эпохи палеолита. Если эволюция идет медленно, то история идет быстро. Она спешит и не ждет, когда у нас появятся новая психика и

новые мозги. Исторически мы живем в эпоху симуляции, а эволюционно в наших черепных коробках все еще находится психика каменного века. Возникает вопрос: как же нам с такими мозгами удалось разогнать историю, заставить ее ускориться?

У эволюционных психологов нет ответов на эти вопросы. Но у них есть ответ на другой вопрос. Вот, например, мы боимся змей. Почему? Потому что этот страх идет к нам из палеолита. Он позволяет нам избежать их укусов, то есть носит явный адаптивный характер, равно как и бипедализм.

Встречаясь, новые антропологи любят рассказывать друг другу историю о том, как обезьяны очеловечиваются, побеждая свой страх перед змеями. Антропологи сделали муляж змеи и долго приучали обезьяну к этому муляжу. Затем антропологи стали просить обезьяну тыкать этой змеей в других обезьян. Иногда она исполняла эту просьбу, печально глядя на антропологов. Мол, уж лучше змей избегать инстинктивно и адаптироваться без сознания, чем жить с душевными муками.

## **1.4 Бипедализм**

Новый натурализм в антропологии прагматичен и рационален во всем, даже в ответах на вопрос: почему люди ходят на двух ногах, а не на четырех. Известно, что обезьяны передвигаются на четырех конечностях и никому не жалуются на неудобства. А человек передвигается на двух ногах. Откуда же взялся у него этот бипедализм?

Эволюционные психологи считают, что предки человека изначально жили в лесу и поэтому им нужны были четыре конечности. А потом леса поредели, и обезьяне пришлось жить в саване. А в саванне без бипедализма никак нельзя жить по адаптивным соображениям. Станет, бывало, обезьяна на задние лапы, и ей, с одной стороны, все хорошо видно, а с другой — она принимает грозный вид, и от нее шарахаются испуганные звери. Так что человек — это обезьяна, которая встала на две ноги.

Правда, эволюционные психологи еще, видимо, не знают, что недавно эволюционные биологи нашли древнейшего гоминида по имени Арди. Он, как и Люси, жил в Африке, в лесу, но 4,2 миллиона лет назад. И ходил на двух ногах. Более того, Арди встал на ноги потому, что избрал моногамный образ жизни. Он не стал конкурировать с другими самцами, а выбрал себе одну самку и стал жить с ней. У него появилась семья, о которой надо было заботиться, добывать еду. Чтобы прокормить свое семейство, Арди и встал на две ноги, освободив передние конечности.

### **1.5 Искусство как проблема новой антропологии**

Главной неудачей нового натурализма в антропологии являются поиски адаптивного смысла искусства. Результаты этих поисков описаны в 9-й главе «Эволюционной психологии» Дж. и Л. Палмеров.

Надежное свидетельство об искусстве относится ко времени верхнего палеолита, не ранее 30–40 тысяч лет до нашей эры. Если технологии времен палеолита радикально изменились, то искусство не изменилось, ибо с самого начала было полностью сложившимся. Почему? Палмеры считают, что наше эстетическое чувство — это утонченный вариант гештальт-восприятия. И у каждого вида есть свой гештальт и свои перцептивные суждения. Правда, уже Кант разрушил миф о возможности перцептивных суждений<sup>12</sup>.

Палмеры пытаются умалить значение искусства палеолита, ссылаясь на то, что и до верхнего палеолита было искусство, что и у обезьян можно найти эстетическое чувство. В качестве примеров они приводят рубило, в котором, видимо, случайно оказался морской еж, кораллы, покрытые красной охрой, костяную флейту неандертальцев. Но, на мой взгляд, неандертальцы к искусству не имеют никакого отношения, потому что они не оставили после себя наскальную живопись.

Адаптивное значение искусства палеолита Палмеры видят в следующем.

1. Искусство, по их мнению, сплачивает общество в единое целое.

Но если это так, то тогда не понятно, почему эта живопись находится в самых труднодоступных местах, скрытых от взгляда многих людей. Также не очень понятно, каким образом изображение прямой линии могло сплотить людей?

2. На их взгляд, собаки метят свою территорию, а люди в адаптивных целях украшают ее искусством и тем самым также метят свою территорию.

Но тогда не понятно, зачем человеку идти таким сложным путем, обрубить себе фаланги пальцев, обводить краской кисти рук, создавать рисунки, если он может просто метить свое пространство красной охрой, ориентируясь на визуальные метки.

3. Согласно Палмерам, человеку жить скучно, искусство превращает банальное, ординарное в неординарное. И жить человеку становится веселей. Например, танец — это, как думают Палмеры, преувеличенное изображение движений из повседневной жизни.

Но всякое преувеличение требует воображения, галлюцинаций и маний. Откуда же они появились?

4. Палмеры уверены, что искусство связано с игрой и ритуалом, которые всегда адаптивны. Ритуал адаптивен потому, что он минимизирует агрессию. Кроме того, соблюдение ритуала дает также толчок для чувства удовольствия. Игра адаптивна потому, что она готовит молодежь к взрослой жизни.

Но суть игры не в адаптации, а в перевоплощении, в том, чтобы человек стал, например, львом. Эти перевоплощения мы находим только в искусстве позднего палеолита, в котором встречается фигура человека с головой льва.

5. Согласно Палмерам, искусство повышало социальный статус художника и делало его привлекательным для брачного партнера.

Но художники, как правило, это шизофреники и аутисты, которые слишком асоциальны, чтобы повышать свой социальный статус. Вот самец шимпанзе, будучи слабым, очень хотел власти и красивых самок. Чтобы повысить свой социальный статус, ему пришлось идти на хитрость. Он украл канистры из-под бензина и, взяв их в лапы, стал ударять друг о друга, производя невероятный шум. Самцы племени, конечно, были напуганы и принуждены были присягнуть ему на верность.

В конце концов, Палмеры приходят к выводу, что рисунок, линия, форма запускают нервный механизм у наблюдателя. «Когда нервные структуры, которые обрабатывают эти стимулы, спонтанно активизируются, базовые визуальные компоненты этих стимулов ощущаются как галлюцинации. Базовые визуальные компоненты состоят из решеток, точек, спиралей, кругов, зигзагов и относятся к внутреннему зрению. Это эноптические феномены. Их видят дети, шизофреники и наркоманы»<sup>13</sup>. С этим выводом нельзя не согласиться, ибо суть дела как раз и состоит в спонтанной активации галлюцинации точки, прямых, зигзагов и т. д. На мой взгляд, эта спонтанность позволила нашим верхнепалеолитическим предкам поедать оленей, а изображать не то, что они ели, не то, что было для них повседневностью, а то, что им пригрезилось. Например, бизонов.

## 2. Как ускользнуть от обаяния Пинкера?

Обаяние Пинкера состоит в смелых решениях трудных проблем. Например, трудно ответить на вопрос: как возник язык? Язык придумали женщины, скажет Пинкер. Вернее, дети, добавит он. В традиционных обществах взрослые вообще не разговаривали с детьми до тех пор, пока они сами не заговорят. Детям приходилось полагаться на самих себя. Вот они и изобретали язык. Поскольку женщины ближе к детям, чем мужчины, постольку и они его творцы. Но женщины, как и самки шимпанзе, умиротворяют, используя инфантильные формы поведения. Поэтому хныканье у детей от женщин.

Или вот сознание. Никто не знает, что такое сознание? По Пинкеру, сознание — это набор модулей. Что такое модуль, конечно, не очень понятно, вернее, понятно только то, что это некоторый орган, способ или средство решения возникающих перед человеком проблем. Например, у нас в мозгу есть модуль для написания статьи о модулях мозга. Модули независимы друг от друга. Они не подчиняются какому-то главному модулю. Если один модуль выйдет из строя, то другие модули будут по-прежнему выполнять свои функции. Некоторые нейрофизиологи (А. Лурия) все-таки главный модуль видят в лобных долях мозга, которые как будто бы дирижируют всем мозгом в целом. Что ставит под вопрос как представление о близости строения мозга и компьютера, так и идею модульного строения мозга.

Пинкер популярен благодаря простым примерам. Один из них объясняет, что значит инстинкт.

## 2.1 Инстинкт

Пинкер облагораживает инстинкт. Он призывает не бояться его, уверяя нас в том, что в нем нет ничего животного. Напротив, любой человек — это сплетение инстинктов. Как же действует инстинкт? Вот пример: «Когда осьминог-самец замечает самку, его обычно сероватое тело вмиг покрывается полосами. Он плавает над самкой и начинает ласки семью своими щупальцами. Если самка не противится этому, осьминог быстро приближается к ней и вводит восьмое щупальце внутрь ее дыхательной трубки. Сперма порциями медленно перемещается по каналу в его щупальце, чтобы в конце концов проникнуть в мантийную полость самки»<sup>14</sup>.

Ни самец, ни самка осьминога не нуждаются для спаривания в языке, они нуждаются в восьмом щупальце, равно как они не нуждаются и в сознании, ведь их отношения так точно подогнаны эволюцией друг к другу, что никакое «вдруг», никакая случайность внутри них невозможна.

Инстинкт — это такая мудрость природы, благодаря которой в

осьминоге неразлично слились интеллект и половой инстинкт. Мудрость инстинкта не сумело передать ни понятийное мышление, ни клиповое. О нем ничего внятного не мог сказать ни Делез, отказавшийся от услуг априорного субъекта, ни Батай с Бланшо, любители клипового мышления, ибо все они были слишком привязаны к слову. Тогда как инстинкт — это нечто дословное. Инстинкту обычно противопоставляют язык и сознание. Пинкер стирает это противопоставление. Смелый Пинкер попытался представить язык не как изобретение культуры, а как инстинкт.

## 2.2 Языковой инстинкт

По мысли Пинкера, языковой инстинкт не предполагает какой-то примитивной врожденности, то есть дело обстоит не так, что вот язык когда-то биологически обоснованно появился, и с тех пор каждый человек рождается с генетической записью о языке. Ни у кого никакой записи нет. А поскольку этой записи нет, постольку язык творится во всякий момент. И так же, как Бог творит мир во всякое время, люди, говорит Пинкер, творят язык. Люди — боги языка, они его изобретают всякий раз заново, поколение за поколением. Инстинкт состоит не в генетической записи, а в универсальности. Кто не понимает этого доказательства, тот является твердолобым.

Итак, поскольку не существуют люди без языка, постольку язык является их универсальной способностью. И никакие аутисты или слепоглухонемые этому доказательству не помеха. А это значит, что язык — это не какое-нибудь «что», не предмет, не палочка, передающаяся по эстафете, а некая возобновляемая установленность, беспредметное ничто. То, у чего нет собственного деления. Каждый из нас знает язык не потому, что нас ему научили, а потому что мы, будучи детьми, не могли его не изобрести<sup>15</sup>.

Оригинальность этой мысли Пинкера состоит в том, что она направлена против самого Пинкера, ибо решительно противится пониманию языка в качестве инстинкта. Ведь то, что изобретается, не может быть инстинктом. А язык изобретается. Следовательно, он

не может быть инстинктом. Но Пинкер, как садист, насилует язык. Он хочет развратить наш ум, объявляя язык то изобретением, то инстинктом. Различие между изобретением и инстинктом состоит в том, что изобретение может быть бесполезным, тогда как инстинкт всегда полезен. Мысль о том, что язык является ничем иным как инстинктом, или, как говорит Пинкер, «простым биологическим приспособлением для передачи информации», порождает множество вопросов. Главный из них — это вопрос о том, почему же эволюция отдала решение вопроса о биологической полезности в руки изобретателя, действия которого всегда случайны. Почему она наделила языком только человека? И как быть с сознанием, ведь оно биологически вредно? А вредные свойства эволюция не сохраняет. Если язык — это инстинкт, а сознание — это свобода, то какое отношение язык может иметь к сознанию? Пинкер на все эти вопросы не отвечает. Он лишь вскользь отмечает, что язык — это самая поверхностная часть сознания, чем окончательно запутывает читателя, потому что у него инстинкт оказывается пространством свободы.

На взгляд Пинкера, язык не имеет никакого отношения к мысли, ибо язык — это природа, а природа не мыслит. Но тогда и смысл — это не слова, а нечто дословное, воображаемое, то, в чем нуждается слово, чтобы быть словом, а не физическим звуком. Если бы мысль зависела от слова, если бы язык очерчивал границы сознания, то тогда возник бы вопрос, как возможны новые слова. Если бы мысль зависела от слова, то язык бы не изменялся. Менялись бы мысли в зависимости от слов. А для изменения самих слов не было бы причин. Но язык меняется, и все это знают. Пинкер при этом настаивает на том, что язык — это природа<sup>16</sup>, то есть причина его изменений находится вне нас. Означает ли это, что однажды мы заснем, а проснувшись, мы узнаем, что язык изменился. И мы к этому не имеем никакого отношения. И говорить нам не о чем. Хотя Пинкер уверял нас в том, что все мы изобретаем язык заново. Возникает не разрешимое Пинкером противоречие.

Если язык — это природа, то тогда он не может быть одновременно еще и культурой. «Язык не есть атрибут

материальной культуры», — пишет Пинкер<sup>17</sup>. Следовательно, человек, рассуждает Пинкер, говорит так же, как паук плетет паутину. Но если говорить и «паутинить», с биологической точки зрения, одно и то же, то что же мы тогда изобретаем? В ответ Пинкер придумывает теорию уникальности. У слона, говорит он, есть хобот, который уникален. У человека есть язык, который тоже уникален. И одна уникальность не лучше другой уникальности. Но слоны, — ответим мы Пинкеру, — не изобретают хобот, он им достается от эволюции. Человек изобретает язык. Сравнение Пинкером языка человека и хобота слона как неких равноценных уникальностей некорректно. Ход мысли Пинкера теряет в этом случае смысл. Он становится бессмысленным, расплывчатым. Сам Пинкер в минуты откровенности говорит об этом так: «Моя книга весьма эклектична». Мы можем лишь подтвердить эти слова Пинкера.

Отделив язык от мысли, можно представить себе человека вне связи с речью, а речь — вне связи с сознанием. Но говорить без сознания — значит бредить. А сознавать без языка — значит галлюцинировать. Следовательно, человека нельзя представить как без речи-брёда, и в этом случае он похож на паука (версия Пинкера), так и без галлюцинаций, и в этом случае он ни на кого не похож (на мой взгляд).

Неправота Пинкера появляется в том, что он языку приписывает одновременно и свойство культуры, и свойство природы. Например, Пинкер говорит о «мертвых языках». Но «мертвый язык» — это свойство культуры, а не природы, тогда как генеративная комбинаторика языка брёда — это свойство природы.

«Почему, — вопрошает Пинкер, — разговаривающие люди должны быть необычнее, чем слоны, пингвины, бобры...»<sup>18</sup> И отвечает: нет для этого причин. Язык, на его взгляд, можно объяснить дарвиновской теорией естественного отбора. Но Пинкер никак не хочет понять, что этой теорией никак нельзя объяснить спонтанность речи, которая есть у человека и которой нет в природе. Даже Пинкеру приходится признать, что «человеческий

язык сильнейшим образом отличается от естественного и искусственного общения животных»<sup>19</sup>. Но почему он отличается настолько, что человек вынужден противостоять природе, Пинкер не объясняет. В противном случае ему пришлось бы объяснять природу спонтанности и, в конечном счете, — природу аутистического мышления человека.

Эволюция, скажет Пинкер, это не линия, а куст, и мы с ним согласимся. Но мы с ним не согласимся, что язык — это хобот, потому что хобот — это наблюдаемая сущность, а язык — умопостигаемая. Нечто третье. И не природа, и не культура, а то, что относится к априорным синтезам воображения. К тому, что внеприродно и докультурно.

У Пинкера языковой инстинкт предстает каким-то маломощным и малозаметным фактом жизни человека. Пинкер смотрит на язык, как хирург — на снимок легкого. Для него язык — это «особый «кирпичик» в биологической конструкции нашего мозга»<sup>20</sup>. Правда размеры этого кирпича никто не знает. Равно как никто не знает и то, где лежит этот кирпич. Но это неважно. Язык, продолжает развивать свою мысль Пинкер, «это сложный специализированный навык, который самопроизвольно развивается в ребенке и не требует осознанных усилий»<sup>21</sup>. Но если язык развивается самопроизвольно, то это значит, что он не зависит от среды. Он может как быть, так и не быть по своему произволу, случайно. То есть Пинкеру нужно признать, что причина языка лежит в языке, а не в чем-то помимо языка. Не в среде. Следовательно, язык должен рассматриваться вне приспособительных стратегий эволюции.

Птицы летают, пауки плетут паутину. Но делают это они не самопроизвольно, а по необходимости, в рамках приспособительной стратегии. Люди свободны говорить или не говорить. Их нельзя научить, если они сами себя не научат.

Конечно, язык и сознание изначально никак не связаны. Но это значит лишь только то, что и причина сознания лежит в самом сознании, а не в том же языке. Они могут пересекаться только

случайным образом.

### 2.3 Что я ждал от Пинкера?

Воодушевленный описанием Пинкером осьминога, я стал искать в его книге столь же красивое описание чистого языкового инстинкта. Мне грезилось серое вещество человеческого мозга, которое, возбуждаясь и набухая в языковом напряжении, выделяло бы, подобно самке осьминога, черные и белые полосы. Мне представлялось, как оно играет мемами, модулями и прочими мозговыми щупальцами, поглаживая зоны Брока и Вернике. Как оно, не удаляясь от околосоливиевой борозды, продавливает через тонкие цепочки нейронов фонемы, глаголы, существительные и прочие детали языка. В конце концов, чтобы не задохнуться, человек, как кукла, открыл когда-то рот и начал говорить. Но я ошибался. Ничего похожего я у Пинкера не встретил. Я нашел у него довольно скучное описание машины Тьюринга.

### 2.4 Машина Тьюринга и мыслекод

Тьюринг полагал, что машина может мыслить. Как это доказать? Очень просто. Если человек, общаясь с компьютером, будет думать, что он общается с человеком, то это значит, что машина может мыслить. Но на каком языке она мыслит?

Пинкер пишет: «Идея о том, что мышление и язык — одно и то же, это пример того, что может быть названо общепринятым заблуждением»<sup>22</sup>. Мне нравится эта мысль Пинкера, которую он, видимо, позаимствовал у Выготского. Во-первых, хотеть думать — это еще не значит думать. Хотеть сказать — это не значит сказать. Между сказанным и тем, что ожидало высказывания, есть различие. Первое — это дело языка. Второе — «антиязыка». Язык бессознателен, бессмыслен, антиязык — это смыслы, дарованные языку. Мысли заперты у нас в голове, а слова предназначены для другого, для всеобщего обозрения. Во-вторых, мы ищем и иногда не находим слова для мысли. Поэтому мы создаем новые слова. Если бы мысли зависели от слов, то мы никогда бы не научились

говорить. Нам нечего было бы сказать. Ведь первое слово — это бессмысленное слово, а говорить — значит придавать смысл бессмысленному.

Но Пинкер идее нетождественности языка и мысли придает натуралистическое значение. Он полагает, что если язык не определяет сознание, если они не связаны, то отсутствие одного не мешает присутствию другого. В редакции Пинкера эта мысль звучит так: отсутствие языка у животного не означает, что у него нет сознания. Из того факта, что собака лает, а не говорит, не следует, что она не думает. Остается только ответить на вопрос: зачем собаке сознание, если у нее есть инстинкты? И зачем человеку сознание, если у него есть язык как инстинкт?

Мысль о том, что язык и сознание не связаны, Пинкер использует для того, чтобы избавить себя от необходимости искать языки у обезьян. Он также не хочет тупо учить обезьяну «амслену». Однако Пинкер уверен, что отсутствие языка не означает отсутствия сознания. У обезьяны нет языка, но у нее возможно сознание.

Я тоже полагаю, что язык и сознание ничем не связаны. Но это не означает, что у обезьяны есть сознание. Если оно у нее есть, то пусть Пинкер заставит обезьяну смутиться. Если это у него не получится, то тогда он может быть уверен в том, что никакого сознания у нее нет. Другое дело — первобытный художник. У него могло не быть языка, но у него не могло не быть сознания. По наблюдениям психологов, аутисты, пытающиеся вступить в контакт и подчинить себя ситуативной логике, чрезвычайно конфузливы. Они патологически застенчивы, не могут смотреть в глаза и стараются отвернуться.

Поскольку язык не имеет отношения к мысли, постольку мысли создаются не словами, и мы слушаем не слова, а смыслы, то есть слова и смыслы не совпадают. А это значит, что есть числа, образы, эмоции и родственные отношения, как говорит Пинкер, которые могут быть представлены в сознании, не будучи выраженными словами. Эта возможность имеет фундаментальное значение. Основываясь на ней, можно сделать два прямо противоположных

вывода. В одном случае можно сделать вывод о существовании уже-сознания, то есть неязыкового сознания. В другом случае, как думает Пинкер, можно сделать вывод о том, что нет никакого различия между сознанием и машиной Тьюринга. Для Пинкера важно сказать, что и человек, и машина мыслят одинаково, ибо они думают не на языке, а на мыслекоде, для которого важна бесконечность комбинаций дискретных элементов при конечных правилах. При этом мыслекод очень похож на генетический код в биологии.

Мыслекод — это внутренняя система знаков машины Тьюринга. Что делает эта машина? Она мыслит. И Пинкер охотно рассказывает о том, как она это делает. Он рассказывает о чернильных знаках, шаблонах, фотоэлементах, лазерах и проводах, а также о том, что все это устройство двигается, сканирует и печатает в точном соответствии с логическим правилом: если X есть Y, и все Y есть Z, тогда X есть Z. Процессор, обнаружив знак «есть», сначала поворачивает налево и обнаруживает там новый знак, допустим, «Сократ». Затем поворачивает направо и обнаруживает там знак «человек». Затем процессор ищет знак «все» и находит его в знаке «все люди». Обнаружив совпадение, машина приходит к выводу, что Сократ смертен. Машина мыслит, а Пинкер хочет себе представить, как некая масса серого вещества мозга совершает точно такой же подвиг мысли. По подсчетам Пинкера, в мозгу должно быть три группы нейронов. Почему три? Потому что в грамматике есть подлежащее, сказуемое и связка между ними. Каждое понятие соответствует возбуждению нейрона. «Например, в первой группе нейронов пятый нейрон мог бы представлять Сократа, а семнадцатый нейрон — Аристотеля; в третьей группе восьмой нейрон мог бы представлять человека, при возбуждении же двенадцатого нейрона этой группы возникает образ собаки»<sup>23</sup>. Такова «вычислительная» или «образная» теория мышления. Согласно Пинкеру, она столь же фундаментальна, как и клеточная теория в биологии.

Пинкер согласен, что у этой теории есть недостатки, связанные с неоднозначностью, двусмысленностью языка, а также с проблемой

контекста и кореферентности. Но у этой теории, на мой взгляд, есть еще и принципиальные недостатки. Во-первых, она слишком примитивна, чтобы быть истинной. Во-вторых, она предполагает уже данным исходное знание. Откуда оно появилось и почему, Пинкер ничего не говорит. Если я знаю, что Сократ человек, то я знаю, что и я человек, но откуда у меня это соотнесение? Пинкер не дает на это ответа. В-третьих, эта теория ничего не может сказать о парадоксальном мышлении. Она описывает простые виды логического действия, которое само по себе не нуждается ни в сознании, ни в самоотнесении. В-четвертых, эта теория в принципе не может решить проблему чистого синтеза априори. Машины, равно как и животные, не могут знать до того, как их чему-то научили. Они на опыте что-то узнают. У них нет продуктивного воображения априори. Им неизвестен образ предмета до восприятия самого предмета. Теория мыслекода уподобляет человека механической кукле, а реальность — совокупности предметов и действий. Последнее обстоятельство понимал Хомский и решительно не понимал Джемс.

Для Пинкера язык — это как танец пчелы, который передает информацию. Но если язык передает информацию, зачем ему самопроизвольность? Язык либо самопроизволен, и тогда он делает что-то другое, биологически бессмысленное. Во всяком случае никакой информации он не передает. Либо он ее передает, и тогда нет у него никакой самопроизвольности, и язык — это просто биологический орган странноватой формы. Но вот вопрос: почему этот орган появился вдруг, ни с того ни с сего, без всякой эволюционной подготовки? Ведь если бы он готовился мало-помалу, то в разных местах эволюционного древа мы могли найти гомологичные органы, а их нет. Распространение языка лишь в человеческом обществе бросает вызов теории Дарвина, который, в свою очередь, заявлял, что язык — это ненастоящий инстинкт, поскольку любой язык приходится учить.

Сомнение Дарвина в биологическом приспособлении языка разделял и Хомский. Без сомнений был, пожалуй, Джемс. К нему Пинкер и прислонился. Пинкер готов вслед за Джемсом полагать,

что юношу при взгляде на любимую девушку охватывает тот же сладострастный трепет, что и муху при взгляде на навоз.

## **2.5 В чем различие между Хомским и Пинкером?**

Хомский считает, что дарвиновская теория отбора не может объяснить происхождение языка. Пинкер же настаивает на том, что язык является результатом адаптации. Но если это так, то язык должен пониматься в качестве банального набора реакций на внешнее раздражение, и у любого биологического вида должен быть свой язык. Между тем, когда речь заходит о человеке, то имеется в виду какой-то другой язык, необычный. Это язык-аутист. Нечто спонтанное. Каждое предложение, которое человек произносит или понимает, это всегда новое событие в мире, это принципиально новая комбинация слов. В каждой фразе мир творится человеком заново. Что из этого следует? То, что язык человека не имеет никакого отношения к адаптации. Хомский это знает. Но его интересует формальная сторона дела, а не то, что делает мир каждый раз новым. Его интересует производство бесконечного количества предложений из ограниченного количества слов. Само это производство может быть понято вне связи с человеком, как нечто не зависящее от него. Все бесконечное множество сцеплений слов само по себе бессмысленно. На мой взгляд, важно то, что придает смысл бессмыслице. Придает смысл этой бессмысленности ребенок. Почему? На этот вопрос у Хомского нет ответа. У Пинкера есть ответ: он видит смысл в эволюционной адаптивности. Поэтому Пинкер решил вернуть языку адаптивность. И вот что из этого получилось.

## **2.6 Лингвистическая относительность**

Сначала Пинкер отказался от идеи лингвистической относительности. Гипотезу лингвистической обусловленности придумали Э. Сепир и Б. Уорф. Эта теория заключается в предположении о том, что слова определяют действия. Например, у всех народов найдется несколько слов для описания снега, а у эскимосов вся жизнь связана со снегом, и поэтому у них для описания снега существует 400 слов, которыми определяется их

действие. Согласно Уорфу, пустая бензиновая бочка взрывается, если об нее гасят сигарету, ибо слово «пустая» определяет действие человека. Сепир — ученик Боаса. Уорф — пожарник. Оба они пришли к мысли о том, что язык влияет на мысль. А поскольку язык влияет на мысль, постольку можно пытаться изменить мысль, меняя слова. То есть можно бороться с мыслью, воздействуя на язык. В ходе этой борьбы возникают эвфемизмы как средство контроля за сознанием посредством языка.

Пинкер отказывается от стандартной социальной модели мира, в основании которой лежит «великая мистификация эскимосского языка», идущая еще от Боаса<sup>24</sup>. Оказалось, что на самом деле у эскимосов не больше слов для обозначения снега, чем в любом другом языке. Более того, выяснилось, что само мышление носит по преимуществу не вербальный характер, а пространственный. И Пинкер понял, что он не сторонник борьбы с языком ради мысли и не сторонник борьбы с мыслью посредством манипуляций с языком. Пинкер захотел исследовать мысль без языка. Он захотел изучить несловесное мышление.

## 2.7 Несловесное мышление

Мышление без языка отмечено у аутистов, у афазиков и у младенцев. Но Пинкер как новый натуралист в антропологии помещает в этот ряд еще и обезьяну. Младенцы думают без слов, ибо они их еще не знают, а обезьяны думают без слов, потому что они не могут их выучить. Что делает Пинкер? Поместив обезьяну в одну группу с младенцами и афазиками, он не мог не приравнять их к обезьяне. Но ребенок — это ребенок, а не обезьяна. Ребенок — аутист. Обезьяна — реалист. Не ответив на вопрос: что значит уже-сознание, то есть сознание без слов, можно ошибиться и в употреблении слова думать. Под словом «думать» относительно младенцев понимается одно, а относительно обезьян — другое. Для младенцев думать — это галлюцинировать, а для обезьян — рассчитывать в пространстве своих инстинктов. Примером присутствия мысли у обезьян Пинкер считает реакцию группы обезьян на запись визга двухлетней обезьянки<sup>25</sup>. Когда включили

запись, обезьяны посмотрели на ту обезьяну, которая родила эту визжащую обезьянку. Согласно Пинкеру, в данном случае мы видим мысль о родственных отношениях между обезьянами, не выраженную словами. Если Пинкер прав, то тогда нужно признать, что теленок, который сосет молоко у двух коров, мыслит уже не родственно, а интерсубъективно. Ошибка Пинкера состоит в том, что он мыслью называет подчинение сигналам среды, а не освобождение от этих сигналов.

Из несловесного характера мышления Пинкер делает вывод не о том, что человек может действовать под влиянием грез, а о том, что мысль есть нечто вещественное в сознании. Черепная коробка человека, согласно Пинкеру, наполнена образами и логическими отношениями. При этом образ понимается Пинкером не так, как его понимал Кант. У него образ — это материальный объект, части которого последовательно соответствуют набору каких-то мыслей или фактов. «Мы просто издаем звуки нашими ртами, но наверняка добиваемся того, чтобы в сознании собеседника возникали точные новые комбинации мыслей»<sup>26</sup>. Но просто звуки — это чистая материя, которая сама по себе никакого образа вызвать не может. Для того чтобы появился образ, нужны грезы, которыми опосредуется действие сигнала, а не та чудовищно упрощенная вычислительная машина, модель которой предложил Тьюринг, а Пинкер ее принял, полагая, что мозг мыслит на мыслекоде. Идея мыслекода соответствует и онтология Пинкера.

## **2.8 Онтология Пинкера**

Суть онтологии своего ума Пинкер выражает следующим образом: «Я думаю, что здравый смысл торжествует. В том смысле, который действительно важен, предметы и действия реально существуют, и наше сознание устроено так, чтобы выделять их и давать им словесные обозначения. Это важный смысл с точки зрения теории Дарвина. Вокруг джунгли, и тот организм, который приспособлен правильно предвидеть события, оставит после себя больше себе подобного потомства. Разделение времени и пространства на объекты и действия — это чрезвычайно разумный

способ предсказывать что-либо, исходя из того, как устроен мир»<sup>27</sup>. Онтология Пинкера состоит из предметов и действий. При этом каждый предмет у него — это «отрезок твердой материи». Для обозначения предметов и действий создается язык. Если мы не различаем предметы и действия, то у нас нет и того, что мы можем обозначать посредством языка. Между тем, первыми словами одновременно обозначались и предмет, и действие. А это значит, что первое слово не было словом в современном его значении. Оно было скорее антисловом.

В терминах онтологии Пинкера невозможно объяснить появление языка, потому что непонятно, откуда он взялся и зачем? Весь природный мир устроен так, что в нем оставляют потомство, не прибегая к словесным обозначениям. Чем в таком случае обусловлено существование особенного вида, которому необходим язык для размножения? Не совсем также понятно, к чему относится само сознание. Оно относится к предметам или действиям? Или оно нереально? Непонятно у Пинкера и соотношение предметов и действий с языком, не является ли само существование предметов и действий результатом языковых различий между существительными и глаголами.

Неудача Пинкера состоит в том, что он ребенка принимает за лингвиста-исследователя, а в его родителях он видит туземцев, которые кричат: «Гавагай!» вслед за пробегающим мимо них кроликом. Но ребенок не лингвист, у которого, с одной стороны, есть предметы и действия, а с другой — слова для их обозначения. Предметов много, а слов мало. Язык скуп на слова и щедр на значения слов. А поскольку нет прямого соответствия между словами и предметами, постольку ребенку, как, впрочем, и родителям, и даже лингвисту, нужно интуитивно угадывать это значение, но для этого нужно быть грезящим существом, обладающим не интеллектом-вычислением, а сознанием, которое делает речь иллюзией и одновременно действием.

## **2.9 Речь как иллюзия**

Пинкер называет речь иллюзией<sup>28</sup>. Почему? Потому что полагает, что граница между словами не звучит, и мы не знаем, когда закончилось одно слово и началось другое. Между словами нет промежутков<sup>29</sup>. Мы воображаем границу слова. Примером речи как иллюзии являются оронимы. Например: «и кнут» неотличимо от «икнут». Последовательность звуков — это иллюзия в речи. Если записать на магнитную ленту слово «дом», то нельзя получить кусочек ленты, где будет звучать «д», потом кусочек с «о» и, наконец, кусочек с «м». Если кусочки склеить в обратном порядке, то будет не слово «мод», а шум.

Пинкер пишет: «Врожденная грамматика бесполезна, если вы единственный, кто ею обладает, это танго в одиночку, хлопок одной ладони. Но геномы других людей видоизменяются... Вместо того чтобы представить ребенку полностью врожденную грамматику, которая вскоре перестала бы согласовываться с чьей бы то ни было еще, эволюция дала ему возможность выучить варьирующиеся части языка как способ привести в соответствие свою грамматику с грамматикой окружающих»<sup>30</sup>.

На мой взгляд, Пинкер делит язык на две части: одна часть врожденна и ей не обучаются, другая — не врожденна и ей обучаются. Но язык относится к таким феноменам, которые нельзя делить, так же как нельзя разделить ум или добро. Если язык разделить, как это делает Пинкер, то он исчезнет, и хлопок одной ладони здесь ни при чем. Язык — это иллюзия, которая реальнее реального.

Если элемент слова связан со всем словом, а между словами нет границы, как отмечает Пинкер, то элемент слова связан со всем множеством слов, то есть с хаосом. Ведь мы не знаем, какое слово последует за первым словом, и какое предложение последует за первым предложением, мы тоже не знаем. Из хаоса слов нужное слово извлекает воображение. И скорее в этом смысле речь стоит понимать как иллюзию.

## 2.10 Антиязык

«После 10 тысяч лет в языке не остается никаких следов того, чем он был»<sup>31</sup>. Но если это так, то нужно признать, что 10 тысяч лет тому назад язык был не таким, каким он существует сейчас. Для того чтобы закрепить это понимание, на мой взгляд, нужно ввести понятие антиязыка. Чем антиязык отличается от языка? Тем, что в основе языка лежит знак, то есть тело, отделенное от значения, а в основе антиязыка лежит значащее тело. В нем нет привычных дуальных структур Хоккета, синтаксиса Хомского, именных и глагольных групп, связок, а есть нечто похожее на слова, которые Марр называл монолитами, Абаев — самоназванием группы, и которые по сути своей называются антисловами. Асинтаксическое строение языка, его монотонные серии односложных наглядных образов составляют суть антиязыка.

Отличие Марра от Пинкера состоит в том, что Марр занимался палеолингвистикой, то есть пытался понять, что происходило с языком тогда, когда он еще только формировался и не был языком в современном смысле этого слова. Согласно Марру, наблюдать этот процесс сегодня невозможно, он скрыт толщей истории, в том числе историей языка. Пинкер же полагает, что мы еще и сегодня можем увидеть, как язык формируется с нуля. Мы можем увидеть, пишет Пинкер, «как люди создали сложно организованный язык с нуля»<sup>32</sup>. Для этого он рассказывает трогательную историю о пиджине.

### 2.11 Пиджин

Во времена работорговли плантаторы создавали «маленький Вавилон», смешивая рабов и работников, говорящих на разных языках, для того чтобы они не сговорились и не устроили какую-нибудь заварушку. Плантатор разделял и властвовал, а рабы придумали пиджин, то есть жаргон, в основе которого лежал язык хозяина, то есть английский язык. Пиджин — это «обрубленные цепочки слов, позаимствованные из языка колонизаторов или владельцев плантации»<sup>33</sup>. Порядок слов в нем произволен, а содержание грамматики минимально.

У рабов были дети. Если этих детей оставить один на один с

пиджином, то они, по мнению Биккертона и примкнувшего к нему Пинкера, смогут сделать его настоящим языком с настоящей грамматикой.

В мифе о пиджине есть несколько допущений, которые обесценивают его содержание. Во-первых, Пинкер не смог показать нам, как язык делают с нуля. Ибо язык ускользает в толще того, что мы называем антиязыком, в неразличенность именных и глагольных форм, чтобы вновь оттуда появиться. Но эта толща как раз Пинкера и не интересует, так как пиджин возникает среди людей, которые уже владеют языком. Раб — это не *tabula rasa*, у любого раба уже был язык, и в нем уже была грамматика, которую он не изобретал.

Во-вторых, Пинкер не обращает внимание на связь языка и социума. Язык, на мой взгляд, это условие любых социальных сцеплений. Смещение же языков — это социальный разрыв, социальная дыра, отсутствие вяжущей связи языка. Такие социальные дыры и заполняются пиджином, деривативной социальностью. А тот пиджин, который становится креольским языком, говорит лишь о нормализации языковых сцеплений социальности. А это все значит, что дети не могут изобрести язык, потому что это им мешает сделать социум. Изобретая язык, ребенок хочет заставить мир говорить на своем языке, тогда как социум силой обстоятельств может принудить ребенка говорить на языке другого. Пинкер как бы не замечает этого столкновения.

В-третьих, язык — это действие, прескрипция, то есть в нем фундаментальную роль играет прагматика, а не семантика и не синтаксис. Вот как характеризует пиджин Пинкер: «Пиджин не предоставляет говорящим на нем элементарных грамматических возможностей, чтобы передать... сообщения — нет твердого порядка слов, нет приставок и суффиксов, нет временных форм или временных и логических показателей, нет структур сложнее простого предложения, и нет закрепленного способа выражения, кто производитель, а кто объект действия»<sup>34</sup>.

Пример пиджина. Японец говорит по-английски: «People no like t'come fo'go wok». По-русски это будет звучать примерно так: «Люди не любить приходить для идти работать». То есть люди не хотят, чтобы он работал [на них]. Пинкер и Биккертон, ссылаясь на такого рода пиджин, говорят о ясной картине врожденных грамматических механизмов, возникающих в сознании. Но никакой ясной картины врожденной грамматики никто из них не представил. Во всяком случае, грамматический ген никто еще не открыл.

Но существует и другой взгляд на то, что Пинкер называет пиджином. Этот взгляд представлен в работе П. Блонского «Память и мышление», изданной в 1935 году. Блонский и Пинкер исходят из разных посылок. Если Пинкер говорит, что мы не учимся языку и у нас есть врожденная грамматика, то Блонский утверждает, что все мы учимся языку и у нас нет никакой врожденной грамматики. Для Блонского важна память, ибо без нее трудно учиться. Для Пинкера память вообще не важна. Согласно Блонскому, мы сначала понимаем речь, а потом говорим, то есть понимание предваряет речь. Пинкер, следуя Хомскому полагает, что мы сначала бессмысленно говорим, а потом понимаем. В концепте Блонского мысль без речи невозможна. В концепте Пинкера существует несловесное мышление. Хотя и тот и другой знают о возможности существования речи без мысли, то есть бреда. Поскольку понимать — значит знать значение слов, постольку Блонского интересует не универсальная грамматика, а происхождение значения. Зарождение значения, согласно Блонскому, лучше всего наблюдать в агглютативных языках, а не в флектирующих языках. К этим агглютативным языкам относятся языки народов банту в Африке, индейский язык и другие. К индейским языкам апеллируют и Пинкер, и Блонский. Пинкер обращается к ним для того, чтобы показать действие универсальной грамматики, некоего кода. Блонский обращается к ним для того, чтобы рассмотреть образование слова с нуля. «В алгонкинских языках, — пишет Блонский, — нет ни имен, ни глаголов, поскольку нет ни склонений, ни спряжений...»<sup>35</sup> Следовательно, эти языки нужно отнести к пиджину, ибо в них нет никакой грамматики, а есть только местоимения и наречия, которые похожи то на имя, то на глагол, то

на деепричастие. Так, самоанское слово *mata* означает и лицо, и глаз, и смотреть. *Ma* переводится как предлог «к», «для», «с», *ta* — значит «я». Одно и то же слово могло обозначать и руку, и речь. Это обозначение заставляет Блонского обращать внимание не на мыслекод, как это делает Пинкер, а на действие рукой, которой указывают сначала на того, о ком говорят, потом указывают на себя, на того, кто говорит, затем указывают его и называют его действие. Все это, согласно Блонскому, означает, что человек говорит не на мыслекод, как это полагает Пинкер, а рукой. Говорить — значит указывать. В словах указывать и рассказывать один и тот же корень. На языке билехи без всякого пиджина, чтобы сказать «у меня есть мать», говорят: «Меня делать причинять это сидящ...»<sup>36</sup> Вместо «у меня есть мать» получается «меняделательница вот сидит».

Иными словами, П. Блонский не нуждается в идее языка-инстинкта, ему не нужна теория Хомского, потому что вместо глубинной грамматики он обнаруживает наглядное значение. Дело в том, что передача информации сама по себе была действием, жестикуляцией, указанием, которое, в свою очередь, дополнялось звуками, речью. «Речь, — пишет Блонский, — дополняла собою их и от них главным образом получала значение... Значение речи было очень наглядно: во многих случаях его видели»<sup>37</sup>. Так, на одном из западноафриканских языков фраза «учитель отпускает учеников» будет строиться так, что учитель выражается четырьмя словами — «вещь», «показывать», «он», «этот». Отпускать — двумя словами: «давать», «дорога»; ученики — тремя словами: «учиться», «этот», «они». Получается: «вещь показывать этот он давать дорога давать учиться этот они»<sup>38</sup>. Видимые же значения — это зрительный образ, но образ — это не знак образа, не слово. Индеец не говорит просто «мать», это слишком абстрактное понятие. При имени обязательно должно быть указательное местоимение: «моя», «твоя», «его».

И только когда образ заменяется словом, тогда исчезает потребность в указательных местоимениях, в наглядности. И, в конце концов, получается рассказ, современный нарратив, в

котором нет налицо того, о ком говорят, его уже не видят, его представляют.

Повторы, плеоназмы нужны были человеку потому, что он понимал значение слова не с первого раза. И то, что Пинкер называет пиджином, можно обсуждать в контексте различия между наглядным, образным и абстрактным языками. При этом образный язык восходит к указаниям рукой, сопровождаемым звуками, к ручной речи.

## 2.12 Релятивизм

«Я ненавижу релятивизм», — говорит Пинкер, — потому что люблю порядок, устойчивость, универсальность. Релятивизм — это зыбь, болото, в котором можно утонуть. Язык как инстинкт — это такая универсалия, которая, по мысли Пинкера, должна дать нам прочную основу, неизменную сущность. Универсальной грамматике соответствует представление об универсальном сознании и универсальном человеке, которому присущи социальный ранг, вежливость, юмор, бинарные различия и т. п.<sup>39</sup> Пинкер пишет: «Вряд ли найдется храбрец, попытающийся смоделировать все человеческое сознание целиком»<sup>40</sup>. Пинкер не храбрец, поэтому он не моделирует сознание целиком, Пинкер моделирует его по частям, по модулям. Всего Пинкер насчитал 15 модулей. Среди них интуитивная механика, интуитивная биология, интуитивная психология и другие. И это он назвал своей аналитикой сознания. Но в этой аналитике осталось одно загадочное слово — «интуиция». Пинкер никак не разъясняет слово «интуитивная», потому как, чтобы его разъяснить, ему придется отказаться от важнейших концептов своей теории и, прежде всего, от эволюционной адаптации и в целом от натурализма. Но спасение натуралиста не в обращении к стандартной социальной модели мира, не к социологии, а к исследованиям аутистических форм деятельности человека. Обезьяна не аутист. Поэтому учить ее языку бессмысленно. Обучение непременно становится дрессировкой.

## 2.13 Дрессировка

«Язык больше не является той областью, где господствует только человек»<sup>41</sup>, — заявила дрессировщица обезьян Петерсон. В этой области появились и обезьяны.

Горилла Коко овладела американским жестовым языком. Она сумела назвать лебедя «водяной птицей», а черствый кекс — «каменным печеньем». Шимпанзе Дана и Кензи научились нажимать кнопки с символами. Супруги Гарднеры, как родную, воспитали обезьяну Уошу. Так сложился миф о том, что обезьяну мало что отделяет от человека. Поколебать этот миф взялся Пинкер. Он приводит рассказ одного глухого человека, для которого язык жестов был привычен и который участвовал в эксперименте с обучением обезьяны. «Каждый раз, когда шимпанзе делал знак, мы должны были заносить его в журнал... Меня всегда укоряли за то, что в моем журнале всегда было мало знаков. У слышащих людей были журналы с длинными списками. Они все время видели больше жестов, чем я... Но я действительно смотрел внимательно. Руки шимпанзе все время двигались. Может быть, я что-то пропустил, но я так не думаю. Я просто не видел никаких жестов»<sup>42</sup>. Вывод: обезьяны не выучили язык жестов<sup>43</sup>.

Также Пинкер упоминает о Дж. Гуддал. Наблюдая за жестами шимпанзе Нима, она заметила, что это не жесты, относящиеся к языку глухонемых, а движения, знакомые ей из наблюдений над шимпанзе в природных условиях.

В итоге Пинкер сделал вывод: амбициозные заявления об успехах обезьян в деле изучения языка ушли в прошлое. Научные дискуссии о способностях обезьян овладеть человеческой речью не состоялись. Дрессировщики Гарднеры и Петерсон вообще отказались от участия в подобных дискуссиях.

## Резюме

Обезьяна никогда не овладевала и не овладеет речью так, как ею овладевают дети, то есть спонтанно. Более того, Пинкер предупреждает, что шимпанзе — это злобные обезьяны, которые

откусили пальцы не одному психологу, попытавшемуся обучить их речи.

### **3. Вынашивался ли язык в эволюционной утробе? Критика антропологии Ю. Моница**

В своей книге «К истокам человеческой коммуникации...» Мониц пишет: язык «долго вынашивался в эволюционной утробе, но роды, учитывая неожиданное появление кроманьонца, были в сравнении с этим очень непро-должительными»<sup>44</sup>. Видимо, Мониц думает, что кроманьонец — это человек. Полагая, что если кроманьонца побрить, одеть в костюм и привести в ресторан, то официанты примут его за европейца. Но не все ученые думают так, как Мониц. Например, Поршневу прямо говорил, что кроманьонец — это еще обезьяна. И приводил аргументы<sup>45</sup>. А это значит, что никакого языка в эволюционной утробе не было. Там были сложные формы инстинктивного, в том числе ритуализованного, поведения. А если не было языка, то не было и речевых знаков, а поскольку речевой знак — это знак вообще, то не было и знаков. Между тем, Мониц настаивает на том, что «знак, с точки зрения эволюции семиозиса, может быть охарактеризован как продукт деятельности всего организма, во многом (если не полностью) обусловленный его структурой»<sup>46</sup>. В связи с тем, что биологические организмы не сидят неподвижно, на их месте остаются продукты жизнедеятельности организма. Нужно ли Моница понимать так, что среди этих продуктов есть еще и знаки?

#### **3.1 Чего хочет Мониц?**

«Обосновать концепцию происхождения языка под влиянием базовых параметров ритуализованного поведения...»<sup>47</sup> Иными словами, Мониц хочет, чтобы язык рассматривался как продукт биологической эволюции, ибо базовые параметры ритуализованного поведения создаются эволюцией.

#### **3.2 Чего не хочет Мониц?**

Он не хочет, чтобы язык рассматривался как непосредственное следствие эволюции базовых параметров ритуализованного поведения. Я намерен, говорит Монич, рассматривать язык «не как прямое продолжение старших коммуникативных систем, но как принципиальное дистанцирование от них»<sup>48</sup>. А это значит, что он хочет показать рубеж, при переходе через который «язык встал на путь бесповоротного отрыва от своей биологической колыбели»<sup>49</sup>.

Поэтому, продолжает пояснять свою мысль Монич, не верьте мне, когда я буду говорить о том, что язык произошел от агрессивного и умиротворяющего типов поведения животных.

### **3.3 Что получилось у Монича?**

У него язык проходит через естественный рубеж, как Суворов через Альпы. С энтузиазмом. Но отрыв языка от биологической колыбели лишает Монича возможности рассказать об агрессивном и умиротворяющем типах поведения. А ему рассказать об этом хочется, поэтому он утверждает, что, хотя отрыв языка и произошел, но все же он кое-что сохраняет из прежнего источника. Конечно, не прямо, а косвенно язык оказывается связан с ритуализованными формами поведения. Откуда мы узнаем об этой косвенности? По языку Монича.

### **3.4 Язык Монича**

В языке Монича есть такой концептуальный вербальный оборот, как «знаковая форма поведения животных». Этот оборот говорит больше, чем говорит Монич. Он говорит о том, что Монич больше этолог, чем сами этологи. Подобный оборот слов невозможно встретить даже у основателя этологии К. Лоренца. А у Монича он встречается. Почему? Потому что язык Монича требует договаривания. Вот пример: «Знаковые формы поведения у животных в основной своей массе являются элементами более общих поведенческих программ, почти всегда детерминированных на генетическом уровне, и только у ряда высокоорганизованных видов исследователи отмечают такие структурные вариации в

сигналах, которые образуют нечто похожее на диалектные различия, существующие между пространственно дистанцированными, а иной раз и локально смежными популяциями»<sup>50</sup>. По этой цитате видно, как мысль Монича лавирует и ускользает между словами «в основной своей массе», «почти всегда», «нечто похожее».

Нетрудно понять, что если есть «основная масса», то есть и не основная. «Почти всегда» означает не всегда, а «нечто похожее» — хотя и похожее, да не то.

Монич, видимо, все еще верит в истину, раскрываемую основной массой, а не тем, что сбоку, на периферии, в меньшинстве. Помимо прочего, сочетание слов «знаковая форма поведения животного» является симптомом укоренившегося заблуждения среди ученых о том, что природа наполнена знаками. В ответ на «знаковые формы» Монича нужно сказать, что знаки по небу не летают и по улицам не бегают, и на прохожих не лают. Если где-то есть знаки, то там обязательно найдутся и люди, для которых характерно знаковое отношение к миру. Природа же знаковые формы не делает, равно как паровозы она не строит. То, что Монич называет знаками, является неадекватным рефлексом или смещенным действием (Тинберген). Вот пример смещенного действия. Дж. Ван Лавик-Гуддал описала так называемый «танец дождя» у шимпанзе. Перед дождем обезьяны прыгают, приплясывают, размахивая ветвями деревьев. Размахивание ветвями, отделенное от дождя, становится, по Тинбергену, смещенным действием, а по Моничу — знаковой формой. Но размахивание ветвями не отделяется от инстинктивного типа жизни обезьян. Все, чему обезьяны обучаются, не выходит за пределы контроля со стороны окружающей среды, частью которой они являются. Смещение действия обезьяны с дождя на групповое ликование по поводу найденных бананов не является знаковой формой в силу того, что обезьяны всегда тождественны своим действиям.

Шимпанзе при встрече приветствуют друг друга шумными возгласами, обмениваются чем-то похожим на объятия, пожимают

руки, целуются, похлопывают по спине. То есть они делают все то же самое, что делают и люди. И это действие, согласно Моничу, тоже носит ритуализованный характер. Но шумные возгласы обезьян — это не слова речи человека. Для обезьяны звуки речи ничем не отличаются от звуков природы. Для человека эти звуки отделены от всех остальных. Им человек подчиняет свои действия. Поцелуи человека в отличие от поцелуев обезьяны окутаны субъективным произволом, который иногда принимает характер нормы, как, например, политические поцелуи Брежнева с Хоннекером.

Я думаю, что знак, детерминированный геном, это, конечно, интересная мысль с точки зрения социобиологии. Жаль только, что на все знаки не хватает генов. Иными словами, дискурс Монича строится с какими-то оговорками, с возможностью, сделав шаг вперед, сделать при необходимости и шаг назад.

Вот речь у Монича заходит о «человеческих языках». Эти языки, конечно же, противоположны языкам животных. Они оказываются «совершенно не зависимы от генетического материала»<sup>51</sup>. Но если это так, то какие истоки биологического поведения Монич ищет? Разве истоки культуры лежат в природе? Ведь одно дело — природа, другое — культура, в основе которой всегда лежит абсолютная спонтанность. Хотя иногда они и похожи друг на друга. Но эта похожесть — обман, видимость, а не универсалия. Почему обман? Потому что она скрывает произвольность знака.

### **3.5 Произвольность знака**

Все знают, что связь между означающим и означаемым произвольна. И Монич, и Пинкер об этом знают. Но они не хотят согласиться с тем, что речевой знак — это знак вообще. Пинкер полностью игнорирует произвольность их связи, а Монич ловко обходит эту тему. Что это значит? А это значит, признав произвольность знака, нужно признать отсутствие знаковых форм поведения в мире животных. Но Монич, связав ритуализованные формы поведения и знаки, не может это признать. Ведь если слово

— это знак вообще, то коммуникация животных, без сомнения, является незнаковой, а коммуникация людей знаковой. Одна произвольна, другая произвольна. В одном случае мы имеем дело со знаками, а в другом — с признаками. И искать между ними эволюционную связь нелепо. Из естественного нельзя вывести искусственное, а из произвольного — произвольное. Здесь должна быть какая-то другая связь. Какая? На мой взгляд, это связь абсурда, или парадокса. На взгляд Монича, это связь ритуала. А в одежде ритуала у него вновь одета эволюция.

### 3.6 Прагматика знака

В речевом знаке важна не семантика и не синтаксис, а прагматика. Почему? Потому что речевой знак обращен не к вещи и даже не к ментальным референтам, а к человеку. И поэтому слово является действием. Оно указывает, приказывает, повелевает. Первые слова не номинировали какие-то вещи, а, как говорит Монич, были элементом ритуализованного действия. Например, клятвы. Но если это так, то тогда не очень ясно утверждение Монича о том, что язык есть естественное продолжение нашего организма и его взаимодействия со средой<sup>52</sup>.

Зачем моему организму слова для того, чтобы взаимодействовать со средой? Обезьянам, чтобы понимать друг друга, слова не нужны. И, слава Богу, обезьяны и без них обходятся. Они взаимодействуют со средой, успешно плодятся и размножаются. Для чего объявлять язык продуктом эволюции, если носитель языка может использовать любой знак для новых номинаций, если он может его заменить на любой другой знак? На мой взгляд, прагматика языка растворяется Моничем в биологической семантике, хотя Монич, как я уже говорил, и признает, что язык встал на путь бесповоротного отрыва от своей биологической колыбели. Но если он встал на путь бесповоротного отрыва, зачем же тогда Монич занимается антропоморфизацией животных и зооморфизацией человека? Почему бы ему не провести ясную границу между ними? Видимо, потому, чтобы опереться на авторитет Лоренца. Конечно, Конрад Лоренц — лауреат Нобелевской премии и основатель этологии. Но

зачем же «стулья ломать»? Ведь у Лоренца было еще и такое странное понятие, как спонтанность.

### 3.7 Лоренц о спонтанности

Лоренц пишет: «Главная опасность инстинкта состоит в его спонтанности»<sup>53</sup>. То есть Лоренц хочет сказать, что, пока инстинкт находится под контролем среды, он не опасен. Он очень даже полезен. А вот когда он выходит из-под контроля, тогда он опасен. Ибо тогда инстинктивное действие никто не просит появиться, а оно появляется из своего укрытия, без спроса, самовольно, то есть не как реакция на определенные внешние условия, а как неадекватная реакция, как спонтанность.

Идея Лоренца свела с ума уже Бородая, ибо она предполагает, что рефлекс — это более поздний продукт эволюции. Рефлексу предшествовала спонтанность, ауторитмия, то есть поведение, бесполезное для приспособления к среде и вредное для вида<sup>54</sup>. Вот это поведение и взяла под свой контроль эволюция, которая закрыла спонтанность на ключ и не выпускает на прогулку, ибо эта прогулка вредит биологическому виду.

Для того чтобы получить спонтанное (аппетентное) поведение, нужно снизить порог запускающего его раздражения. И вот когда он будет равен нулю, произойдет сброс нервного напряжения, вхолостую сработает инстинкт, и организм среагирует на то, чего нет. Возникнет аппетентное поведение. Но с такими реакциями нельзя выжить в мире неритуализованных действий. И все же есть одно существо, которое спонтанность сделало способом своего существования. То, чего нет, человек называет ценностью. На основе ценностей, или галлюцинаций, возникает поведение, которое не предназначено для приспособления, ибо оно спонтанно, то есть свободно. Согласно Лоренцу, эволюционное объяснение таких ценностей звучит всегда неубедительно и искусственно<sup>55</sup>.

К сожалению, Мониш не заметил этой идеи Лоренца и не оценил ее, обратив внимание только на ритуализацию поведения.

### **3.8 Ритуализация**

Слово «ритуализация» было введено в научный оборот О. Хаксли. Что значит ритуализация? Хаксли приводит пример. Водоплавающим птицам нужно строить гнезда. Самец ныряет в водоем, достает строительный материал со дна, держит его в клюве и выполняет движения, как если бы он строил гнездо. На самом деле он не строит гнездо, а пытается ухаживать за самкой. Он соблазняет ее приглашением к строительству гнезда. Его поведение утрачивает первоначальную функцию и превращается в некую церемонию ухаживания, в ритуализованное действие, без которого самка не посмотрит на самца.

Для людей тоже характерно ритуализованное действие. Например, юноша полюбил девушку. Ухаживая, он каждый раз дарил ей цветы на день рождения. Но вот чувство исчезло, он уже не любит девушку, она ему безразлична, но каждый раз в день рождения он продолжает дарить ей цветы. В этом случае также возникает ритуализованное поведение вежливости. К ритуализованному действию относится и раскуривание трубки мира, описанное Лоренцом.

То, что Лоренц называет ритуализованным поведением, Поршневу называет неадекватными рефлексам, а Тинберген — смещенными движениями, к которым относится, например, купание белого гуся на земле.

Согласно этологам, ритуализованное действие в мире животных способствует коммуникации, умеряет агрессию и создает новую мотивацию.

### **3.9 Неритуализованное поведение**

У животных неритуализованное действие — это прямое действие инстинкта. Собака, которая напала на человека с тем, чтобы его укусить, совершает неритуализованное действие. У человека это ковыряние в носу, зевота и почесывание в неприличных местах. Отличие животного от человека состоит в том, что «все мы, — как

говорит Лоренц, — психопаты»<sup>56</sup>. Все мы либо страдаем от общества, либо его заставляем страдать от нас. У нас, у психопатов, возникает понятийное мышление, которое является предпосылкой возникновения словесного языка. Помимо мышления предпосылкой языка, согласно Лоренцу, является также и процесс ритуализации.

К сожалению, тезис Лоренца о психопатии Мониш оставляет без внимания, что обесмысливает его описание словообразовательной эволюции. Мониша интересуют умиротворяющие и агрессивные формы поведения. Но только у тех, кого Лоренц называет психопатами, кто реагирует на пустое ничто, может появиться гипертрофированная агрессивность. Не успел человек стать человеком, то есть изобрести огонь и рубило, как он стал пожирать своих собратьев, возник каннибализм. Психопаты обнаружили свойство постоянной сексуальной возбудимости, что, в свою очередь, породило не только экзогамию, запрет на половые отношения внутри группы, но и онанизм.

Приспособительная сила инстинкта потерпела крах у человека, равно как потерпела крах и созидательная сила эволюции, ибо, как шутил Лоренц, в Австралии эволюция произвела эвкалипты и кенгуру, а в Старом Свете — дубы и человека<sup>57</sup>. Так что лучше бы Мониш оставил эволюцию в покое, то есть биологам, и объяснил нам, почему нельзя выводить язык только из ритуализованной коммуникации<sup>58</sup>. А заодно не мешало бы нам объяснить, откуда берутся психопаты, почему они научились говорить, и как у них возникла социальность, в результате какой социосозидательной ритуализации?

### **3.10 Асоциальность человека**

Социальность животных ученые считают бесспорным фактом. Вот пример, приводимый в книге Мониша<sup>59</sup>. Обезьяну, самца и лидера группы, экспериментаторы начинают кормить на глазах у группы в последнюю очередь, а к его самке подсаживают другого,

подчиненного ему самца. Что происходит с самцом-лидером? У него возникает невроз, предынфарктное состояние, потому что нарушен его ранг, социальный порядок. Второму дают то, что принадлежит первому. Иногда вторые по рангу становятся первыми. Мониц приводит в пример одного самца, который очень хотел быть первым, но у него не хватало для этого собственной силы, тогда он однажды украл у туристов кастрюли и, греясь ими, навел на остальных самцов страх и ужас. В результате он стал первым. Обезьяны не выживают при нарушении социального порядка, у них возникает нервный срыв. Кто может выжить в ультрапарадоксальной ситуации? Психопат, то есть человек. Социальные существа умирают в таких ситуациях. Асоциальные существа выживают, у них ненормальное становится нормой. Поэтому история социальности человека началась с асоциального, с девиации, а именно — с каннибализма, онанизма и аутизма. Человек — асоциален. Между асоциальным в человеке и социальностью лежит язык, благодаря которому между людьми возникают социальные отношения. Социум — это люди, связанные одним языком.

### 3.11 Клятва

Согласно Моницу, история языка начинается с клятвы. Клятва — это способ собирания группы в одно целое. Это закон, боевой клич, признак, отличающий одну группу от другой<sup>60</sup>. Нужно признать, что ради одной этой идеи стоит прочитать всю книгу Моница.

Слово-первоклятва рождается в пространстве эмоций, а поскольку оно связано с эмоцией, постольку оно не связано с мышлением, ибо мышление не совместимо с аффектом. Первоначальное слово, не имея предметных значений, эмоционально раскрашивает мир. Отделение признака от наличной ситуации превращает его в знак. Прямое незнаковое воздействие друг на друга заменяется действием, опосредованным знаковым описанием ситуации.

Если есть клятва, то есть и клятвopреступники. Проклинают

чужих и себя, закликают своих и богов. Клянутся в верности друг другу. В качестве примера Мониц цитирует Канетти, рассказывающего о том, как в Габоне одно племя избирало короля. Сначала его унижали, оскорбляли и били. Некоторые на него плевали, а самые отчаянные пинали его ногами. А потом перед ним склонили головы в величайшей почтительности. Амбивалентность этого символического действия, видимо, состоит в инверсии верха и низа, мы и они. Когда короля унижали, ему показывали нижние границы существования, это был предел, на котором заканчиваемся мы и начинаются они, не такие, как мы. Когда склоняют головы, короля помещают у верхней границы социума. Он — свет, а мы — тьма, не такие, как он. Между нами ничейная зона, красная полоса риска. Он делает нас своими, он возвышает нас, а мы клянемся ему в верности. Согласно Моницу, клятва развивается в слово человеческого языка, и в этой связи им упоминается В. Абаев.

### 3.12 Абаев

В. И. Абаев — ученик Н. Я. Марра. Оба они не натуралисты в лингвистике, а скорее социологи. Например, Абаев полагает: чтобы что-то нашло отражение в языке, недостаточно, чтобы оно было воспринято. Необходимо, чтобы оно было осознанно. Осознание предшествует языку. То есть клятва не может развиваться в слово человеческого языка без сознания. Сознание — ключевое понятие для осмысления языка. Но как раз это понятие напрочь отсутствует в сочинении Моница. Абаев, оперируя словом «сознание», противопоставляет человека и животное. Мониц, оперируя словами «ритуал» и «этология», считает это противопоставление устаревшим, а границу между человеком и животным — зыбкой<sup>61</sup>.

Для Абаева первое слово — не символ вещи, а символ социума, которое потом становится именем вещей, но в той мере, в какой эти вещи относятся к социуму. И Моницу нравится эта мысль Абаева. Но при этом Абаев указывает еще и на идеальные, воображаемые отношения. Он говорит о том, что именование было своего рода идеологическим актом, посредством которого присваивались «и недоступные вещи, как небо и солнце»<sup>62</sup>. Но Мониц не хочет видеть

никакой идеологии в именовании вещей, ибо жаждет биологической этимологизации первых слов<sup>63</sup>, что нелепо, ибо животные не присваивают не доступные для них вещи.

Если бы они их присваивали, то тогда они умели бы и рисовать. Но животные живописью не занимаются.

### 3.13 Язык и наскальная живопись

Монич допускает мысль о том, что язык возник два миллиона лет назад. Абаев датирует его поздним палеолитом, примерно 25–15 тысяч лет тому назад. Для Монича и эта мысль Абаева при определенных условиях тоже приемлема.

Примерно 50 тысяч лет назад появились первые рисунки, так называемые психогаммы, то есть абстрактные линии, спирали, зигзаги, не поддающиеся отождествлению с реальными объектами. Примерно в это же время появился и человек. Во всяком случае, на этом настаивал Б. Поршневу, выступивший с идеей укорочения человеческой истории<sup>64</sup>.

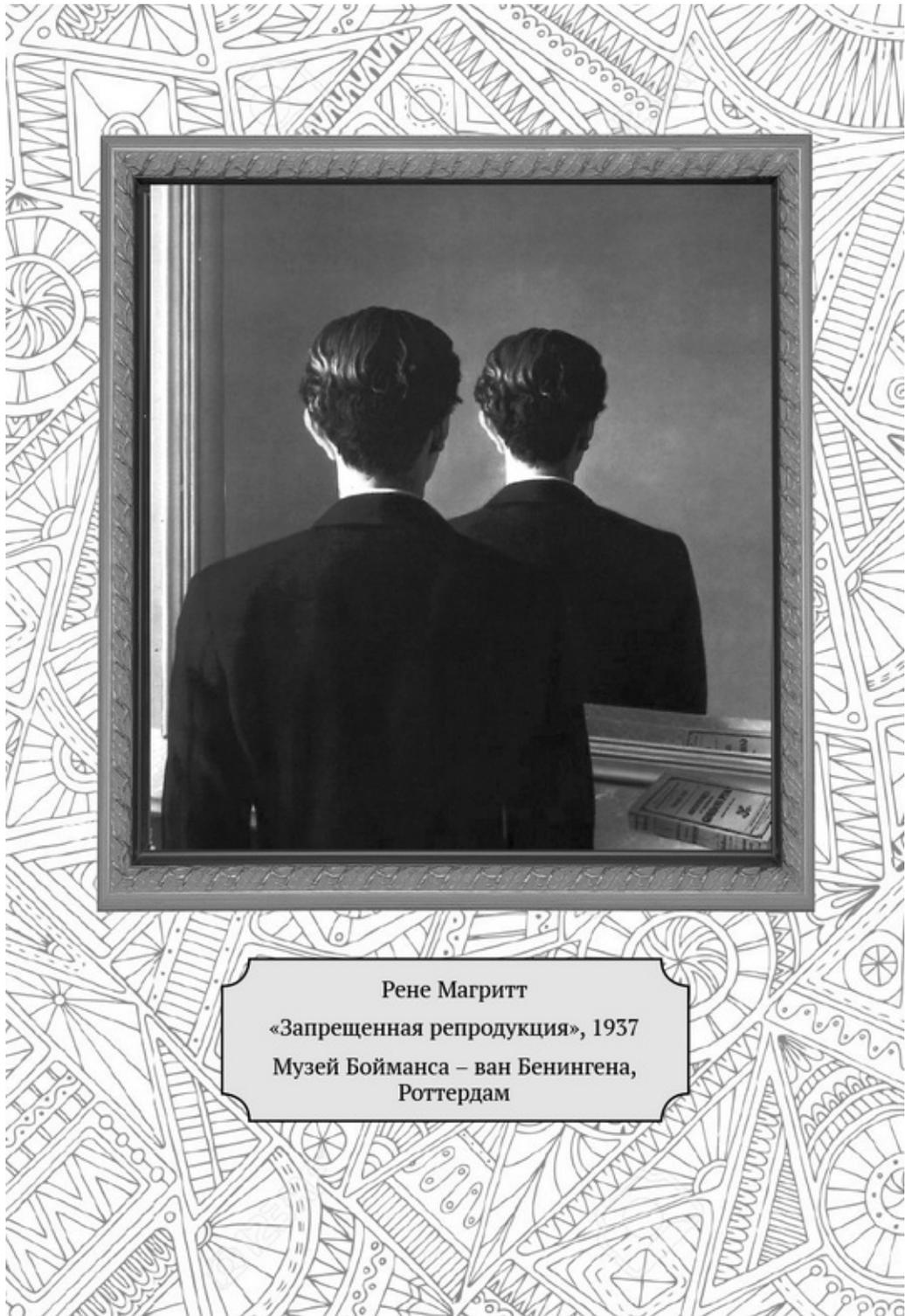
Через 15 тысяч лет появились пиктограммы, реалистические изображения животных, но в этих изображениях не было сюжета. Сюжетная живопись появится и расцветет в эпоху неолита. На мой взгляд, все это означает, что наскальная живопись предшествовала появлению языка, а не развивается параллельно с ним, как думает Монич<sup>65</sup>. С появлением языка исчезают психогаммы, пиктограммы и идеогаммы. И возникает живопись в полном смысле этого слова. Это подтверждают два факта. Первый: дети двухлетнего возраста рисуют линии и зигзаги, дети пятилетнего возраста рисуют пиктограммы, рожицы и цветочки, а в школьном возрасте дети, как правило, вообще бросают рисовать. Второй факт: иногда на рисунках детей пяти лет целое раскладывается в последовательности своих частей. Глаза изображаются рядом с лицом, руль — рядом с рамой. Почему? Потому что дети уже владеют языком, и это присутствие языка им не удастся скрыть.

Сюжетная живопись также демонстрирует присутствие языка. А бессюжетная живопись — его отсутствие. Поэтому первые художники умели рисовать, практически не умея еще разговаривать (Поршнев). Первые слова, как и наскальная живопись, возникли не для коммуникации, а для самообозначения.

### **Резюме**

Обычно человека рассматривают, с одной стороны, как элемент социума, а с другой — как элемент биологической популяции. В итоге получается представление о человеке как биосоциальном существе.

Но на человека можно посмотреть и как на исключительно социальное существо, признав, что труд сделал человека. Новый натурализм в антропологии — это решительный отказ от такой точки зрения и демонстрация естественнонаучного представления о человеке. На мой взгляд, и натурализм, и социологизм, и, тем более, представление о биосоциальной сущности человека являются неадекватными стратегиями в понимании человека. Человек — это и не природное существо, и не социальное. И уж тем более не биосоциальное. Это существо трансгрессивное, грезящее, воображающее, и в этом смысле асоциальное и внеприродное. В природе не грезят, а социум избавляется от грез, превращая их в норму культуры.



Рене Магритт  
«Запрещенная репродукция», 1937  
Музей Бойманса – ван Бенингена,  
Роттердам

### Глава 3. Почему человек ускользает от наблюдения?

С чего следует начинать разговор о человеке? На мой взгляд, с первичной самопрезентации, с того момента, в котором человек сам представляет себя. С чего обычно начинают вести речь, говоря о человеке? С того, что первым попадется под руку: с понятия труда и сознания, языка и поведения. Под руку попадает, как правило, то, что ближе лежит. К чему это ведет? К тому, что человек ускользает от наблюдения. Чтобы он не ускользнул, нужно суметь отказаться от самого близкого и понятного. Разговор о человеке следует начинать с первичной самопрезентации, с того момента, в котором человек сам представляет себя.

## 1. От чего нам нужно отказаться?

Прежде всего, нужно отказаться от того, что позволяет нам судить по внешнему о внутреннем, минуя самовысказывание этого внутреннего. Одной из иллюзий рационалистического мышления является понятие труда.

### 1.1 Труд

Рационализация создает бесконечный тупик, по которому пошли ученые, спотыкаясь о так называемые нерационализируемые остатки. На этом пути Фурье придумал идею о социальной сущности человека, а Сен-Симон — идею трудового общества. «Труд» — довольно зыбкое понятие. В современном обществе труд обозначает работу, выражая понятие о производительной деятельности человека. Но Абаев, проследив историю этого слова, сделал вывод о том, «что когда-то оно значило также «болезнь», «страдание»»<sup>66</sup>. В слове «труд» есть не только предметное значение, но в нем выражена и точка зрения на этот предмет как на болезнь, на страдание.

Труд — это не труд, если у него нет цели. Если же есть цель, то должна быть и греза, которую сохраняют во времени. Греза, как и сновидение, текуча и неустойчива. Чтобы стать целью, она должна стать манией, одержимостью, которая расширяет пространство естественного существования человека. Но за это расширение

нужно платить тем, что человек становится «психопатом», что он выходит из-под контроля среды и к этому «выходу» приспосабливается биология человека.

Благодаря чему расширяется естественное пространство? Платон говорит, что оно расширяется в танце, в хоре и в песне. Танец, расширяя естественные формы жизни, создает пространство, в котором человек не зависит от своей природы. Но он в нем не зависит также и от социума, получая невиданную свободу, приобретая абсолютную спонтанность. Организму человека ничего не остается, как приспособляться к этой свободе. На пути этого приспособления возникает труд как страдание.

Конечно, нельзя трудиться без орудий труда. Орудия труда нужно изготовить. Следовательно, должен быть и производственный опыт.

Но опыт — это не опыт, если он не передается из поколения в поколение. А если он передается, то тогда нужно признать, что была, видимо, и членораздельная речь. А если была речь, то наверняка было и сознание.

Проблема состоит в том, что логичность этих рассуждений обесмысливает фактическое наличие орудий труда у обезьян. Как же нам узнать, имеем ли мы дело в отщепе с орудием животного или с орудием человека? Для того чтобы обойти эту проблему, изобрели понятие «коллективного производительного потребления». Его придумал Н. В. Клягин<sup>67</sup>.

Да, у животных есть орудия, но они, говорит Клягин, используются в индивидуальном производительном потреблении, а у человека — в коллективном. Если же животные действуют коллективно, то это действие непроизводительного потребления, как, например, создание плотины бобрами. Коллективное действие характерно и для шимпанзе. Но их действия являются безорудийными. Что используется для коллективного производства? Да, все те же оббитые камни, отщепы и кремниевые пластины. Чтобы их получить, нужно несколько раз ударить по

камню. Чтобы получить отщепы, нужно было нанести три удара. Чтобы получить ручное рубило, нужно было нанести 10 ударов, чтобы получить мустьерский нож, нужно было ударить 110 раз. В верхнем палеолите изготовление орудия требовало уже 251 удара. «Таким образом, — пишет Н. В. Клягин, — рост степени сложности технологии от типичного олдовая до ориньяка вполне очевиден»<sup>68</sup>. От олдовая до ориньяка — 1,5–2 миллиона лет. А это значит, что если смена одного поколения другим происходит за тридцать лет, то от олдовая до ориньяка прошло 60–70 тысяч поколений. Напомню, что вся история человечества укладывается в 400 поколений. От Аристотеля нас отделяет всего 80 поколений. Иными словами, весь прогресс в изготовлении орудий сводится к тому, что прибавление одного удара приходится на 300 поколений. А это, как заметил еще Поршневу, явление этологии, а не истории человека, оно нуждается не в сознании, а в интеллекте обезьяны.

Изменения орудий труда не требует изменения биологии человека. Напротив, животное сращено со своими орудиями, как улитка с раковиной<sup>69</sup>.

В начале всякого труда лежит идеальный образ того, что будет сделано в конце. И вся проблема состоит в разъяснении происхождения идеальности образа, идеальности видения, которое появляется в результате того, что абсурд освобождает нас из-под контроля естественной среды. Поэтому человек — это не тот, кто трудится, а тот, кто грезит, у кого неадекватные реакции на сигналы среды.

## 1.2 Прямохождение

Прямохождение — это «абсолютный жест человека, направленный, — по словам Гегеля, — по отношению к миру». Не эволюция выпрямила человека, а человек сам захотел ходить прямо<sup>70</sup>. Французский антрополог Анри Леруа-Гуран считает, что человек — это нечто прямоходящее по воле эволюции. Без сомнения, вертикальное положение освобождает руки при движении, при этом голова освобождается от пищевого

обшаривания местности и готовит себя к обретению функции речи. К сожалению, прямохождение характерно и для обезьян, тогда как одичавшие люди иногда перемещаются и на четвереньках.

Прямохождение не объясняет ни возникновения языка, ни того, что человек раздражает себя галлюцинациями. Человек не потому человек, что он ходит прямо, ходя он и ходит прямо, а потому человек, что краснеет при смущении. Поэтому не прямохождение дает нам критерий, по которому мы узнаем человека, а следы его самопрезентации.

### 1.3 Объем мозга

Мозг настолько важен для людей, что трудно поверить в то, что он возник из кожи. Не существует безмозглый человек. Еще недавно ученые были убеждены в том, что мозг объемом выше 750 см<sup>3</sup> является человеческим, а ниже — животным, но и объем мозга не является той меткой, по которой узнается человек. В противном случае нам пришлось бы отнести к числу людей и австралопитеков, ибо их мозг не меньше, если не больше, чем у человека. Мы люди не потому, что у нас есть неокортекс. Наоборот, у нас есть лобные доли, потому что мы люди. Не мы приспособились к мозгу, а он к нам. Старая истина гласит: мыслит не мозг, а человек при помощи мозга.

Эволюционная морфология мозга дает основания полагать, что не потребность в информации, не желание дать имена вещам создавали сознание и язык. Согласно Поршневу, из всех зон коры головного мозга, причастных к речи, самой древней является лобная доля. А это значит, что у истоков речи лежит не обмен информацией, а воздействие одного человека на другого<sup>71</sup>. То есть у истоков речи лежит общение до сообщения, или, как говорит Поршнев, суггестия.

Поскольку зоны речевой деятельности возникают в моторной области коры, а не в сенсорной, постольку речь нужна была не для информации о том, что мы почувствовали, а для суггестии. Поэтому

на смену узколобым обезьянам пришли высоколобые люди, те, чье поведение управляется не сигналами среды, а галлюцинациями и словами. Следовательно, говорить о целеполагании и о планировании среди животных не имеет смысла.

## 1.4 Язык

Еще одним критерием выделения человека считается наличие языка. При этом полагается, что многие животные имеют средства коммуникации, обнаруживающие сходство с элементарным человеческим языком. Самые радикальные ученые полагают, что все есть язык. А некоторые, самые отчаянные ученые, связывают знаки с Большим взрывом, с которого начался семиозис. Есть даже такие ученые, которые ждут, когда заговорят суслики. На мой взгляд, суслики никогда не заговорят, а девальвация идеи языка происходит, обесценивание слова и речи, разрушение понятия знака возможны. А поскольку язык находят везде, постольку ему следует противопоставить антиязык, который есть только у человека. Антиязык — это жестовый язык, органом которого является не голос, не рот, а рука. Человеческий язык родился тихо, из молчания. Поэтому его хорошо слышно.

Поскольку центр управления речью (зоны Брока и Вернике) находится у человека в левом полушарии мозга и в этом же полушарии находится центр управления правой рукой, постольку эти речевые центры вначале, как полагают ученые, обслуживали жестовый язык, а потом уже приспособились к управлению речью. При этом, как думает Клягин, процесс перехода к устной речи завершился уже 730 тысяч лет назад, ибо в это время появились следы знакового творчества. А под знаками имеются в виду линии, цветные пятна и древнепалеолитическое мобильное искусство, найденное в Странской скале в Чехии.

При этом многие исследователи думают, что у человека сначала была только внешняя речь, а потом уже появилась внутренняя речь, сознание.

Вот, например, как Клягин характеризует сознание:

«Самосознание основывается у человека на способности полушарий его головного мозга обмениваться понятийной информацией»<sup>72</sup>. Выражение «понятийная информация» указывает на то, что полушария у человека существуют и что они уже читали работу Гегеля «Кто мыслит абстрактно», хотя и ничего не поняли. Дело в том, что речь и язык — это разные субстанции, а сознание вообще не связано с языком, хотя и может с ним пересекаться.

К тем, кто находит истоки человеческой коммуникации в мире животных, относит себя и Ю. Мониц, который захотел изменить наше представление о мышлении и коммуникации у животных. Во-первых, говорит он, нужно признать, что и обезьяна мыслит, что у нее есть план и целеполагание. Во-вторых, она может мысленно ставить себя на место другого. В-третьих, она обучается, а это значит, что она знакома с условностями. Но как они все это делают, если они не грезят, не воображают?

Мониц всерьез считает, что обезьяны только потому и обезьяны, а не люди, что экологическая ниша человека уже занята. Просто обезьяны не успели ее занять. Вот когда исчезнет наша цивилизация, погибнут люди, тогда освободится ниша и нынешние обезьяны станут людьми.

Появление знаковых форм из незнаковых Мониц объясняет наличием у животных ритуализованных форм поведения. Одной из ритуализованных форм поведения является погребальный ритуал. Например, гориллы покрывают труп своего собрата листьями и засыпают землей. Такого рода факты дали основание уже Клягину сделать философский вывод о том, что нравственность возникла еще у гоминидов 1,5 миллиона лет назад. Недавнее открытие Арди отодвигает нравственность еще на три миллиона лет в глубь каменных веков, что полностью обесмысливает существование человека.

## **Резюме**

Наука не может знать то, что само себя знает. Она может знать то,

что себя не знает. Поскольку человек себя знает, постольку она старается лишить его этого знания, лишить внутренней стороны. Для этого человека нужно вывернуть наизнанку, полностью социализировать его либо полностью натурализовать, отсылая к творческому потенциалу эволюции. У социологов есть один бог — социум. У натуралиста есть два бога: один — это эволюция, другой — это гены. Вот от этих могущественных богов нам и нужно отказаться в аутографии языка и сознания.

Пусть ученые живут в мире классификационных иллюзий, и пусть им снится Линней. Этнологи и археологи пусть живут в мире отщепов, рубил, наконечников, украшений и коммуникативных схем типа груминга (чистка шерсти). Полулингвисты когда-нибудь станут лингвистами и забудут про обезьяну-человека, а полубиологи станут биологами и не будут бояться чуда сознания.

Мы же будем заниматься изображением пространства самопрезентации человека в предположении, что все люди несут в себе свой аутизм. А это значит, что нас интересуют не культурные и не природные определения этого пространства, не социум, а свободное самоопределение человека. Только оно дает нам уверенность в том, что мы имеем дело не с обезьяной, может быть, очень умной, а с человеком. Потому что мы твердо знаем о том, что несмотря на интеллект ни одна обезьяна не может смутиться, не может покраснеть от стыда. Равно как мы знаем, что в природе не существует гена смущения, ибо смущение — это не феномен социума и не феномен природы, а феномен самовоздействия человека. К феноменам такого же рода относятся наскальная живопись и смех, улыбка и сновидения, совесть и вина. Но из всех этих феноменов только наскальная живопись служит наглядной самопрезентацией человека, указанием на время нашей встречи с мыслью.

## **2. Наскальная живопись как след первичной самопрезентации человека**

Самим фактом существования наскальной живописи человек

говорит: «Вот я». А там рядом — это не я. Это обезьяны. Что же в наскальной живописи есть такого, что дает нам уверенность в том, что это не обман природы, не игра какого-то злокозненного гения, что она составляет первичную самопрезентацию человека?

Во-первых, это наглядное удвоение мира. В наскальной живописи мир впервые раздвоился, сошел с ума, ибо он обернулся и посмотрел на себя. Источником этого поворота является абсурд, сконцентрированный в человеке. Теперь, когда все уже случилось, мы никогда не будем родственниками обезьяны, ибо у нас появился второй план, внутренний мир. И мы всегда из одного мира можем уйти в другой. Мы всегда можем сойти с ума. Несколько наскальных рисунков обрекли нас на проблему поисков реальности. Нам нужно выбрать, где ее искать: в плане имманенции или в плане трансценденции. Мы не знаем, что реально в раздвоившемся мире. Для нас реальность стала проблемой.

Во-вторых, человек живописью на скалах открыл для себя пространство как таковое и впервые посмотрел на себя со стороны шизофренического раздвоения. И увидел себя в пространстве. Один раз художник был там, на стене пещеры, в виде линий своей руки, прикоснувшейся к стене, а в другой раз — перед стеной.

В-третьих, он открыл для себя время, нарисовав большого зверя, а внутри него — маленького. И этот маленький должен был появиться из большого зверя. Он впервые поместил себя в поток ощущений, обнаружив в нем первые последовательности.

Наскальную живопись в целом, на мой взгляд, стоит воспринимать как единственный достоверный факт присутствия человека по отношению к самому себе. Каковы же следы этого присутствия?

## **2.1 Гебефренический смех**

Всякий, кто рассматривал искусство первобытного художника, не мог не обратить внимания на то, что оно плохо поддается чтению. Его трудно описать и пересказать. Оно как бы прерывает линейное

время знака и показывает мир с нелинейной стороны. Ведь мы привыкли, что знак всегда отсылает к знаку, и у нас сформировалась некоторая постоянная готовность бежать по цепочке знаковых отсылок. Перед наскальной живописью ты цепенеешь, тебя никто никуда не отсылает, тебе некуда бежать.

Сколько бы мы ни напрягались в надежде услышать связанную речь художника палеолита, кроме гебефренического смеха наших предков мы ничего не услышим.

Вывод: наскальная живопись — это застывший гебефренический смех аутиста, выраженный в красках.

## 2.2 Чье место занимает слово?

Гегель пишет в «Философской пропедевтике»: «Язык — это умерщвление чувственного мира в том виде, в каком он есть непосредственно»<sup>73</sup>. Этот фрагмент можно перевести и так: речь есть умерщвление чувственного мира в его непосредственном чувственном бытии. Мы знаем, что антиязык — это жестовое действие, не сопровождаемое словами, рассказом. Это время непосредственного чувственного бытия, время наскальной живописи.

Антиязык сменяют жестовые действия, сопровождаемые словами. Это канун цивилизованной жизни. Чувственное бытие постепенно теряет свою чувственность. В живописи появляется сюжет. Затем уже наоборот: слова сопровождаются действиями. Чувственный мир теряет свою непосредственность. Это время Книги Мертвых, первой книги человечества. И вот наступает время, когда чувственный мир теряет свою чувственность. Это время речи, рассказа, вобравшего в себя всю чувственную наглядность мира. Время Гомера и индейских сказок.

Вот фрагмент рассказа одного индейца о том, что он делал вечером, зайдя в гости в дом европейца: «...Я позаботился говорить... всему, что кругом здесь. Это дерево там у угла вашего дома, я ему говорил в первый вечер, перед тем как лечь. Я вышел на

балкон и закурил. Я послал ему дым моего табака. Я сказал: “Дерево, не делай мне зла, я не плохой, я не пришел сюда сделать зло кому-либо, дерево, будь моим другом”»<sup>74</sup>.

Индеец посылал дым всему, что его окружало. Он переговорил со всеми предметами. Это образный, то есть конкретный и наглядный рассказ, на смену которому пришло абстрактное метанарративное описание. Речь умертвила чувственный мир. Или, как говорит Гегель: «Образ умерщвляется, и слово заменяет образ»<sup>75</sup>. Слово-знак превращает образ в нечто безобразное. Например, я говорю: «Это лев». Здесь имя становится сутью дела, а когда имя становится сутью дела, тогда миром начинает править логос. Вот пример правления логоса. Я возьму его из «Бытия и ничто» Сартра, который рассказывает о том, как он бросал курить. «Курение, — пишет Сартр, — является разрушающей реакцией присвоения»<sup>76</sup>. Сартр — эгоист. У него «Я» — это черная дыра, вбирающая в себя и разрушающая в себе весь мир. Табак для него — это символ присвоенного бытия, а затяжка — способ его разрушения. У бушмена «Я» смещено из центра. Сартр — это монстр, центрированный вокруг своего «Я», своего языкового ничто. Посредством выкуриваемого табака он объявляет войну всему сущему. Мир, — говорит Сартр, — горит и дымится, растворяясь в дыму, чтобы войти в меня.

Еще один пример действия логоса я возьму из «Медицинской психологии» Кречмера, который рассказывает о том, как серия односложных наглядных образов превращается в абстракцию. Например, «место-варить-что-нибудь» — все это, благодаря агглютинации образов, превращается в абстрактное понятие кухни, а «место-садиться-солнце» превращается в понятие запада.

Наскальная живопись не нуждается в речи, ей не мешает язык. Изображения животных никогда бы не появилось, если бы человек сначала научился говорить, а потом взялся бы за кисть. В изображениях палеолита есть та наглядность и конкретность, которая невозможна в присутствии слова. Почему? Потому что оно заставляет нас смотреть на мир абстрактно, в горизонте логоса. Мы и сегодня смотрим на вещи и видим не вещи, а их суть, то есть мы

видим их абстрактно, а не конкретно. Функция слова состоит не в том, чтобы вызывать наглядные представления, а в том, чтобы делать их ненужными. Мы говорим «мир», но мы не зарываем боевой топор в землю.

Первобытные художники определяют целостность нашего бытия не через слово, а через образ. Не язык был первой самопрезентацией человека, а искусство. Живопись палеолита — это письмо до речи, то есть письмо как образ, письмо без знаков, ибо важнейшим свойством знака, как заметил Деррида, повторивший мысль Гегеля, является свойство не быть образом.

Язык не позволяет заглянуть за себя тем, кто перестал ощущать в себе родство с первобытным художником, кто смирился с тем, что слово занимает место образа. Но язык — это всего лишь репрезентация в слове того, что уже было сделано умозрением в красках во времена первобытного шизофреника.

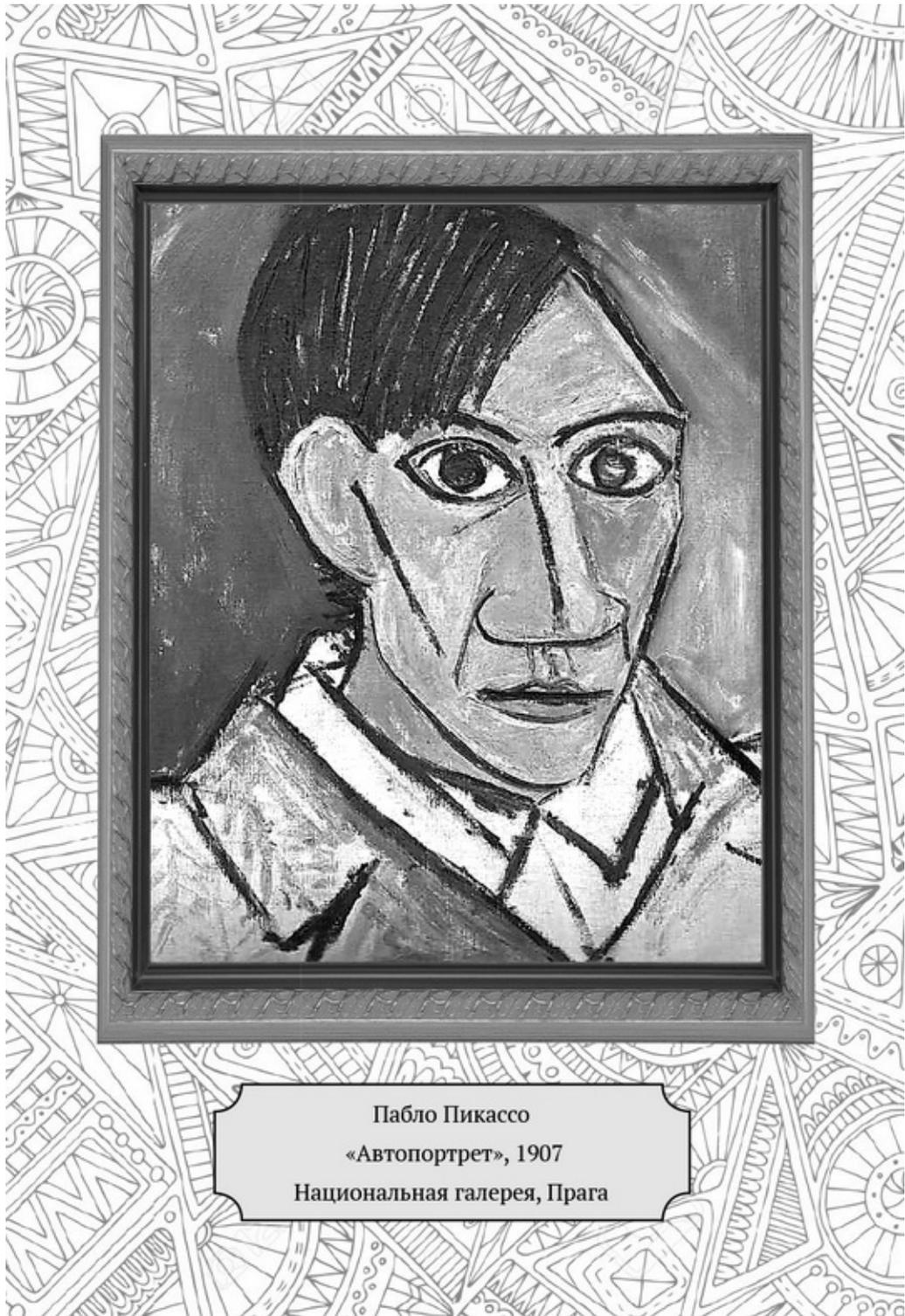
Из вышесказанного следует сделать вывод: не язык дом нашего бытия, а греза доперсонифицированной субъективности, пойманная первобытным художником. Лишаясь поддержки языка, мы не можем потерять уверенность в себе, ибо нас поддерживает выходящее за его пределы означаемое себя означаемое.

### **2.3 Прощание с логосом**

Первобытные художники заставляют нас признать, что начало истины человека лежит не в логосе, не в следовании уже сложившимся нормам и правилам. К этому началу нельзя подойти линейно, мало-помалу, ибо в случае линейности своего мышления мы будем продлевать только то, что уже есть. То, что есть, будет и в прошлом, и в будущем. Если же мы прибегнем к парадоксальной мысли, которая не является системой и не нуждается в поддерживающей ее целостности, то мы откроем для себя опасное прошлое и опасное будущее. Откроем то, что опасно только потому, что не следует нормам, и что, следовательно, узнается не как истина-алетейя, принадлежащая логосу, а как истина-мистерия, лежащая вне нормы и вне логоса. Так мы открываем свое

ненормальное прошлое и ненормальное будущее, случайным аспектом которого является нормальность настоящего.

Поскольку изображение и письмо нерасторжимо слились еще во времена наскальной живописи, когда еще не было звуковой речи, постольку письмо предшествует речи.



Пабло Пикассо  
«Автопортрет», 1907  
Национальная галерея, Прага

## Глава 4. Автография палеолитического искусства

Искусство позднего палеолита возникает неожиданно, вдруг, ни с того ни с сего. Без всякой предварительной подготовки. А это значит, что артефакты с горы Кармель в Сирии не являются ступенькой к находкам в пещере Бломбос на юге Африки, которые, в свою очередь, не могут рассматриваться как преддверие к пещере Ласко во Франции.

Наскальная живопись есть в Европе, но ее нет в Африке и нет на Ближнем Востоке. Она как луч света в темном царстве каменного века, который выхватил из мрака и показал нам сначала робкие, а затем уверенные рисунки первобытного художника. Зачарованные, мы увидели полихромные фрески и наскальную живопись, перед мастерством которой склонил свою голову привередливый Пабло Пикассо.

Палеолитическое искусство исчезло так же резко, как и возникло. Оно необъяснимо явило себя и так же необъяснимо скрыло себя. Это искусство не находит подтверждения в последующей эпохе. Как будто распалась связь времен и образовалась пропасть между искусством палеолита и искусством неолита или, как говорит П. Куценков, между искусством первобытным и искусством традиционным. Почему?

## 1. Неандертальцы и живопись?

Самое простое объяснение состоит в том, чтобы живопись палеолита приписать неандертальцам, а искусство неолита — предкам современного человека, пришедшим из Африки. Первые — обезьяны, вторые — люди. Это и является объяснением живописной пропасти между ними. Например, А. Д. Столяр полагает, что в основе генезиса искусства лежит натуральное творчество неандертальцев<sup>77</sup>.

Наши предки, согласно научным верованиям, пришли в Европу около 40–50 тысяч лет назад, когда неандертальцы здесь уже жили. Никто не знает, какие отношения были между ними, вступали они в половой контакт между собой или нет. Если вступали, то, возможно,

сегодня среди нас находятся потомки обезьян. Это установить трудно. Некоторые антропологи даже полагают, что наши африканские предки, вступив в контакт с неандертальцами, заразили их дурными болезнями, и они умерли.

Последние стоянки европейских аборигенов ученые относят к ориньякско-солютрейскому периоду, их возраст — 28 тысяч лет. Но если к этому времени неандертальцы исчезли, то чьи же творения мы нашли в пещерах Альтамира и Ласко, возраст которых 15–18 тысяч лет?

Чем же славны неандертальцы? У неандертальцев было то, что было и у наших предков. Природа им дала все. Она не могла им дать только грезы и воображение, ибо и то, и другое абсолютно спонтанно и самопроизвольно. Археологическое отличие между ними состояло в том, что неандертальцы обкалывали камни и получали широкие режущие кромки, а наши предки научились делать орудия заостренной формы. Если бы эти орудия давали какие-нибудь преимущества, то можно было бы говорить о том, что «африканцы» лучше решали свои продовольственные проблемы и быстрее размножались, вытеснив неандертальцев. Но ученые из английского университета Эксетера пришли к выводу о том, что никакого особого преимущества узкие лезвия не давали. Они скорее были социоразличительным признаком, по ним узнавали себя те, кто пришел из Африки. Неандертальцы были менее способны к социализации, а предки современного человека были более податливы. И хотя у неандертальцев ученые находят ген «речи», неандертальцы, видимо, в силу своей низколобости все же не разговаривали.

Решая вопрос об отношении неандертальцев к наскальной живописи, можно сделать вывод: никакого отношения к живописи они не имеют. К этой живописи имеет отношение человек воображающий. Был ли воображающим человеком кроманьонец, неизвестно. Кто бы им не был, это был человек. Между живописью палеолита и живописью цивилизованного неолита стоит язык, то есть во времена позднего палеолита люди галлюцинировали, а в

начале современной истории они уже говорили и, следовательно, худо-бедно справлялись с галлюцинациями.

## **2. Мобильное искусство**

К искусству малых форм относят скульптурки, сделанные из камня или вырезанные из кости. Всего известно около 50 таких скульптур, вряд ли они имели какое-либо практическое назначение. Например, какое назначение у фигурки скачущей лошади, найденной во Франции на стоянке Монтастрок? Никакого.

Мобильное искусство верхнего палеолита не вызывает вопросов, но вот что делать с более древними фигурами? Самые древние фигурки были найдены в Чехии в Странска скале. Их возраст составляет около 730 тысяч лет. Фигурки из камня найдены также на сирийских Голанских высотах. Их возраст — около 230 тысяч лет. Кстати, в Бломбосе никаких фигурок пока не нашли (70 тысяч лет).

Кто же является их автором? На этот вопрос стоит ответить в духе Пинкера: эволюция — это не линия, а куст, и на этом кусте были разные попытки выйти из-под контроля среды. Все эти попытки оказались неудачными. В любом случае они не имеют никакого отношения к истории человека, ибо история человека начинается не с того, что полезно, а то с того, что бесполезно, с наскальной живописи. Если на Странской скале в Чехии жили питекантропы, то это значит, что предметы, найденные на этой горе, составляют историю питекантропа, историю неудачных попыток природного разумного существа стать мыслящим.

## **3. Наскальная живопись**

Впервые наскальные рисунки обнаружил в 1879 году испанец Марселино де Сантуола. Сантуола был большим любителем археологии. Недалеко от его дома находилась пещера Альтамира. Однажды он взял дочь и отправился в пещеру. Пока Сантуола что-то раскапывал, его дочь бродила по пещере. «Быки, быки!» — вскоре закричала она, указывая на потолок. Сантуола посмотрел и увидел нарисованных быков, возраст которых, как впоследствии

выяснилось, составляет около 18 тысяч лет. Конечно, сначала никто Сантуоле не поверил. Многие посчитали эту находку удачной подделкой. Но оказалось, что подобные находки совершались и раньше. В 1836 году в гроте Ла Мадлен Э. Ларт нашел на кости мамонта изображение мамонта. В пещере Фогельхерд в Германии найдены фигурки лошади и мамонта, сделанные из кости. Их возраст примерно 32 тысячи лет. Здесь же найдена фигурка человека. В пещере Ласко во Франции также были найдены изображения животных. В 1994 году в пещере Шове во Франции были обнаружены около 300 рисунков и гравюр, на которых, опять-таки, были изображены животные, в том числе львы, пещерные медведи, гиены и носороги. Возраст этих рисунков — 32 тысячи лет. В Шове найдены изображения антропоморфных существ. На полу пещеры были найдены следы ног, остатки кострищ, кости медведей.

В пещере Кюссок недалеко от Ласко также обнаружены изображения антропоморфных существ и животных. Здесь же встречаются захоронения людей. Их возраст — 28 тысяч лет. Иногда в древних пещерах встречаются изображения людей в масках, а также с головой льва, что почему-то сразу же напоминает о египетских сфинксах. В 2001 году во Франции в Арденнах обнаружены наскальные рисунки, сделанные древесным углем. Их возраст — 32 тысячи лет.

Наскальные изображения представляют из себя процарапанные контурные изображения, а также изображения, обведенные одной красочной линией, и полихромную роспись. Тысячи изображений иногда сплошь покрывают скалы. Древние изображения перекрываются более поздними, что наводит зрителя на мысль о хаосе, который, конечно, здесь присутствует.

В последнее время антропологи много говорят о пещере Бломбос, но в ней нет наскальной живописи. А поскольку наскальная живопись — это окаменевшая мысль первобытного человека, постольку этой мысли в пещере Бломбос не оказалось. В ней нашли множество кусочков охры. Антропологи считают, что она могла

использоваться в магических целях, а также в будущем и для наскальной живописи. Возможно, что так оно и было, но уверенности в этом нет, ибо красная охра использовалась уже палеоантропами, то есть обезьянами<sup>78</sup>. К тому же самцы австралийского беседочника используют измочаленную кору для раскраски гнезда с тем, чтобы привлечь внимание самки.

Поэтому определять возраст современного человека в 70 тысяч лет, ориентируясь на находки в пещере Бломбос, ошибочно. Эти находки, которые представлены бусинами и кусочками охры с пересеченным орнаментом, не дают для этого никаких оснований, ибо могут описываться в терминах этологии, а не истории человека. Во всяком случае, пещера Бломбос может служить примером еще одной неудачи в попытке обезьяны освободить свою шизофрению.

#### **4. «Звериный стиль»**

В 66 пещерах Франции, Испании и Германии было обнаружено 610 изображений лошадей, 510 — бизонов, 205 — мамонтов, 137 — туров, 247 — ланей и оленей, 84 — северных оленей, 36 — медведей, 29 — львов, 10 — носорогов, а также изображения птиц и змей. Почему же художник палеолита изображал зверей?

#### **5. Завороженный покой**

Искусствоведы объясняют звериный стиль позднего палеолита тем, что искусство вообще носит миметический характер, оно подражает природе. Если искусство — это своего рода наука, способ познания мира, то это означает, что палеолитическое искусство — это также способ познания природы, построенный на подражании. Но если это так, то почему природа для художников палеолита исчерпывается зверями? Почему бы им не нарисовать солнце, луну, деревья, реки, звезды? Почему художник палеолита не изображает растения и горы? Видимо, дело не в мимесисе и не в практиках охоты. Ведь если охота была для них привычным делом, то они изображали бы сцены охоты, которые, хотя и встречаются, но редко и довольно поздно по сравнению с первыми рисунками.

На мой взгляд, суть дела — в психопатии первых людей, в том, что они, как аутисты, не любили изменений в окружающей среде. Эти изменения наносили им психические травмы, поэтому первобытные художники любили уединенные места — пещеры. Что у них вызывало беспокойство? Все, что движется. А двигаются — звери, птицы, вот они-то и нервировали художника палеолита, переполняя его видениями, оказывая на него эмоциональное давление. Пребывая в состоянии замороженного покоя, первобытный человек резко реагировал на любые нарушения покоя. В результате животные становились для него эмоциональными пятнами, тем, что нарушает монотонность мира, изменяет направление силовых линий ситуации, по которым ему приходилось двигаться.

Таковыми же эмоциональными пятнами являются для художника и палеолитические Венеры.

## **6. Палеолитические Венеры**

Художники палеолита были безразличны по отношению к мужчинам, ибо от них мало что зависело. Их они изображали в виде охотника, бросающего копье. Но эти изображения всегда схематичны.

К женщинам они относились не по-фрейдовски, без вожделения, хотя в искусстве верхнего палеолита встречаются изображения полового акта. И не по-гегелевски, без отношений раба и господина, художник — не раб, а женщина — не господин. Женщина — это тоже эмоционально раскрашенное пятно мира, ведь первое, с чем сталкивается любой человек, это его мать, то, что для него близко, устойчиво, надежно. Женщина дает жизнь, она источник покоя. Поэтому палеолитические Венеры изображаются с огромной грудью, переполненной молоком, с вспухшим от родов и плохой еды животом, с широкими бедрами, которые, как надежное убежище, давали приют детям, и, соответственно, с огромным задом. Было бы нелепо на месте палеолитической Венеры увидеть тощую старуху без груди, живота, бедер и зада. Это была бы не

Венера, а Баба-Яга.

Животные и палеолитические Венеры — это два эмоционально отдифференцированных полюса: изменение и покой, страх и уют. Иными словами, изначальное отношение человека к миру было не прикладным, не технологическим, а эмоциональным, а оно всегда амбивалентно. Поэтому наша культура до сих пор носит на себе следы двух взаимосвязанных полюсов: верха и низа, покоя и беспокойства. Обмен местами верха и низа придает культуре карнавальнй характер. Карнавал освобождает и упорядочивает мощные потоки эмоциональной энергии.

Палеолитические Венеры — не объект эротического чувства, не предмет обожания мужчины. Палеолитический художник смотрит на них с половым безразличием. Осталось ответить на вопрос «почему?».

## 7. Аутоэротизм художника

Первобытнй художник-шизофреник жил в мире своих грез и галлюцинаций и, как всякий аутист, вполне мог обходиться без женщин. Ему достаточно было самоудовлетворения, раздражения себя галлюцинацией, образом женщины. Онанизм — это самый простой ответ на поставленный вопрос.

## 8. Образы

Поздний палеолит редко изображает человека. Но иногда на рисунках животного видны следы его присутствия. Речь идет о том, что на фигурах животных видны ямки, которые образовались в результате того, что в них метали копья. Но ведь и зрители первого кино разбегались от мчавшегося на них с экрана паровоза. То есть реакция на изображение эмоционально могла быть точно такой же, как и на сам объект изображения, ведь никто еще не знал различия между образом животного и животным.

Образы — одно из величайших изобретений верхнего палеолита. В дальнейшем людям нужно было учиться жить вместе с образами,

учиться извлекать опыт общения с ними, не бояться вообразить. Чтобы возникли образы, нужна материя, то, из чего они будут делаться. Эта материя — галлюцинации. Первобытным художником руководят уже не сигналы среды, а импульсы его мечтаний и грез. Его взгляд не отражает мир, а проецирует зыбь своих грез вовне, где они могли бы зацепиться за что-нибудь материальное и затвердеть. Специалисты по искусству палеолита отмечают одну деталь, а именно: художник палеолита видит не то, что есть, а то, что могло бы быть. Он использует естественные рельефы скалы, готовые формы сталагмитов или натеки, чтобы создать фигуру зверя. Вернее, он может узнать в выступе скалы, например, бизона, тем самым объективируя свой взгляд, свое воображение. Так бизон из пещеры Кастильо вырезан из сталагмита, а рога и копыта выгравированы. В результате оказалось, что бизон как бы встает на дыбы. Нарисованный зверь и зверь натуральный, конечно же, как-то связаны. Сама возможность этой связи указывает на идеальный образ как субстанцию умозрения художника палеолита.

Анализируя понятие образа можно сделать вывод: тотем для галлюцинирующего сознания человека — это как первая вода для греческих философов, из которой все возникает и в которую все возвращается. Поскольку судить — это значит сравнивать то, что есть, с тем, что должно быть, постольку первые суждения и первые умозрения мы должны отдать художнику палеолита. Деабсурдизация мира, в котором жил первобытный человек, вводила его в пространство логоса и выводила из мистериальной пещеры аутизма.

## 9. Пещера

Блейлер писал в «Аутистическом мышлении»: «Человек может, сидя в пещере, воодушевиться для охоты, он заранее создает себе планы и готовит оружие, и эта деятельность переходит без резкой границы в собственно аутистическое мышление». Тем самым появлялись люди, деятельность которых превращалась в танец или живопись. А эти последние — в аутистическое упоение.

Пещера является одним из самых главных элементов палеолитического искусства. Если для Платона пещера — это миф, то для первобытного художника пещера — это дом, место, где рождаются и хранятся образы. Не агора, а пещера является изначальной родиной человека, символом недоверия к любой социальности. Не социализация, а социальная депривация создавала условия для первобытного художника, который, судя по некоторым раскопкам, принужден был жить вне племени как нечто ужасное и одновременно привлекательное<sup>79</sup>. Человек — существо одинокое, а не социальное. Такой вывод нам нужно сделать при взгляде на пещеру, переполненную рисунками. Неорганизованные орды галлюцинирующих людей, без земледелия, с зачатками орудий, с дототемической субъективностью, не связанные табу и брачными предписаниями, бродили по Европе.

Что же заставляло первобытных художников искать пещеру, забираться в труднодоступные места, чтобы выгравировать, нарисовать на стенах пещеры животных, провести линии, начертить зигзаги, сделать миниатюрные скульптуры? Зачем, какой смысл во всех этих лошадях, мамонтах, быках и шерстистых носорогах? А может быть, во всем этом нет никакого смысла? Может быть, никто в них не кодировал свои мысли и чувства, и мы напрасно ощущаем себя герменевтиками? Нам никто ничего не сообщал, и нам нечего расшифровывать?

Одним из ответов на поставленные вопросы является теория эйдетического зрения. Согласно этой теории, человек способен видеть на пустом экране предмет, который находился до этого перед глазами. Человек не вспоминает, а продолжает видеть. Он может видеть этот предмет через час и даже больше после его исчезновения из поля зрения. По словам Выготского, все дети — эйдетики. А это значит, что все люди обладают эйдетическим зрением. А затем оно по мере усвоения речи пропадает.

Иными словами, наскальная живопись является результатом эйдетического зрения первобытных людей, которые были «эйдетиками». Чем непрогляднее была темнота пещеры, тем для

них лучше. Как только люди научились говорить, они утратили первобытный натурализм. Либо живопись, либо поэзия. Либо живопись пещеры Шове, либо, как говорит Куценков, эпос о Гильгамеше. Одно из двух.

Теория эйдетического зрения не объясняет, откуда взялись люди с головой льва, она не знает агглютинации образов. Ей неизвестно происхождение прямых линий, геометрических фигур, которыми так беден мир и так богата наскальная живопись. Она не понимает, почему так легко треугольник превращается в летучую мышь, а палеолитическое искусство переполнено схематизмами.

## 10. Леруа-Гуран

Леруа-Гуран выделил четыре верхнепалеолитических стиля. Первый стиль — самый древний, в нем фигуры животных условны, схематичны, они почти не поддаются отождествлению. К самому древнему стилю Леруа-Гуран отнес те рисунки, на которых передаются одни только головы. Канон этих рисунков близок примитивизму, он напоминает детский стишок: точка, точка, запятая, вышла рожица кривая; палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. В составе геометрических фигур древнейшего стиля мы находим параллельные линии, меандры, зигзаги, круги, эллипсы. При этом большой эллипс, по-видимому, изображает тело, а маленький круг — голову, прямые линии — конечности.

Ко второму типу Леруа-Гуран относит те силуэты животных, в которых основой является извилистая линия шеи и спины, к которой прикрепляются все остальные части тела. При этом соотношение тела и головы непропорционально. На мой взгляд, «извилистая линия спины» — это не то, что видит художник палеолита, а то, чем он видит. Он как бы бросает эту линию в эмоциональное пятно, и перед ним вдруг появляется предмет, который трансформируется в серию различных тел. К третьему стилю Леруа-Гуран относит те изображения животных, где части тела животного нескоординированы с целым и живут как бы сами по себе

В четвертом стиле фигуры животных приобретают реалистичные черты. Эти фигуры не для общения, ведь чтобы общаться, нужно что-то сообщать, а чтобы сообщать, нужно научиться обобщать. Но фигуры животных эпохи Мадлен — это не фигуры обобщения, они слишком индивидуальны, глядя на них, ты видишь животное, а не его сущность. Они ничего не означают и не выражают. В фигуре быка из пещеры Альтамира мы видим не означающее некоторого означаемого, мы видим быка, который находится за пределами речи, прямого усмотрения сути дела. Изображение этого быка связано с тем, что Леви-Стросс называет бриколажем.

## 11. Бриколаж

Согласно Леви-Строссу, бриколаж состоит в использовании подручных средств, которые случайны и не находятся в логической связи между собой. Пещера и поверхность скалы — это подручные средства, которые позволяют объективировать галлюцинаторное напряжение художника. Иногда этим подручным средством могут быть пальцы руки, выступ скалы, которые становятся местом кристаллизации, вынесения вовне грез и галлюцинаций. Если в ориньякских рисунках контур животного обводится краской, то рисунки эпохи Мадлен раскрашиваются краской.

Цвет является сильнейшим раздражителем для первобытного сознания, тем, что причиняет ему боль и радость, тем, что может его ранить и излечить от раны.

К фигурам животных из эпохи Мадлен подходит понятие «следа», придуманного Деррида. Ведь след — это означаемое, которое является одновременно означающим. Любая фигура палеолитического искусства является совпадением означающего и означаемого, и в этом смысле живопись первобытных художников лежит вне игры означающего и означаемого, за пределами понятия знака. Классическим следом палеолитического искусства является изображение руки. Это изображение является символом, тождественным символизируемому. В пещере Гаргас найдено множество отпечатков человеческих рук, большей частью левой

руки, приложенной ладонью к стене, но фаланги пальцев руки отсутствуют. Леруа-Гуран считал, что пальцы загибались. Поршневу считает, что их ампутировали в сакральных целях. В том числе и для того, чтобы поддержать режим депривации, неприкосновения к вещам. Первобытный художник, как отец Сергей, болью возвращал себя к себе, подчиняя себя не сигналу среды, а нечленораздельному зову иного бытия.

Леруа-Гуран выделил в живописи палеолита повторяющуюся структуру, а именно: лошадь-бык-козел. Поскольку первобытные художники 20 тысяч лет изображали этих животных в первую очередь, постольку Леруа-Гуран сделал вывод о существовании мифологии в эпоху Ориньяка и Мадлена. В связи с тем, что одна из женщин была изображена с рогом бизона, Леруа-Гуран посчитал, что бизон — это символ женщины, а лошадь и козел объявлены были знаком мужчины. В свою очередь, в Хакасии была найдена скульптурка, изображающая мамонта, стоящего на черепахе. На этом основании некоторые ученые сделали вывод о том, что мамонт — это небосвод, а черепаха — это земля (В. Е. Ларичев).

## Резюме

На мой взгляд, все эти обобщения являются, в свою очередь, стереотипными галлюцинациями исследователей, ибо есть вещи, о которых нельзя знать со стороны, и, прежде всего, нельзя знать внутреннюю сторону действия, обращенную только к тому, кто действует.

## 12. «Алфавит мира»

То, что древнейшее верхнепалеолитическое искусство ничего не изображало, принимается как аксиома почти всеми исследователями. Но вот ответ на вопрос: почему оно не изображало? — многие, в том числе Леруа-Гуран, оставили открытым. Откуда же берутся все эти прямые, зигзаги, меандры, круги, овалы и прочее? Проще всего, конечно, предположить, что в основе искусства, в том числе и палеолитического, лежит подражание реальному. Но проблема состоит в том, что в мире нет

прямых линий. В нем не существует круг, хотя существуют круглые деревья. Но тогда почему мы смотрим на дерево, а видим круг? Смотрим на кривую, а видим прямую? Отвечая на этот вопрос, П. Флоренский говорил о существовании первичных символов, алфавита мира. К этому алфавиту он относил точку, вертикаль, горизонталь, наклонную, треугольник, четырехугольник, крест, круг, сферу, яйцо, спираль. В любой своей точке мир, согласно Флоренскому, в той же мере реален, в какой и мним, то есть является продуктом воображения.

Двуединое строение мира не дано нам автоматически, оно требует объединения реального и мнимого. Их объединение воплощается в символе, который взывает к нашим усилиям по его пониманию<sup>80</sup>. При этом смысл изображается изначально не фонетически, а графически, то есть палеолитическое искусство — это фиксация смысла, в котором пластический язык доминировал над вербальным.

Учитывая все это, можно предположить, что палеолитическое искусство в своих древних памятниках говорит о себе как смысловом протописью при отсутствии речи. Так, на Мальтийской стоянке на Ангаре были обнаружены кости с изображением спирали, волны и параллелей. Различные зигзаги, а также мотивы лабиринта и змеи появились, как утверждает В. Кабо, еще в ашельскую эпоху 300 тысяч лет назад. Возможно, это еще одно свидетельство неудачной попытки природы освободить свои галлюцинации, которые несли в себе то, что Флоренский назвал «алфавитом мира».

«Максимум галлюцинаций, — по словам Поршнева, — приходится на время поздних палеоантропов — ранних неантропов. В это время начинаются попытки сбросить нервное бремя галлюцинаций. То есть это время зарождения образа»<sup>81</sup>. Зарождение образов связано не с речью, как думал сам Поршнев, а с объективацией галлюцинаций.

Галлюцинация предстает с физиологической точки зрения как

стереотипное движение глаза, чтобы увидеть, и стереотипные движения уха, чтобы услышать. Эти стереотипные движения возникают спонтанно без сенсорной стимуляции. Сопровождающие их галлюцинации либо объективируются, и тогда возникает искусство, либо актуализируются в поведении. И тогда возникает человеческое измерение поведения. Вместе с первыми образами появляются и навязчивые образы. Как правило, это геометрические образы прямой, спирали, зигзага, круга и т. д. Галлюцинации в жизни человека оказываются более актуальными, чем реальность. В них всматриваются, вслушиваются, к ним прикасаются. От них ждут исполнения невозможного.

Рисунки поздних палеоантропов указывают на существование миражного сознания, освобожденного от стереотипных действий палеоантропов, связанных с изготовлением бусин и орудий труда. Эти действия помогали автоматически изготавливать кремниевые пластины и украшения, но для этого им не требовалось сознания. Миражное сознание потребовалось для наскальной живописи.

Образ вещи — это не внешний образ вещи, не тот образ, который каким-то чудом отслоился от вещи и прилип к скале, это образ, заданный входением в глубины внутреннего мира, то, чем мы видим изнутри, что беспокоит и причиняет нам страдание. Образ вещи восходит к внутренней схеме нашего действия. Мы видим какую-то вещь не потому, что она есть, а потому, что в нас есть стереотипные движения. Поэтому прямая линия — это не вещь, которая существует вне нас, это наш орган, наш алфавит, с помощью которого реализуется наш взгляд тогда, когда для него нет сигналов извне. И в этом смысле палеолитическое искусство можно понимать как взгляд на мир, для которого нет причины в самом этом мире. В составе этого взгляда уже есть вертикаль и горизонталь, точка, прямая и круг. А это значит, что у нашего глаза уже есть стереотипные маршруты движения, которыми воспроизводится точка, прямая линия и т. д. Иногда мы смотрим в одну точку, но не потому, что есть эта точка, наоборот, точка существует, если мы смотрим в одну точку. Глаз может смотреть и без воздействия внешнего импульса на рецептор, если есть

внутренний стимул. Остается только понять, как художнику палеолита удалось выскочить из-под детерминации внешнего стимула.

### 13. Сознание шизофреника

Приведу лишь только одну цитату из «Медицинской психологии» Э. Кречмера, которая, правда, характеризует не художников палеолита, а художественные работы шизофреников: «Что в экспрессионистских художественных произведениях выдающуюся роль играют сгущения и символы, это известно каждому знатоку картин. Следует только обратить внимание на сильные тенденции к стилизации, которые здесь обозначаются как кубизм и в которых перед нами снова оживает как бы частица примитивного мира. Тенденция — очертания реальных предметов приближать к геометрическим фигурам, четырехугольникам, треугольникам, кругам или разбивать их на подобные формы или же выражать чувствования и идеи, отказываясь от реальных форм вообще, только в линиях, кривых и пятнах при помощи сильных цветных эффектов, — эта тенденция сильно распространена в экспрессионистском искусстве и в аналогичных работах шизофреников»<sup>82</sup>.

На мой взгляд, все сказанное Кречмером о работах шизофреников следует отнести и к первобытному художнику. Я хочу обратить внимание на мысль Кречмера о том, что реальные предметы приближаются к геометрическим формам. Но это значит, что взгляд смещается с реального предмета и смотрит на форму, которая существует внутри самого этого взгляда. Взгляд пытается посмотреть на самого себя. То есть художник пытается поймать то, чем смотрит. Здесь речь не идет о каких-то процедурах абстрагирования формы от предмета, Кречмер говорит о возможности выражать чувства и идеи, отказываясь от реальных форм вообще, прибегая к беспредметности. При этом остаются линии, кривые и цветовые пятна.

Ни о каких отражательных функциях не приходится говорить и в

случае двигательных стереотипий, таких как качание на стуле, барабанные движения, вербигеррация, однообразно повторяемые на клочке бумаге рисунки. Причем в этих рисунках «кроме примитивных оптических тенденций к стилизации обнаруживается тенденция к геометрическому, к симметрии и к повторению формы»<sup>83</sup>. Проявления стереотипии, ритмичности особенно хорошо видны в раннеориньякском рисунке, который уже сам по себе является свидетельством об освобождении художника от какого-то нервного бремени. Но даже шизофреническому сознанию художника ориньяка было ведомо четкое различие вертикали и горизонта, лежавшее в основе орнаментальных рисунков.

В сознании шизофреника деструкции подвергается, казалось бы, самое прочное, а именно: чуждость, предметность. На месте целого мы обнаруживаем хаос элементов. «Здесь, — как говорит Кречмер, — голова, там часть стола, там еще оконное стекло, все беспорядочно распределено в пространстве»<sup>84</sup>. Поэтому головы без туловища, встречающиеся в древнейшем палеолитическом искусстве, напоминают картину развертывания шизофренических симптомов, в которых нет ни логики, ни композиции, ни стиля. Слова Кречмера повторяют почти дословно определение Гегеля, известное как «человек — это ночь». По словам Кречмера, для внешнего наблюдателя в шизофренической живописи всегда остается нечто, чего он не может ни понять, ни постичь.

В палеолитическом искусстве мы тоже находим это нечто непонятное, непостижимое. Почему? Потому что оно не испытывает на себе упорядочивающего воздействия речи, линейности языка. Это искусство тех, кто находится в пространстве между воображением и языком. Эмоциональный интеллект первобытного художника предназначен не для познания предметов среды обитания, а для существования человеческой самости. В нем концентрируется первичный опыт воздействия на себя. Поэтому нарисованные животные являются образом, которым первобытное сознание воздействовало на себя, а наскальная живопись в целом может рассматриваться как первый видимый механизм запуска этого самовоздействия, в горизонте которого возникают и

дифференцируются все феномены так называемого второго рождения человека.

В палеолитическом искусстве впервые оформилось чувство, благодаря которому мы научились видеть то, чего нет, то есть мы научились воображать. Образ — это не вещь, как думает Пинкер. Это чувственно-сверхчувственная вещь, то, что невидимо простым глазом. Следовательно, художники палеолита изобрели глаза, которые смотрели на скалу, а видели на ней изображение зверя, и зверь этот ничем не отличался от настоящего. И всякий, кто мог видеть это изображение, приобретал себе новые глаза, которые позднее смогли увидеть прекрасное и безобразное.

Вполне возможно, что животные устраивают себе шалашики для увеселений и украшают их перьями, но для этого им не нужно иметь чувства вообще. Для этого у них должен быть разумно устроен половой подбор. Художники палеолита изобрели чувство вообще.

Палеолитическое искусство не обусловлено ни природой, ни социумом. Скорее всего, первобытные художники вообще не умели жить в обществе. Во всяком случае, нет ничего в палеолитическом искусстве, что бы указывало на присутствие социума. Художник — не охотник, он не имеет никакого отношения к формам хозяйствования поздних палеоантропов. Первобытный художник фиксирует мгновения своим впервые открытым чувством. Поэтому его лучше назвать первобытным экспрессионистом, чем охотником. Экспрессионизм, по словам Кречмера, является чисто шизофренической формой искусства<sup>85</sup>. Он открывает конфликт между вещью и пространством, не желая видеть вещи такими, какими они есть.

В наскальной живописи можно увидеть попытку художника освободиться от бремени мучающей его самости, от травмы, нанесенной разрывом с природой, а не маниакальную попытку овладеть зверем. Первобытный художник уходит в себя, он стремится избегнуть внешних раздражений, заглушить их. Он

нуждается в одиночестве, чтобы, как говорит Стринберг, закутаться в шелк собственной субъективности. На изображениях животного не видно желания художника заманить зверя, поймать его, убить и съесть. Тем более что эти изображения находятся в самых труднодоступных местах пещеры, где не то чтобы стоять, но и сидеть-то невозможно. С практической точки зрения, наскальная живопись лишена смысла, так же как лишено смысла первое слово ребенка. Но это бессмысленное движение только и могло родить смысл.

Но здесь перед нами возникает проблема, требующая обсуждения.

## 14. Кант и собака

Аутографическое исследование палеолитических рисунков дает редкую возможность для практического испытания кантовской теории воображения и трансцендентальной апперцепции.

В «Критике чистого разума» Кант пишет: «Понятие о собаке обозначает правило, согласно которому моя способность воображения может нарисовать форму четвероногого животного в общем виде, не будучи ограниченным каким-либо единичным частным обликом, данным мне в опыте...»<sup>86</sup>

Четвероногое животное «в общем виде» — это схематизм. Мы его можем нарисовать, не встретив собаки, а чувство, безотносительное к тому, соответствует ли оно ощущению внешнего чувства или рефлексии или определению воли, Кант называет чувством вообще, или трансцендентальной способностью. У трансцендентальной способности есть одна особенность: через свои представления быть причиной действительности объектов своих представлений.

Схемы фигур в пространстве есть продукт чистой способности воображения априори. Благодаря этим схемам возможны образы. Мы не можем мыслить линии, не проводя ее. А проводя ее, мы пробиваем слой грез, окружающих мысль, отделяем мысль от

эмоции. Описывая окружность, мы мыслим окружность, и эта мысль также выходит из-под контроля эмоции.

Что же происходило с художником позднего палеолита? Не напоминает ли он ребенка в утробе матери? Что мы знаем о формировании предметности архаического сознания? Согласно Канту, для того чтобы появился предмет, нужно, чтобы произошел синтез ощущений, то есть требуется воображение. Предмет — это та идеальность, которой первобытное сознание чувственно ощупывало мир. Но как схемы нашей души могли соответствовать живой собаке? Мы производим круг, но не производим собак, а это значит, что мы можем из конечного множества геометрических элементов получать неограниченное количество фигур в пространстве. В наскальной живописи иногда встречаются геометрические фигуры, которые искусствоведы не могут отождествить ни с одним конкретным животным. Вполне возможно, что это были зарисованные схематизмы первобытного сознания. И в этом смысле их можно уподобить фигуре четвероногого животного вообще, о котором говорит Кант.

## 15. Поршнева и Марр о палеолитическом искусстве

Приведу цитату: «Ориньякско-солютрейские насечки и полоски, графические и структурные изображения животных и людей — все это не имеет ни малейшего отношения к эстетике и отвечает столь ранним ступеням подготовки специфической человеческой психики, что эти явления должны быть поставлены в порядке эволюции и самих истоков человеческой речи»<sup>87</sup>.

В концепте Поршнева человек намертво связан с речью. Кто говорит, тот человек. Кто не говорит, тот обезьяна и должен быть поставлен в порядок эволюции. Поскольку художник палеолита не говорил, а рисовал, постольку его надо, по Поршневу, поставить в порядок эволюции. Но в порядок эволюции можно поставить аффект, но нельзя поставить человеческую эмоцию. В концепте Поршнева практически ничего не говорится об эмоциях, хотя они являются одним из ключевых признаков человека. Эмоции и речь,

конечно, пересекаются, но нужно признать, что эмоции являются для человека более фундаментальной характеристикой, нежели речь. Ведь речь — это, по сути, соединение галлюцинаций и языка. Следовательно, палеолитическое искусство должно рассматриваться не этологией и даже не искусствоведением, а антропологией. Ибо палеолитическое искусство возникает тогда, когда люди уже рисовали, но еще не говорили. Вот этот момент Поршневу как раз и не хочется замечать, а он приходится на поздний палеолит, то есть время дивергенции палеоантропов и неантропов. Поэтому Поршневу не догадывается, что речь убьет искусство палеолита и даст начало искусству неолита.

В другом месте Поршневу как будто согласится с тем, что изображение предшествует речи. Он пишет: «Само создание палеолитических изображений было троганьем образов, или образами, порожденными троганьем»<sup>88</sup>.

Но Поршневу здесь же вдруг поправляет себя, заявляя: «Невозможно доказать, что эти действия сопровождались какими-либо воображаемыми образами»<sup>89</sup>. Ведь если они сопровождаются образами, то тогда мы должны признать, что есть образы, выходящие за пределы речи. А это значит, что эмоции имеют такое же фундаментальное значение для человека, как и речь.

Художник палеолита не рисует, а ощупывает. То есть он видит руками, а глаз приспособливается к руке, соотносит себя с ней. Образ вообще возникает в момент встречи галлюцинации с предметом. Поэтому представление о том, что у человека есть образы и он их переносит на полотно, ошибочно. Возможно, первые образы появились у тех, кто с отрубленными фалангами пальцев преодолевал не запрет на прикосновение к вещам, а пытался подчинить свои грезы себе, создавая в себе свою волю. Никакое прикосновение к вещам невозможно без внутренней готовности к образам, без мерцающего сознания.

Итак, палеолитическое искусство основано не на знаке, как думал Поршневу, а на воображении. Поэтому Поршневу подозрительно

относился к идее о том, что письмо — это не восполнение речи, а то, что ей предпослано.

Н. Марр рассматривает палеолитическое искусство как зачаток письма, пиктографии. И в этом смысле он ручную речь полагал существующей прежде звуковой, то есть он полагал, что внутреннее удвоение предваряет внешнее удвоение мира. Проблема соотношения этих двух миров состоит в том, что образы могут остаться необъективированными, и нужно решить, существуют они или нет в таком качестве. На мой взгляд, нереализованный в действии образ существует и дает о себе знать, в том числе и в палеолитическом искусстве. Он не пережит и поэтому не подлежит забвению.

## 16. Религия

Был ли религиозен первобытный художник? Религия состоит в занятости чувств и мыслей абсолютным существом и в самозабвении своей особенности. В таких примерно словах объяснял Гегель гимназистам смысл слова «религия»<sup>90</sup>.

Никакой «занятости» чувств абсолютным существом в палеолитическом искусстве не видно. Хотя некоторые ученые полагают, что на рисунках палеолита изображены религиозные животные и что религия возникла около миллиона лет назад в ашельскую эпоху. Но поскольку критерием узнавания человека является наличие наскальных изображений, а не орудий труда, постольку сама постановка вопроса о существовании религии без человека не имеет смысла. В это время мысль еще не посетила землю, ибо мысль уже одним тем, что она есть, предполагает удвоение мира, в котором содержится и возможность кода религии.

Нередко в пещерах находят красящие вещества. Например, охра. Зачем она? Затем, чтобы, например, помечать свою территорию, как это делают животные. На некоторых стойбищах археологами найдены жезлы вождей, на которых находились выгравированные фигуры животных. Предполагается, что эти фигуры являются

обозначением племени, его самоназванием. Первые слова — это, конечно, слова самоназвания племен. Например, судя по изображению, одно племя называло себя племенем горного козла, а другое — горного барана.

Но попытки называния себя могут быть удачными и неудачными. Неудачными являются те, которые не могут удержать себя на линии непрерывного воспроизведения и поэтому пропадают в мраке каменных веков.

Согласно Канту, мы представляем себя наглядно лишь постольку, поскольку внутренне подвергаемся воздействию. Возникает вопрос, какому воздействию изнутри подвергало себя то племя, которое изобразило себя горным козлом? Видимо, речь идет о восприятии тотема той доиндивидуализированной субъективностью, точка собирания которой наглядно представлялась горным козлом. То есть смысл имени имел наглядное значение, на которое можно было указать пальцем. Это был смысл, упакованный не в слово, а в материю горного козла. Следовательно, наскальную живопись можно представить как изображение смысла, как разрядку нервного смыслового возбуждения, как сброс галлюцинаторного напряжения.

Немногочисленная группа других ученых полагает, что у первобытных людей было свободное время и они от нечего делать стали рисовать, связывая свободное время в некую социальную материю. Но А. Брейль так не думал.

## 17. Брейль

Анри Брейль — авторитет в понимании палеолитического искусства. На мой взгляд, его ошибка состоит в том, что он судит о первобытном художнике по современной жизни эскимосов, по этнографии. Проблема состоит в том, что у эскимосов, как и у любого из нас, за спиной 400 поколений. То есть у них, по словам Поршнева, такая же история, как и у нас. У них цивилизация другая. Поэтому нельзя по этому народу судить о верхнем палеолите.

Согласно Брейлю, среди первобытных охотников были люди

особого рода. Эти люди хранили смыслы, оберегали сокровенное. Опровергнуть этот тезис Брейля очень трудно. Что же мы видим сегодня на месте вчерашнего сокровенного? Мы видим, например, черепа медведей, собранные и хранимые в потайных местах пещеры. Конечно, сокровенные смыслы — это не черепа сами по себе. Но если этими черепами извлекался опыт, если ими изобреталось самоназвание племени, то тогда они становились смыслом и длились вместе с опытом.

В XIX веке в Сибири у охотников тоже зафиксирован обычай у убитого ими медведя отрезать голову и лапы и прятать их в укромные медвежьи амбары<sup>91</sup>. То есть делать то, что делали уже неандертальцы, которые в специальных каменных сейфах хранили как зеницу ока головы и лапы медведей. И в этом обряде рождались смыслы. Сокровенные смыслы актуализировались в танцах и пении, и племя знало, что они люди и у них есть тайное имя. Их тотем — медведь. И что-то нельзя, что-то они делают вопреки природе. Человек смотрел на животное, а видел в нем своего предка. Сам по себе этот взгляд уже является умозрением в красках.

В пещерах, как полагал Брейль, совершались магические действия, скрытые от непосвященных. В них совершались церемонии, призванные обеспечить удачу в охоте, а также обряды инициации.

## 18. Куценков

Взгляды П. Куценкова на палеолитическое искусство выражаются просто: это искусство — не искусство, его нельзя описать в культурологических терминах<sup>92</sup>. Куценков разделяет идеи Поршнева и исходит из того, что история человека началась 12 тысяч лет назад. Следовательно, искусство палеолита принадлежит, по его мнению, не людям, а неандертальцам. Неандертальцы — это обезьяны, а кроманьонцы — ближе к обезьянам, чем к людям, хотя они уже пользуются огнем, прикрывают себя шкурами, делают украшения и орудия.

Аргументы Куценкова таковы. 1. В палеолитическом искусстве нет формы, стиля, ибо стиль — это то, что отсылает изображения не к предмету, а к ранее известным образцам. Первобытный художник не знает паспорту, рамок. Он не соблюдает единство пространства, времени и действия. 2. В этом искусстве нет системы, смысла, оно бессмысленно. 3. Если в нем и есть смысл, то он заключается в метке территории, ориентированной на зрение, а не на обоняние.

Контраргументы. 1. Всякий смысл предварен бессмысленным действием. Ненормальное — родина нормы. 2. Изображение предшествует слову, или, как говорит Деррида, письмо предшествует речи. Поэтому 15 тысяч лет назад началась цивилизованная (языковая) история человека, а 40 тысяч лет назад началась история психопата и аутиста.

В палеолитическом искусстве нет композиции и нет сюжета. Но это не значит, что в нем нет смысла. Ведь смысл может быть упакован в любую материю, а не только в материю слова. В нем нет того, что называют пространством. Отдельные фигуры наезжают друг на друга, наслаиваются так, как если бы кто-то пытался писать по написанному за неимением чистых листов бумаги. Но дело в том, что в палеолитическом искусстве нет следов влияния языка, нет линейности. Это не концептуальная живопись. Изображения палеолита размещены где угодно в зависимости от качества скалы, в материю которой проецировались первобытные смыслы. Конечно, искусство палеолита — это не искусство, не то, что связано с искусственным. Это след сознания, оставленный человеком, раскаленным добела своими самоограничениями. Первобытная живопись является тем художественным жестом, в котором человек показал себя миру. Объективированные видения шизофреников палеолита доступны для нас и сегодня.

## **19. Сексуальные маньяки**

Иногда создатели наскальных рисунков каменного века рассматриваются как сексуально озабоченные подростки. В пещере Ласко во Франции есть изображения животных, но большая часть

изображений — это грубо нацарапанные на камне человеческие гениталии. Об этом пишет Дейн Гафри в «Природе палеолитического искусства».

Среди рисунков встречаются и такие, на которых изображена самка бизона с открытой вульвой и самец с эректированным пенисом. Известны и стилизованные изображения полового акта у человека. Возможно, что эти рисунки указывают на важность проблемы половой идентификации как стереотипного выхода из галлюцинаторного хаоса.

## 20. Изображения человека

Наряду с животными известны изображения человека. Сначала трудно было распознать пол на этих схематичных изображениях. В гроте Мадлен изображена женщина, полностью закрытая одеждой. Видно только, что она курноса. В Фогельхерде найдена первая фигурка человека. Возможно, женская. На ней сделаны насечки. В книге А. Столяра «Происхождение древнего искусства» сделано предположение, что пещерный медведь процарапал когтями волнистые линии на камнях пещеры, а люди стали подражать им. Миметические механизмы характерны для животных. Но их подражательные действия не соотнесены с сознательным выбором. Общество — это не подражание, как думал Тард. Общество — это язык, ибо язык — это один из способов склеивания галлюцинирующих существ.

К первым изображениям человека относятся «Венеры палеолита». В нижней части живота видна поперечная полоса — знак женщины. Иногда этот знак изображался отдельно, сам по себе. Аббат Брейль нашел в пещере Комбарель изображение полового акта.

З. А. Абрамова считает, что женский образ связан с идеей плодородия, что он каким-то образом влияет на женскую плодovitость. Некоторые исследователи допускают мысль о том, что первые люди верили в сексуальную связь человека и животных. И фигурка женщины появилась для сексуального привлечения зверей, как, впрочем, и отдельные изображения вагины. Женщина

привлекала, мужчины охотились. Во время охоты мужчина иногда изображается с эректированным органом. В этой связи я напомним о том, что некоторые обезьяны посылают на охрану своей территории самцов, которые выставляют полуэректированные половые органы в сторону неприятеля. По мере приближения последнего у них усиливается эрекция.

Художники палеолита лицо практически не изображали. Есть находки в Гримальди и Дольни-Вестонице. При этом изображение Великой матери из Дольни-Вестонице (27 тыс. лет) схематично. На ее лице нет рта. В то же время во многом числе изображаются женские торсы. Иногда они в состоянии беременности. Встречаются изображения только женских грудей или только женских половых органов. Как отмечает В. Кабо, женщина почти всегда статична. Она не ищет, а содержит в себе то, что может быть найдено. Фигура мужчины, напротив, динамична.

Среди рисунков палеолита, например в Мезине, встречаются двуполые существа, андрогины. У них тело женщины и половые органы мужчины. Ученые так и не решили: является ли это свидетельством магии плодородия или синкретизмом сознания. На мой взгляд, это свидетельство активных синтезов первобытного художника, сознающего различные типы превращений. Известны также изображения людей со звериными головами (обезьян, волков, бизонов, птиц). В этих изображениях человек как бы осваивает возможности своей новой телесности.

В пространстве удвоения, открытого художниками палеолита, стала возможна игра как перевоплощение. В этом своем качестве она неизвестна природе и является изобретением человека. Ближайшей причиной игры являются эмоции, которые устроены амбивалентно, то есть так, что они однородно и непрерывно соединяют два исключаящих друг друга полюса. Поэтому голова льва имеет продолжение в теле человека, а у тела женщины появляются органы мужчины. Так же как чувство любви современного человека может перейти в чувство ненависти.

Если я смотрю на выступ скалы и вижу в нем голову бизона, то

возникает вопрос: в каком свете я ее вижу? Самый легкий ответ: в свете слова. Если я говорю, что это не выступ скалы, а голова бизона, то я буду видеть бизона. И буду верить не глазам, а слову. Но как мог видеть художник палеолита голову бизона, если у него не было света слова? А были галлюцинации, иллюзии, эмоциональные пятна и материя ощущений. «Извилистой линией» Леруа-Гурана первобытный охотник ловил зыбь своих образов, которые больше были похожи на схемы образов, чем на сами образы. Флоренский называл эти схемы азбукой мира. Наивность первобытного сознания и спонтанность его воображения слиты. Это сознание имеет дело с образами, которые передать словом невозможно. Психика человека, живущего фактически в уединении, а мистериально в потоке дословных смыслов, не похожа на психику человека, живущего в социуме, который напряжение мысли готов заменить устоявшимися значениями языка. Художник палеолита хорошо знает уединение пещеры и ничего не знает о социуме.

В верхнем палеолите встречаются, как я уже говорил, изображения человека без головы. Почему? Потому что голова, видимо, считалась чем-то второстепенным. Ее место занимала рука, изображение которой относится к одним из самых древних рисунков. Почему же художник верхнего палеолита уделял мало внимания голове человека и много внимания уделял руке? Скорее всего, потому, что рот человека еще был связан с гебефреническим смехом и не был связан с речью. А лицо само по себе было не очень интересно по сравнению с животом. Не рот, а женские половые органы были для первого человека тем плодотворным хаосом, тем входом в ничто, который он заметил.

Человек изображал самого себя крайне схематично, а животных — индивидуально. Хотя в Дольни-Вестонице и найдена скульптура с выразительно моделированным лицом мужчины. Она, как и наскальная живопись, обязана своим существованием миражному сознанию.

## **21. Миражное сознание**

Миражное сознание — это эмоциональное сознание. Как его понимать? Попробуем взять кантовское различие образа и схемы. Приведу цитату из «Критики чистого разума»: «Мы не можем мыслить линии, не проводя ее мысленно, не можем мыслить окружности, не описывая ее, не можем представить трех измерений пространства, не восстанавливая из одной точки трех перпендикуляров друг к другу, и даже время мы можем представить не иначе, как обращая внимание при проведении прямой линии (которая должна быть внешне фигурным представлением времени) исключительно на акт синтеза многообразия, посредством которого мы последовательно определяем внутреннее чувство, и таким образом, имея в виду последовательность этого определения»<sup>93</sup>.

Следуя за Кантом, нам нужно признать, что прямых линий нет. А что же есть? Есть движения глаза, которое запускается средой. Запрет на сигналы среды открывает самопроизвольные движения глаза. Мы видим галлюцинацию прямой линии, которую, на мой взгляд, могут видеть и зрячий, и слепой, и ребенок в утробе.

Есть наше внутреннее действие, которое лежит в основе всякой предметности. Ручка — чтобы писать. Преподаватель — чтобы преподавать. Яма — чтобы копать. Что значит копать? Копать — это схема ямы. Это не образ ямы. «Схема сама по себе есть всегда лишь продукт способности воображения, но так как этот синтез воображения имеет в виду не единичное наглядное представление, а только единство в определении чувственности, то схему следует отличать от образа»<sup>94</sup>. Пять последовательных точек — это образ числа «5». А число? Это схема. Это способность считать. Пять груш — это образ. «5» — это схема счета. Круглое дерево — это образ. Круг — это схема, которую нужно сделать, получить: одну точку линии закрепить, а другую свободно вращать вокруг закрепленной точки. В результате получается круг. Прежде, чем что-то появится, возникает схема производства этого что.

Теперь, различив образ и схему, я вернусь к художникам палеолита, которые живут среди эмоциональных пятен, которым они приводят в соответствие цветные пятна и геометрические фигуры

по правилам синестезии. Кант ничего не говорит об эмоциональных пятнах. Он говорит о чувственности. Но тогда мы получаем следующую формулу: если схема вещи — это действие с вещью, а образ — это восприятие схемой единичной вещи, то мысль — это приравнивание предмета к действию. Само это действие не переходит в реальное действие с внешним предметом.

Но галлюцинации миражного сознания — это не замороженные действия с предметом. Например, вот соль. Если я ее буду лизать, то почувствую что-то соленое. Но если я почувствую что-то соленое в отсутствие соли, то я буду иметь дело не с мыслью, а с галлюцинацией соли.

Так вот миражное сознание первобытного художника состоит из таких галлюцинаций, которые можно назвать симулякрами, тем, что не является образом предмета, равно как не является ни его копией, ни его подобием. Симулякры позволяют осуществиться коммуникации внутри миражного сознания. Специфика этой коммуникации состоит в том, что в ней общение происходит без сообщения.

Перед миражным сознанием есть две опасности. Во-первых, оно может застрять в эмоциональном пятне, не доводя его до предметности. Во-вторых, оно может разрушить коммуникативные симулякры, превратив их в навязчивые идеи. Это сознание с эволюционной точки зрения бесполезно и вредно, ибо оно аутистично.

## 22. Аутисты палеолита

Приведу цитату из Блейлера: «Если художники палеолитической пещерной охоты... вызвали своими изображениями сцен охоты напряжение энергии, то уже в прежние времена, как и сейчас, могли сосуществовать натуры, которые удовлетворялись аутистической охотой или войной, потому ли, что они сами были художниками, или же потому, что они воспринимали художественное творчество других людей»<sup>95</sup>.

Из этой цитаты я могу умозаключить, что художники палеолита — это психически больные люди. Это невротики. Они подчиняли свое поведение воображаемому. В них внутренний мир доминировал над внешним миром, не испытав еще воздействия языка, другого. А поскольку психически больные люди воспроизводятся в определенном проценте непрерывно до сих пор, постольку они в какой-то мере могут рассматриваться как воспроизведение некоторых черт тех людей, что жили в эпоху позднего палеолита. Неврозы можно и сегодня понимать как бунт самости против социума, против того, чтобы воображаемое подчинялось законам, чтобы художником управлял кто-то еще, кроме него самого. Творческие люди, так же как и больные маниакально-депрессивным психозом, сохранили способность слушать немую речь уже-сознания, а не язык другого.

Блейлер называет их аутистами. Что из этого следует? Во-первых, не только отсутствие стремления к обобщению, к символизации, ибо обобщения и симулякры миражного сознания несовместимы. Но и, во-вторых, следует указать на их асоциальность, на тягу к одиночеству и их языковую некомпетентность.

Асоциальность и языковая некомпетентность развили в художнике палеолита миражное сознание или эмоциональное сознание, которое легко переходило в видения своих галлюцинаций и образов.

Эти видения обеспечиваются, с одной стороны, абсурдом, который отгораживает художника от детерминации сигналами среды, заставляя его не обращать на них внимания. А с другой стороны, хаосом, который спасает его от возможного социума.

Художник концентрирует внимание на своих грезах, на том, чего нет в наличности, но что тем не менее существует не как мнимость, а как актуальность.

Никакой проблемы для художника не существовало бы в том случае, если бы он мог легко по своей воле распорядиться этими грезами, мог отставить их в сторону. Но, кроме создания рисунка, у

него не было никаких иных средств, чтобы справиться с собой. Сам художник представлял для себя угрозу.

Почему? Потому что грезы, которые были не во власти художника палеолита, называются сегодня навязчивыми представлениями. Не природа и не социум, а именно эти представления определяли действия художника палеолита.

Каждый из нас и сегодня может заработать целевой невроз, если будет, выходя из реальной ситуации, устраивать псевдоистеричку. Вот этот выход из себя понарошку может стать привычкой. То, что было притворством, станет навязчивым желанием, то есть рефлексом, от которого мы не сможем избавиться собственными усилиями.

Во время рефлекторной истерии мы можем нанести ущерб как себе, так и другим. Но нас не посадят в тюрьму, потому что мы вышли из себя и не смогли вернуться к себе, не смогли обрести над собой волю. Поэтому нас отправят в психическую больницу.

Но не врач освобождает волю первобытного художника, первобытных невротиков. Эту волю они еще должны были выработать сами на пути самоограничения.

В момент палеолитического галлюцинаторного взрыва были рождены такие феномены, как сознание, стыд, совесть, вина и другие формы самовоздействия человека. Бессознательным автоматизмом сумасшествия нужно было заплатить за эти феномены творцам живописи верхнего палеолита.

Первобытный художник — это человек ненормальный, если под нормальными понимать тех, кто грезит только по ночам в своих сновидениях. Мы нормальны потому, что нас не раздрают видения, грезы, идеи. Мы существуем по тем правилам, которые установил социум. Мы слушаем, что нам говорят. Мы послушны.

Художники верхнего палеолита неконтактны, это невнушаемые люди, потому что они еще принадлежат не языку, а образу. Это те,

кто еще не познал в полной мере силу слова. Сегодня силу слова демонстрируют психологи. Когда Жане взял 10 бумажек и на 6 из них написал «не видно», потом попросил сосчитать их человека, которому он во время гипноза внушил, что нельзя видеть то, что «не видно», тот их насчитал всего 4. Увидел, что написано «не видно», и поэтому их не увидел. Когда ко мне прикладывают горячее тело и говорят мне, что это холодное тело, то я слушаю, что мне сказано словом. Я подчинюсь языку. Я ощущаю холодное тело. По словам Кречмера, ключ к шизофренической внутренней жизни — это одновременно единственный ключ к нормальным человеческим чувствам и поступкам. Исходя из этой идеи, следует рассмотреть вопрос о двух антропологических зазорах.

### **23. «Два антропологических зазора»**

Первобытные аутисты любили забираться в темноту пещеры, в которую трудно попасть обычным способом, в нее нельзя войти, в нее, как в щель, нужно было проникать. Так вот первая символическая щель, в которую нужно было пролезть первобытному аутисту, состояла в разрыве между не внушаемым извне человеком и внушаемым.

Вторая щель состояла в разрыве между внутренним самовнушением и внушением внешним, то есть этот разрыв происходил между случайной манией и групповой. Чтобы проникнуть через этот разрыв, первобытному аутисту нужно было научиться нуминозному, как говорит Юнг, переживанию.

Нуминозное воздействие — это воздействие на тебя не социума и не природы. Это воздействие на тебя твоей мании, твоего навязчивого представления, того, причиной чего ты сам не являешься. Чем ты не можешь распоряжаться. И одновременно того, что является манией многих.

В нуминозном переживании ты совпадаешь со многими. Вернее, только нуминозное переживание позволяет быть некоему деперсонализированному множеству, которое изобретает одну манию на всех. Через непосредственное переживание нуминозного

характера первобытный аутист двигается сначала в сторону усвоения символов того, что не имеет никаких репрезентаций, никаких референтов по ту сторону переживания. Затем это движение устремляется к усвоению языка, знаков и, как следствие, к формированию сознательности.

Итак, первая антропологическая щель, в которую должны были проползти ненормальные, чтобы стать нормальными, — это разрыв между невменяемыми и вмняемыми извне. Вторая щель — нуминозная. В ней то, причиной чего ты не являешься, выступает как самовнушение деперсонализированного множества, в результате которого образуется новая, неорганизованная телесность.

Результатом нуминозного переживания является его объективация в тотеме, в имени племени, в том, что существует лишь постольку, поскольку к нему относятся как к чему-то действительно существующему. Но в тотеме есть запрет, табу. И вот аутист, который никому и ничему не подчиняется, принимает этот запрет как некое самоограничение, диктуемое нуминозным переживанием. Например, любовь. Ее переживают все, но случается она с каждым отдельно, как нуминозное переживание. Нуминозный характер носит не только любовь, но и то, что переживается также в хоре, в танце, в образе, в ритуале.

Итак, с одной стороны, мы имеем невнушаемого, неконтактного человека, того, кто самовоздействием распаляет себя до состояния, в котором он слышит голос самого себя.

Наши предки миллионы лет назад уже использовали охру, наносили цветные пятна на окружающие их предметы. Но они, к сожалению, не слышали себя, свой голос, поэтому у них не было сознания и они не были художниками, а были обезьянами.

А с другой стороны, существуют и исключения по отношению к невротикам. Это психически больные люди, которые чрезвычайно внушаемы, контактны. Речь идет об олигофренах, дебилах и микроцефалах. Они покорны слову и не усвоили механизм противопоставления слову слова. Мы их оставим в покое.

Среди невнушаемых существуют не только буйные невротики, чье поведение нельзя корректировать извне. Но есть еще и те, кто снижает свою активность, пребывая в депрессии. И буйство, и депрессия — две полярные формы, которые обеспечивают человеку защиту от любых воздействий извне и, следовательно, от искушения стать как автоматом природы, так и автоматом социума. Некоммуникабельность — это барьер, который сооружали вокруг себя художники палеолита, чтобы спасти себя и свое уже-сознание от воздействия извне, от других.

Мания, то есть самовнушение, закрывала их от других, выводила из-под воздействия ближайших причин и одновременно открывала опасность бессознательного автоматизма сумасшествия. По словам Кречмера, ферментные действия аутистических лозунгов сильнее реальности. Например, Робеспьер — ученик Руссо, сын нежнейшей матери — отрубал головы за нарушение категорического императива.

Художники палеолита отрубали себе фаланги пальцев, в том числе и для того, чтобы вернуть себе чувство реальности, чтобы выработать в себе волю и взять под свой контроль свои видения. Психотики непроницаемы для тех, кто пытается проникнуть к ним извне. Они проницаемы для проникновения к ним изнутри. Подобные проникновения связаны с тотемом, который оказывается одновременно и вовне, и внутри. Тотем — это не объект, относительно которого есть субъект. Тотем — это проникновение через непроницаемое. Это такая точка на ленте Мебиуса, в которой внешнее оказывается внутренним.

Первобытный художник стоял перед выбором: либо быть гипер-активным, либо впасть в дремоту и сонливость. И ни то ни другое не поддается регулированию. И то, и другое носит асоциальный характер творческого начала. «Это, — говорит Поршневу, — как бы щель в спектре не внушаемых состояний»<sup>96</sup>. В этой щели формируется норма, то есть поддающийся внушению, управляемый, способный жить в социуме человек.

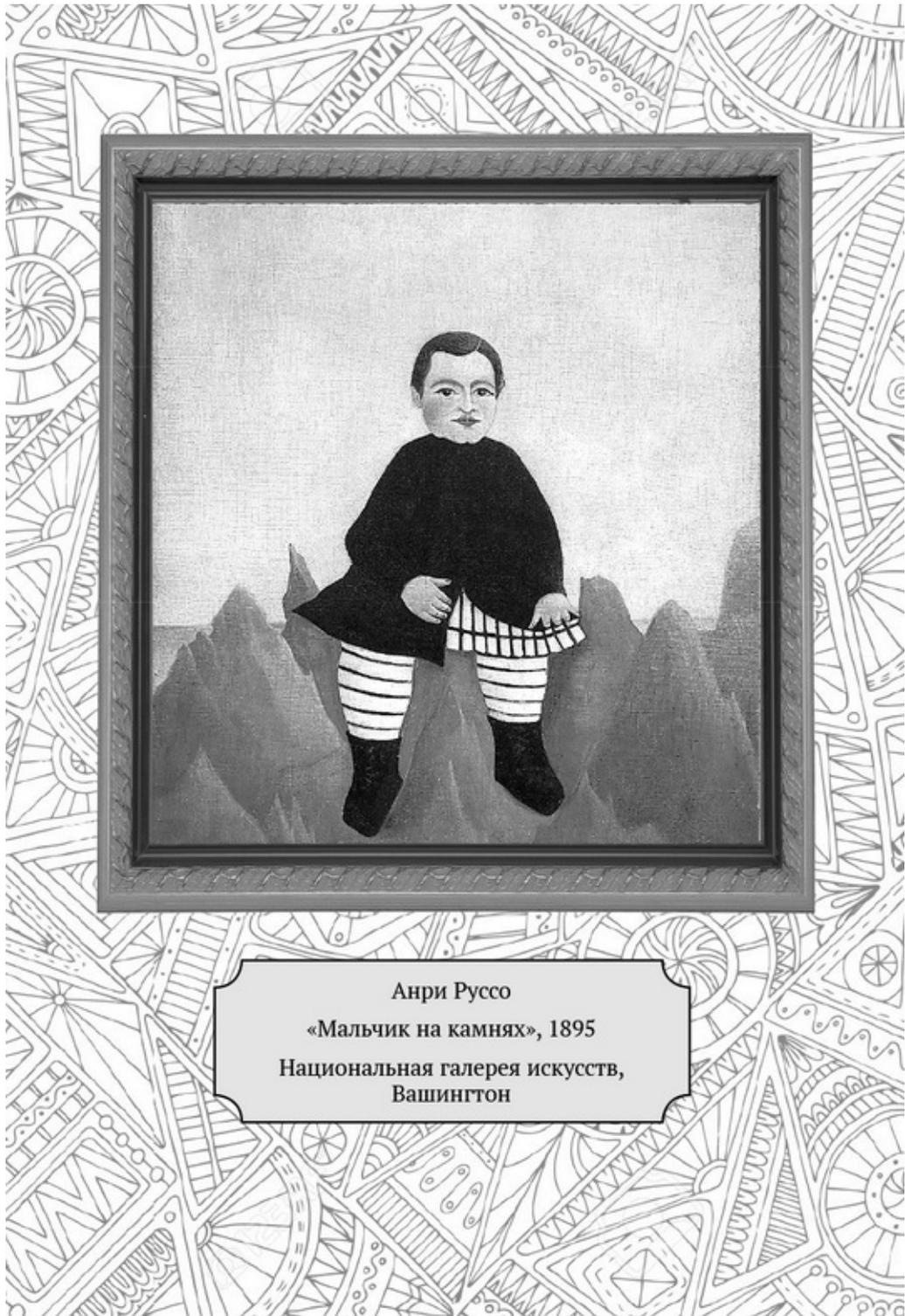
Итак, нужно отметить различные способы подчинения поведения человека: 1) зову вещей; 2) словам другого; 3) своим словам; 4) нуминозному воображению; 5) собственным галлюцинациям.

Первобытным художникам придется поместить себя в больницу под названием социум, который пропишет им лекарство под названием «язык». Непроницаемость барьера первобытного художника будет пробиваться словами, языком. Язык — это то, что приведет ненормального к норме и к постоянно возобновляемой попытке преодолеть эту норму.

### **Резюме**

Болезненная реакция на цвет и на форму первобытного художника заставляет нас предположить, что он был аутистом, тем, кто видел свою сущность не в языке, а в грезах и галлюцинациях, которые его одолевали. Искусство верхнего палеолита является самораскрывающейся сущностью человека.

Совмещая аутизм и палеолитическое искусство, мы создаем горизонт современной мысли о человеке. Для того чтобы что-то получить внутри этого горизонта, нужно отказаться от традиционных категорий истории философии, «чтобы сделать шаг вне философии»<sup>97</sup>.



Анри Руссо  
«Мальчик на камнях», 1895  
Национальная галерея искусств,  
Вашингтон

## Глава 5. Аутизм как модель понимания человека

Аутографическое исследование наскальной живописи позволяет заметить несколько вещей. Во-первых, мы видим обостренную реакцию первобытного человека на изображение. Первобытный человек — это человек воображающий. Нужно заметить, что среди современных психологов еще живы представления о том, что речь предшествует воображению. Например, Выготский полагал, что воображение начинает развиваться у детей с дошкольного возраста, с шести лет. Хотя Толстой считал, что он уже сформировался полностью к пяти годам, указывая на восприятия, которые не ждут, когда возникнет речь. Во-вторых, нельзя не заметить эмоциональную реакцию человека на изменение среды. В-третьих, обращает на себя внимание отсутствие темы коллективного действия, которое может трактоваться как асоциальность первобытного художника. В-четвертых, очевидно, что наскальную живопись нельзя истолковать как некое восполнение речи, потому что она не описательна, в ней нет сюжета и композиции. А это ставит под вопрос существование членораздельной речи, отодвигая ее возникновение во времена, более близкие к историческому человеку. И последнее: все те прямые линии, зигзаги, треугольники, встречаемые в наскальной живописи, относятся к тому, что Кант называл синтетическим априори, а Флоренский — азбукой мира.

Суммирование всех этих обстоятельств позволяет поставить в центр позднего палеолита фигуру аутиста, которая корреспондирует с фигурой шизофреника и ребенка и может, в свою очередь, рассматриваться в качестве фигуры человека вообще. Не я первый пришел к такому выводу.

## 1. Хамфри

Оказывается, был такой американский психолог, как Н. Хамфри, который говорил похожие вещи еще в 1998 году<sup>98</sup>.

Этот психолог работал с больной девочкой Надей, которая усвоила несколько слов, когда ей было уже 6 лет. Но до этого она много рисовала. Рассматривая ее рисунки, сделанные в возрасте от 3 до 6 лет, Хамфри пришел к выводу, что они напоминают рисунки

наскальной живописи из пещер Шове и Ласко во Франции. Девочку никто не учил рисовать, но ее рисунки были очень индивидуально-реалистичны. Хотя известно, что ни один ребенок дошкольного возраста никогда не рисует в натуралистической манере. Хамфри пришла в голову мысль сравнить ее рисунки с наскальной живописью позднего палеолита. Эти рисунки были похожи на наскальную живопись. И тогда Хамфри сделал вывод, что такие рисунки могли принадлежать тем, кто еще не владел языком, у кого не было абстрактных понятий, кто смотрел на животное и видел животное, а не сущность животного. Восприятие животных у первобытных художников не было опосредовано знаками и идеями, а это значит, что художники палеолита не владели речью, у них не было абстрактного мышления. Они были аутистами, которые не умеют скрывать своих чувств.

## **2. Почему язык скрывает чувства?**

Язык скрывает чувства потому, что чувства своей искренностью и непосредственностью мешают коммуникации людей. Социум нуждается не в искренности, а во лжи, являющейся условием общежития людей. Эмоции говорят правду. Они даны человеку прямо и непосредственно. Они не нуждаются в языке, который бы прояснял нам наши состояния. Если я разгневан, то меня трудно отделить от гнева. Мне не нужно обращаться к словарю, чтобы найти в нем смысл слова «гнев». Язык — это словарь, отделяющий меня от гнева. Особенность языка состоит в том, что он скрывает истину чувств и эмоций. Язык обкладывает эмоции кирпичами знаков, слов. Им в языке душно, и они задыхаются. Поэтому сегодня иногда нужно молчать, чтобы чувства не задохнулись, понимая под чувством обработанную знаками эмоцию. Ибо чувство — это есть не что иное, как социально приемлемое самовозбуждение.

## **3. Язык как проходной двор для ничто**

Язык никогда не говорит о том, что есть. О том, что есть, об истинном отношении к делу говорят жесты, интонации, мимика, позы. Для описания того, что есть, того, что происходит в

настоящий момент, язык не нужен. Для этого нужен стереотипный набор автоматизмов. Если бы человек знал только настоящее время, то тогда ему язык был бы не нужен. Язык всегда говорит о том, что было и что будет, но чего нет сейчас. Поскольку бытие — это то, что всегда есть, а язык говорит только о том, чего нет, постольку язык ничтожит бытие. Язык — это, конечно, не дом бытия, а проходной двор, прибежище для ничто.

#### 4. Превращение

Ничто оставляет человека без «что», без сущности. Человек, потеряв сущность, становится пластичным существом. Он может, как пластилин, принимать любые формы. Способность к превращениям не позволяет ему быть вещью среди других вещей. Благодаря человеку в порядке вещей образовалась брешь, изъян, недостача. Вещи призывают человека вернуться к порядку, стать в строй. Человек слышит зов вещей и боится его. Аутистический страх перед неконтролируемым прикосновением к вещам загоняет человека в пещеру, которая должна была спасти его от «руки с огромными когтями, неожиданно хватающей его среди ночи» (Канетти). Страх перед возможностью превращения человека в вещь, к которой прикасаются и которая сама ни к кому не прикасается, навсегда проник в человека, делая его аутистом. Страх быть пойманным вещью, страх потерять свободу до сих пор парализует сознание человека. Не боится прикасаться к вещам тот человек, который научился приписывать свои чувства и эмоции, свои страхи самому себе, своему «я». Но у того человека, который живет без «я», нет иного выхода, как приписать страхи и переживания вещам. Он эти вещи табуирует, ибо в них сидит страшная сила.

Изначальная неустойчивость, неадаптивная зыбкость человеческого существования нашла воплощение в готовности его тела реализовать грезы. Пластичность мимики человека раз и навсегда определила его готовность к превращениям, суть которых, конечно, состоит не в игре, а в перевоплощениях.

Игра — это лишь слабый отзвук возможных превращений человека. Человек — это не актер, как думал Кант, ибо актерство не выходит за пределы лицедейства и притворства. Человек, скорее, это многоликий Шива, тот, кто должен найти в себе силы, чтобы быть самим собой. А для этого нужно узнать среди множества лиц свое лицо. Невозможно быть тождественным себе в зыби существования, в игре перевоплощений.

Новая чувственность человека была обращена не к вещам, не к среде, а к самому себе, к самости. К тому, что еще не было приурочено к определенному дискретно выделенному телу. Границы зыбкой самости человека включали в себя тела не только людей, но и животных. Чувствовать себя в пределах этой самости, избирать превращение как способ существования в пределах своей имманенции — это не значит представлять себя в пространстве. Это значит чувствовать себя в теле другого, видеть себя в смене тел, обнаруживать в причастности к самому себе родство некоторого множества тел. Новая чувственность прекрасно описана Канетти в «Превращении», в котором бушмен порождает реальность из чувства реальности, из эмоционально сгустившегося пятна мира.

## 5. Бессмысленность

Человеку не предпосланы смыслы, на которые он мог бы опереться, которые пролили бы свет на мир. Глубинное одиночество и языковая некомпетентность провоцировали человека на бессмысленные действия, на действия без надежды на успех. Этими действиями он начинал новый ряд событий, которыми он отгораживался от спасительной полезности инстинкта и тем самым открывал для себя возможность существования смысла.

По большому счету, «социальность» — это то, что возникает как повторение бессмысленного, в результате которого появляются смыслы. Она приурочивает самость к дискретно выделенному телу, останавливая поток дословного в акте именованя. Человек времен позднего палеолита научился защищать себя от воздействия извне либо сверхактивностью, в основе которой лежала какая-нибудь

мания, либо дремой, отсутствием реакции на что бы то ни было. Но главная опасность исходила для человека от него самого, от его навязчивых неконтролируемых видений. Только совместно переживаемые иллюзии могли создать более или менее устойчивое сообщество грезящих шизофреников — аутистов.

## 6. Аутизм

Термин «аутизм» происходит от греческого слова *autos*, что означает «сам». Впервые он был использован швейцарским психиатром Эйгеном Блейлером в 1911 году. До этого Блейлер ввел в научный обиход термин «шизофрения». Описывая пациентов, страдающих шизофренией, он отметил у них состояние бегства от реальности и ухода в себя для того, чтобы в полумраке Я вести бездеятельную жизнь в грезах. Вот это состояние он зафиксировал в термине «аутизм». То, что Блейлер называл аутизмом, его друг Юнг назвал интроверсией. Хотя эти термины, конечно же, не совпадают.

Открытие феномена аутизма поставило вопрос о правомерности противопоставления чувственной ступени познания и рациональной. Оно сделало осмысленным введение в обиход таких понятий, как мыслящая эмоция и эмоциональное мышление. Аутистов характеризует конкретность, буквальность в восприятии мира. У них нет тенденции к общению и обобщению. Их может ранить прикосновение, запах, цвет, свет. Они фиксируют себя на неприятных впечатлениях.

Аутисты хотят жить в неизменных условиях, сохраняя стереотипы в контактах с миром. Человек невысказанного смысла — человек стереотипа, а не новизны. При этом он может быть одержим какой-либо идеей. Реализуя эту идею, он не заботится о самосохранении, демонстрируя полное пренебрежение к болевым симптомам и пищевым инстинктам. У аутистов отмечается пристрастие к музыке, к счету, к выделению цвета и форм, а также страсть к стереотипной игре словами и фразами. Они могут уходить почти в полную изоляцию благодаря пассивной бесчувственности.

## **7. Блейлер**

Аутизм рассматривался Блейлером как синдром шизофрении. Затем он заговорил о существовании аутистического мышления.

### **7.1 Аутистическое мышление**

Кто мыслит аутистически? Мальчик, который скачет на палке и воображает себя генералом. Девочка, играющая в куклы. Если из ее игры убрать аутизм, то от куклы останется кусок дерева. Аутистически мыслит артист, когда он выходит на сцену, чтобы сыграть роль Гамлета. Аутистически мыслит верующий, который идет в храм, а также художник, который ловит неуловимое на своем полотне. Аутистически мыслит любой человек, когда он решает уйти в себя из внешнего мира, а также когда он видит сны.

### **7.2 Шизофреник-реформатор**

Шизофреник-реформатор не пытается уйти из внешнего мира, чтобы спрятаться в своем внутреннем мире, но он тоже мыслит аутистически, пытаясь реальный мир привести в соответствие со своими грезами. Шизофреник-реформатор грезит наяву. Если же реформатор не грезит и не пытается изменить общество в соответствии со своими грезами, то он перестает быть реформатором и становится простым менеджером, посредственным политиком.

### **7.3 Мысль, которой правит эмоция**

Есть мысли, которыми правит логика, но за ними всегда скрываются мысли, которыми правит эмоция. У этих мыслей другая логика. В них реализуется логика синтеза, а не анализа.

Мысли зарождаются внутри эмоции, как черви в яблоке. Эмоции разлагаются, отодвигаются, и на их месте появляются контуры или схемы, как говорит Кант, какой-то предметности. А вместе с предметностью появляются и мысли о предметности. Пока нет предметности, не может быть и мысли, ибо ей нечего мыслить.

Поэтому первичной мыслью является эмоция, желание. Например, псевдология инженера, который изобретает философскую систему, основана на эмоции, на желании мыслить, но не на мысли. Тонко настроенная женщина, которая чувствует, что ее по ночам посещает жених и что этого жениха зовут Иисус Христос, — превращается в орган чувства, настроенный грезой.

Мысль, которой правит эмоция, тенденциозна. Но «между аутистическим и обычным мышлением не существует резкой границы...»<sup>99</sup>. А это значит, что нельзя зафиксировать момент, когда заканчивается обычное мышление и начинается аутистическое, и наоборот, ибо они имеют общее происхождение.

#### 7.4 Парадоксы аутизма

Аутистическое мышление любит противоречия. Оно ими питается, совмещая несовместимое. Эмоционально можно быть ребенком, беззаботно наслаждаясь жизнью, и одновременно можно быть взрослым, добиваясь карьерного роста. Можно быть милым человеком и желать скорейшей смерти тому, кто может освободить для нас должность. Аутистическое мышление вполне допускает, что один и тот же человек может быть и мужчиной и женщиной, и высоким и низким. Он может быть и сыном, и отцом, и мужем своей матери. Эмоция синтетична по своему существу. Нормальный человек испытывает угрызения совести за то, что он сделал. Аутистическое мышление бывает более жестким. Оно заставляет страдать человека от той несправедливости, которой он не сделал, но мог бы сделать. Ригоризм эмоциональной дипластии невыносим для человека. Для сурового воздействия на самого себя аутистическому мышлению нужны не действия, а только представления о действии. «И эти страдания, — как пишет Блейлер, — в которых человек уверил себя, часто являются тем более тяжелыми, что логика не может прийти им на помощь...»<sup>100</sup>

Грезы наяву делают человеческую жизнь прекраснее, но в то же время и опаснее.

## 7.5 Спор между Блейлером, Жане и Фрейдом

Как соотносятся аутистическое мышление и реальное? Жане полагает, что аутистическое мышление является более древним, а реалистическое мышление — это поздний плод человеческого развития. Почему? Аргументация Жане такова: при болезненных психических процессах прежде всего нарушается реалистическая функция мышления, а это значит, что она является наиболее сложным и недавним изобретением человека. А аутистическое мышление является более простой и более ранней функцией человека. Аутистическое мышление относится к нижним слоям мышления, а реалистическое — к верхним слоям. Первыми разрушаются верхние слои мышления, а не те, которые за ними лежат. Эта мысль Жане и не понравилась Блейлеру.

Равно как ему не понравилась мысль Фрейда о том, что принцип реальности появляется после принципа удовольствия. Аргументация Блейлера такова: у животных мы наблюдаем реальную функцию, и никакого аутистического мышления у них нет, а человек — это, в первую очередь, животное. Согласно Блейлеру, Фрейд ошибался, приписывая детям галлюцинаторное удовлетворение желаний. У детей, на его взгляд, нет никакого галлюцинаторного удовлетворения. Ребенок предпочитает действительное яблоко, а не воображаемое. Цыпленок в яйце — это не аутист, говорит Блейлер. И скорлупу он пробивает клювом, а не грезами. Вывод Блейлера звучит так: «Начиная с определенной ступени развития, к реалистической функции присоединяется аутистическая, и с этих пор развивается вместе с ней»<sup>101</sup>.

Но если цыпленок реалист, как же к нему может присоединиться аутистическая функция? Для этого нет никаких причин. Этому будет сопротивляться эволюционная целесообразность, и поэтому он никогда не станет аутистом. Естественный отбор это не позволит сделать. Если дети тоже реалисты, то с какой стати и в какой момент им становиться аутистами? Блейлер ничего не говорит о том, что в какой-то момент дети предпочитают воображаемое яблоко, а не действительное, предпочитают воображаемую лошадь,

а не действительную. Этот момент называется игрой.

Описание появления аутистической функции Блейлером мало убедительно, ибо оно не допускает прерыва непрерывности, разрыва в ходе эволюции. В чем запутался Блейлер? Если между животным и человеком нет принципиальной разницы и оба они реалисты, то объяснить аутистическую функцию в терминах эволюции невозможно. Откуда же взяться аутизму и психопатии, если их в самом начале нет? Поскольку у человека наблюдается аутистическое мышление, постольку он находится вне природы. Это значит, что у него в какой-то момент возникают проблемы с реалистической функцией, ибо человек основывает свое существование на воображении, а не на приспособлении к среде. Но тогда первичной функцией для него, его спецификатором будет не реалистическая функция мышления, а аутистическая. И, следовательно, потребность в галлюцинации становится для человека такой же естественной, как потребность обезьяны в бананах.

Объясняя появление аутистического мышления у человека, Блейлер говорит, что оно появилось постепенно, мало-помалу, путем создания понятий, все более не зависящих от внешних влияний. И вот когда уже совсем пропало стимулирующее влияние внешней среды, тогда, по мысли Блейлера, и появилось аутистическое мышление. А когда оно, это внешнее воздействие, пропало? И почему это оно вдруг пропало? И что из этого следует — об этом Блейлер ничего не говорит.

Иными словами, Блейлер сделал открытие и испугался его. И постарался замаскировать его в стереотипных эволюционистских воззрениях. Как ни странно, аргументы Блейлера повторил гений психологии Выготский в «Мышлении и речи».

## **8. Детский аутизм: отвращение от коммуникации**

Аутист — это, по выражению Выготского, несчастное существо, «которое как бы не поддается никакой дрессировке»<sup>102</sup>. В 1943 году

Каннер впервые дал описание детского аутизма. Основное нарушение у детей от двух до восьми лет состоит в неспособности установить коммуникацию с людьми, а также полное отсутствие энтузиазма в исследовании окружающей среды. Детский аутизм, поначалу считавшийся ранней формой шизофрении, был признан Каннером в качестве самостоятельного нарушения психики.

Что характерно для детского аутизма? Неудержимое стремление к себе самому. Но самость аутиста следует понимать не так, как мы понимаем свою самость. Для нас мы — это я, которое приурочено к определенному телу. У аутиста, и значит у человека вообще, самость приурочена к сбалансированной ситуации. Следовательно, его одиночество в глубочайшей своей основе исключает любое изменение ситуации, ибо это изменение воспринимается как разрушение самости. Поэтому одиночество исключает все, что приходит извне, любую перестановку предметов. Например, Кант — это не ребенок. Но он как ребенок восприимчив к тому, что его окружает. Он десятилетиями в одно и то же время подходил к окну, смотрел и видел один и тот же пейзаж. Но однажды он подошел к окну, посмотрел и не увидел знакомый ему пейзаж. За это время под окном выросло дерево. Ситуация изменилась, и Кант расстроился. И тогда соседи дерево срубили, чтобы Кант продолжал спокойно смотреть в окно и видеть знакомый ему пейзаж.

Ребенок использует особые приемы для того, чтобы убедиться в неизменности среды. Одним из этих приемов является автоматизм действия. Среда неизменна, если проходят стереотипные действия, движения, часто и ритмично повторяемые в течение дня. От реализованной стереотипии ребенок возбуждается, он хорошо себя чувствует. К стереотипии относятся: раскачивание тела, жесты похлопывания, движения пальцев перед глазами и т. п. У детей, которые владеют речью, возможна вербальная стереотипия.

Дети-аутисты иногда овладевают речью, но некоторые остаются мутичными. В речи аутисты не используют местоимение «я». Вместо него они говорят «ты» и «он». Они самих себя относят к тем, кого зовут «ты» и «он». Устранение из речи «я» радикально ее

меняет. Поскольку «я» — это пустое слово, постольку оно способствует движению, обмену мыслями в языке. А поскольку его нет, постольку нет и места для движения мысли. А это значит, что место мышления занимает созерцание. Всякое созерцание является аутистическим по своей природе. Кто мыслит, тот не созерцает, и, наоборот, созерцать — это не значит мыслить. Созерцание предпосылает себя мышлению.

Потеряв языковой костыль в виде «я», речь становится пассивной, страдательной. В ней больше нет центра, усматривающего суть вещей, а также располагающего эти вещи в последовательности.

Для аутистов характерны эхолалии, то есть повтор фразы или ее фрагментов. При этом ребенок, как Иванушка-дурачок, повторяет в одной ситуации то, что он слышал в другой ситуации. Аутист начинает говорить, как попугай, ибо из его повторов не образуются смыслы.

Иногда у детей-аутистов проявляется отличная вербальная память, они могут повторять длинные цепочки слов, списки предметов. Но речью в целях коммуникации они не могут пользоваться. Первые слова, которые произносит ребенок-аутист, выглядят довольно странными. Среди них могут быть такие выражения, как «бледно-золотистое небо» или «террористические атаки» и др. Речь у них носит автономный характер, она понятна только самому ребенку. При этом ребенок не осознает себя в качестве субъекта собственной речи, полагая, что через него говорит какое-то оно. Иногда его собственная речь предстает как элемент ситуации, с которой он стремится найти гармонию.

Один и тот же ребенок может быть и неуклюжим, и ловким. Он может, вращая тарелку пальцем, двигаться по комнате и не может зашнуровать ботинки. Он может накопить энциклопедические знания и показать полную неосведомленность в делах повседневной жизни.

## 9. Аспергер

В 1944 году австрийский психиатр Ганс Аспергер описал синдром «аутистическая психопатия». Это особая форма аутизма с высоким уровнем интеллекта. Синдром Аспергера встречается у одного на тысячу человек. У интеллектуалов речь, как правило, неловкая, с нарушениями. А также у них затруднен контакт с другими людьми. Обращают на себя внимание псевдологические рассуждения, мало понятные другим. Аутисты проявляют интерес к компьютерам, точным наукам. Аутист — это живое чудо ЭВМ. У них нет ни бреда, ни шизофренического синдрома.

Вспомним фильм Б. Левинсона «Человек дождя». Хоффман играет роль аутиста, который помнил все даты, запоминал порядок карт в перетасованной колоде. При этом не имел здравого смысла, то есть не мог самостоятельно перейти улицу и не знал, сколько стоит билет в автобусе. Аутисты все видят, все слышат, все понимают, очень переживают, но относятся к людям, как к вещам. Они игнорируют близких, никогда не смотрят в глаза. Они смотрят сквозь нас, ни с кем не испытывая потребности в общении. Они по жизни идут без нас.

## 10. Почему аутисты не такие, как все?

Они не такие, как все, потому что они не понимают, что такое правила и что значит правильно. Они не понимают, отчего так велика у нас роль другого, и почему нас так волнует наше место в символическом порядке языка. Для них кажется естественным акт созерцания и кажется неестественным акт мышления. У них нет пустого «я», и им не надо переносить значение. Поэтому они не понимают переносного смысла метафоры и воспринимают все буквально, нуждаясь в наглядном значении. Они плохо интерпретируют эмоциональные жесты, потому что их самость не центрирована. В ней центр нигде, а поверхность-покой везде. Эмоции служат тем, у кого нет покоя. Аутисты стремятся к визуализации абстрактных значений. Они теоретики, у них нет здравого смысла<sup>103</sup>.

На мой взгляд, в них сохранили себя важнейшие черты человека

верхнего палеолита — отсутствие языковой компетенции, асоциальность, отсутствие абстрактного мышления, приверженность к наглядности. Для того чтобы стать такими, как мы, аутистам нужно было испытать нуминозное переживание, то есть перейти из воображаемого порядка в символический. Но они не испытали нуминозного переживания, не растворили в нем свое одиночество. Они не прошли через все антропологические зазоры. Они не отдали свое бытие в распоряжение языковой компетенции и поэтому не приобрели опыта работы с символами. Поэтому бессмысленно пытаться подвергнуть их социализации и обучению языковой компетенции. Они должны следовать логике своего воображения, а не логике развития современного ребенка.

Первобытному художнику потребовалось 25 тысяч лет, чтобы протиснуться через антропологические щели нормы. А мы сегодня хотим, чтобы ребенок-аутист проделал все это развитие за несколько лет.

Их язык — это алфавит мира, его числовая субстанция. Они пифагорейцы, мы же их делаем дебилами, то есть автоматами, выполняющими нашу волю. В России с трудом признают наличие такой болезни, как аутизм, и в 12 лет ставят ребенку диагноз «шизофрения». И затем помещают в интернат для умственно отсталых детей, где лечат нейрорептиками. У нас нет взрослых аутистов, ибо они умирают в детстве. В России только Клара Лебидинская первой начала заниматься в 1977 году аутистами.

Легко быть такими, как все. Невыносимо быть не такими, как все. За нашу сегодняшнюю нормальность люди верхнего палеолита заплатили ненормальностью, и продолжают платить те, кого сегодня называют гениями.

## 11. Гении

Среди аутистов гениев в тысячу раз больше, чем среди нормальных людей. По подсчетам ученых, 20% аутистов являются крайне одаренными людьми. К ним относятся: Леонардо да Винчи, Агата Кристи, которая научилась писать только в 30 лет, Ван Гог,

умерший в доме для сумасшедших, Эйнштейн, который всегда держался в стороне от сверстников и до 7 лет повторял одни и те же предложения, он с трудом учился в школе и в Политехническом институте. Когда Эйнштейн читал лекции, то студенты ни слова не понимали. В зрелом возрасте он имел друзей и заводил многочисленные романы с женщинами. В конце концов, он заразился сифилисом, правда, его вылечили.

Ньютон, который с трудом говорил, обычно читал лекции перед пустым залом. Он был либо резок, либо равнодушен. В 50 лет перенес нервный срыв, который сопровождался депрессией и паранойей. Однажды Ньютон пошел в погреб за вином, но вина он не принес, потому что, увлекшись вычислениями, забыл, зачем пошел.

Архимед бегал голым по улице. В момент убийства он защищал не себя, а свои чертежи. Витгенштейну поставили диагноз «синдром Аспергера». Он испытывал качественные затруднения в социальных взаимодействиях. У него было низкое желание общаться на равных и слабая оценка социальных норм. К своим одноклассникам он обращался на «вы». Обычно он был поглощен своими мыслями и не любил, когда его прерывали. Однажды в споре с Поппером он схватил кочергу и хотел его ударить, но его остановил его учитель Рассел. Тогда Витгенштейн вышел вон, хлопнув дверью. Витгенштейн сам о себе говорил так: мне никто не нужен, я сам произвожу свой кислород. До 9 лет он находился под давлением гнетущего одиночества и постоянно думал о суициде. Л. Витгенштейн, работая учителем, был безжалостен к своим ученикам.

Среди высокофункциональных аутистов мы видим Дарвина, Планка, Шредингера, Менделеева и других. Аутисты воспринимают мир не в общепринятых понятиях, а в фантазиях, грезах, мечтах.

В «Генетике гениальности»<sup>104</sup> Эфроимсон пришел к выводу, что гений — это чудовищная работоспособность. Направленность к цели. Что получают гении не так, как думал Ломброзо. Вне связи с

объемом черепа [105](#).

Вообще-то гении воспроизводятся двояким образом. В одном случае нужно, чтобы встретились 90-летний старец и 20-летняя девушка. Встретились и родили ребенка. И он будет гением, как Н. Марр. В другом случае нужно, чтобы ребенка родили 90-летняя старушка и молодой человек. И этот ребенок будет мудр, как Лао-цзы.

Слово «гений» не применимо к животному. Не может быть гениальной скаковой лошади. Тип жизни лошади предопределен. Это слово применимо только к людям. У каждого человека свой гений. Своя душа. И одно, общее на всех сознание. У обычных людей душа окружена знаками. Она в них, как в котле. У обычных людей неозначенное не может пробить кору означенного. Гении — это знаковая дыра, в которую устремляется неозначенное души. Поэтому все гении вне контроля со стороны «я». Они всегда по ту сторону своего «я». «Я» и гений не совместимы.

В эпоху Возрождения гениями стали называть людей, которые делают то, что кроме них никто сделать не может. Гении создают. Производят. Означивают неозначенное. Все остальные потребляют. Среди потребителей могут быть люди со вкусом, а могут быть и без вкуса. Без вкуса — обыватели. Со вкусом — эстеты. Гении по одну сторону. Эстеты — по другую сторону. Гении делают. Эстеты оценивают.

Тезис Эфроимсона таков: гениями рождаются, а обывателями становятся. Чтобы появился один гений, нужно 10 миллионов человек принести в жертву социальному знаку. То есть нужно сделать их обывателями.

У Марка Твена есть рассказ о человеке, который попал в загробный мир. И все ему здесь было интересно. Ведь только здесь он мог увидеть и Сократа, и Конфуция. Но этому человеку хотелось посмотреть не на философа, а на самого великого полководца. Ведь неясно, кто гениальнее — Александр Македонский, Тамерлан,

Суворов или Наполеон. И вот ангелы ему показали самого гениального полководца. А он смотрел и не верил, ибо ему показали недавно умершего сапожника с соседней улицы. Оказывается, этот сапожник и был самым гениальным полководцем. Правда, он сам об этом не знал. Об этом знали боги.

Эфроимсону нравился этот рассказ писателя, ибо он передавал суть его концепции. А именно: гениев нам поставляет природа, а социум, раздавая социальные роли, превращает их в обывателей. Вполне возможно, что все люди гении. Но пробить слой социальности могут единицы. За всю историю человечества это сделали около 500 человек. Социум не любит гениев, воображаемое, то есть неозначенное. Он их истребляет. Чем больше в человеке означенного, тем он бездарнее. Состоявшийся гений — это ошибка социума. Но это ошибка плодотворная. Ее нельзя превратить в социальный механизм производства гениев. Означенное не может детерминировать появление неозначенного.

Социум создает личности, которые всегда одинаковы. Природа создает гениев. Все гении различны. Эти процессы не связаны друг с другом. В одном случае важна рекомбинация генов при образовании гамет, наделяющая оплодотворенное яйцо благоприятной комбинацией наследственных задатков. В другом случае — человек делает себя из пустоты. Из ничего. Получается личность, которой ничто содержательное не предшествует. Социум воздействует на человека, на его душу разными способами. В том числе через импрессионг.

Что такое «импрессионг», объяснил В. Маяковский. Гений. Ошибка русского социума. Однажды священник-экзаменатор спросил его, что такое «око». Маяковский жил в Грузии, а по-грузински «око» — это три фунта. Маяковский, не раздумывая, ответил: три фунта. Священник ему доходчиво объяснил, что «око» — это глаз по-древнему, церковнославянскому. Маяковский был посрамлен. Он едва не завалил экзамен. После экзамена Маяковский возненавидел все древнее, все славянское, все церковное. Отсюда пошел его футуризм, атеизм и космополитизм, то есть интернационализм.

Экзамен был для Маяковского импрессионизмом, воздействием социума на человека, на его восприятие мира. Но знаки русского социума не поймали неопределенное поэта. Из этого неопределенного родилась советская поэзия.

Особенно восприимчивы дети. Их легче всего связать цепями означенного, сломать. Другой русский гений Л. Толстой говорил, что все, что в нем есть, было в нем уже к пяти годам. Пятилетнего ребенка отделяет от взрослого всего один шаг, а вот между новорожденным и ребенком пяти лет — бесконечность. Ибо родившийся человек — это еще природа. А человек пяти лет — это уже душа, на которую покушается социум.

Для того чтобы быть гением, нужно либо быть подагриком, либо обладать гипоманиакальным депрессивным психозом, а также синдромами Марфана и Морриса. Желательно, конечно, еще и страдать от мочекаменной болезни, а также быть высоколобым.

Конечно, не всякий подагрик — гений и не всякий высоколобый — талант. Но здоровых гениев Эфроимсон не обнаружил. У здоровых людей нет дополнительной стимуляции работы мозга. У подагриков умственная деятельность стимулируется повышенным содержанием мочевой кислоты в крови. Отложение кристаллов этой кислоты в виде соли вызывает подагрические боли, а также мочекаменную болезнь.

Подагрики — Кант и Шопенгауэр. Среди русских философов нет ни одного подагрика. Видимо, поэтому у нас нет и философских гениев. А вот среди литераторов у нас много, как оказалось, не шизофреников и шизоидов, а гипоманиакальных депрессантов, циклоидов. Главное для писателя — успеть проскочить манию, суметь не застрять на уровне суетливых движений и бессмысленных скачков мысли. Главное — совершить трансгрессию мании и стать гением.

Гипоманиакальная депрессия была характерна для Гоголя. Циклоид-Гоголь мог неделями оставаться в своей комнате в неподвижном состоянии. Ему плохо помогали даже воды Карлсбада.

Совершив трансгрессию мании, Гоголь убегал от социума и попадал в пространство абсолютно уникального творчества. Он мог, например, менее чем за два месяца написать «Ревизора». Но трансгрессия совершается вне связи с «я». Не по модели рефлексивного сознания, а в момент, когда ты начинаешь писать «Ревизора». Ты это делаешь точно так же, как птичка вьет свое гнездо. Дай этой птичке означенное сознание, и все закончится. Она потребует пособие по безработице. Или эмигрирует.

Но за все нужно платить. И за то, что ты был в фазе метамании. Вот Гоголь и заплатил. Вернувшись в мир социума и его ограниченных смыслов, Гоголь затосковал. Чувство тоски усугубляет смерть жены А. Хомякова. Социум душил Гоголя депрессией, сознанием того, что, неприглядно изображая Россию, ты вызываешь дух революции. А революция — уж точно то, что уничтожит Россию. Религию. Семью. И он, Гоголь, будет причиной этой катастрофы. Гоголь не мог допустить гибели России. Поэтому он сначала сжигает свои рукописи. Потом перестает писать. И все время молится о спасении Святой Руси. Так он и умер за образами. Означенное сознание раздавило неозначенное его души.

У Пушкина гипоманиакальная депрессия усиливалась подагрой, повышенным содержанием мочевой кислоты в крови, раздражавшей мозг. Высвобождаемая этим усилением энергия реализовывалась в любви, на дуэлях и, конечно, в творчестве. Шестнадцатилетний Пушкин подружился с 22-летним Чаадаевым. У Чаадаева не было подагры, у него были геморроидальные колики, депрессия и отягощенное наследство. Дед Чаадаева сошел с ума. Умирая, он называл себя персидским шахом. Его отец застрелился в 37 лет, постоянно пребывая в депрессии, то есть в зависимости от своего пребывания в социуме.

Только в письмах к Е. Д. Пановой он просветлел, убежал от себя и стал гением. Хотя затем двадцать лет был простым обывателем. И вот тому пример. Герцен пишет какое-то сочинение, в котором он называет Чаадаева видным революционным мыслителем. Чаадаев не революционер. Но не в этом дело. Он доволен, что его назвали

мыслителем. Дело не в том, кто ты есть. Главное — знак подать. Чаадаев направляет письмо Герцену: мол, спасибо тебе за добрые слова. Я действительно мыслитель. И еще живой. А тут граф Орлов слух распространяет: смотрите, Чаадаев с Герценом якшается. Видимо, что-то задумали против царя. Чаадаев немедленно пишет письмо Орлову, где возмущается Герценом, отказывается от революционности и уверяет в верности императору. Вот это двоедушие и указывает на доминирование социальных знаков в жизни Чаадаева. Конечно, все мы в знаках. Но гении иногда их сбрасывают в гипоманиакальной фазе.

## 12. Что думают об аутистах ученые?

В 2002 году сотрудники Стенфордского университета провели исследования среди буддийских монахов. Монахи молились, впадали в транс, медитировали, а у них снимали данные с коры головного мозга при помощи магнитно-резонансной томографии. Что увидели ученые в мозгу? То же, что они увидели и у аутистов. Монахи медитировали, а у них в голове происходила переполюсовка полушарий головного мозга. Зоны возбуждения тормозились, а пассивные зоны возбуждались. Затылочная часть мозга, отвечающая за пространственную ориентацию, затормаживалась, фронтальная часть, отвечающая за выполнение какой-либо задачи, активизировалась. Поэтому медитация приводит монаха к отсутствию пространства. Смена знаков торможения и возбуждения указывает на нервный срыв, в котором пребывают монахи.

Другая группа исследователей мозга у аутистов пришла к выводу, что у них нейроны упакованы в колонки, меньшие по размеру, чем у обычных людей. Но зато их больше, и они плотнее, интенсивнее связаны между собой. Из-за этой связи возникает чрезмерная чувствительность человека, который страдает от громких звуков и яркого света. В конце концов, у них возникает желание спрятаться, уйти.

Аутисты агрессивны, ибо они социально отчуждены, исключены из языкового общения. Психологами был произведен эксперимент с

обычными детьми. Собрали незнакомых детей и дали им возможность познакомиться, потом разделили на две группы, и каждому ребенку предложили назвать еще двоих, с кем он бы хотел остаться, чтобы продолжить заканчивающийся эксперимент. И потом каждому ребенку сказали, что его никто не выбрал. У детей возникла агрессия. В другой группе одним говорили, что они жизнь закончат в одиночестве, другим — что они закончат жизнь в окружении друзей. Первые были более агрессивны, чем вторые. Это доказывает, что социальная депривация ведет к вспышке агрессии. И поэтому аутисты страдают агрессией.

Некоторые ученые полагают, что суть аутизма — в нарушении развития некоего миндалевидного тела, участка головного мозга, регулирующего эмоции. Поскольку это тело недоразвито, постольку аутисты не способны оценить выражение лица собеседника и не могут установить с ним эмоциональный контакт. Действительно, - аутисты никогда не смотрят прямо в глаза, они не могут установить контакт посредством взгляда и мимики. Их речь обычно скудна и они склонны к эхолоалиям.

### **12.1 Зеркальные нейроны**

В 1996 году группа итальянских исследователей во главе с Ризолатти опубликовала статью, в которой описывались опыты, проведенные с обезьянами. В ней было заявлено о существовании зеркальных нейронов<sup>106</sup>. Ризолатти обнаружил, что во время какого-либо действия обезьяны у нее возбуждается та же группа нейронов, что и при наблюдении за такими же действиями, совершаемыми другой обезьяной. Иными словами, действие и наблюдение за действием в терминах теории зеркальных нейронов неотличимы.

Теория зеркальных нейронов стала трактоваться учеными как открытие механизмов понимания в мире животных. А поскольку зеркальные нейроны были обнаружены и у человека, постольку речь стала идти и о раскрытии тайны когнитивных технологий, практикуемых человеком. Человек может понимать действия

животного и других людей, а животное может понимать действие других животных и человека. Следует заметить, что ни Ризолатти, ни последователи его теории не объяснили, что значит понимать.

Между тем, Поршневу выдвинул теорию, согласно которой первобытный человек считался суггестором животного мира, а Марр утверждал о наличии в древнейших слоях языка следов связи человека с животными. И так же, как бабуины пасут иногда парнокопытных животных, люди пасли зверей, вступая с ними в выгодное сожительство. Пока инфлюативные действия не обратились на самого предка человека и люди не разделились на тех, кого поедали, и тех, кто ел, посылая парализующие сигналы. Наши предки, убегая, расселились по всему миру. И в момент, когда им уже некуда было бежать, началась социальная история человечества.

Теория зеркальных нейронов укрепляет предположения Поршнева о существовании механизмов имитации, интердикции и суггестии. Благодаря Ризолатти стало принято считать, что зеркальные нейроны помогают нам читать мысли других людей, то есть по едва уловимым внешним признакам догадываться о намерениях и замыслах: «Если я, — говорит в интервью Ризолатти, — могу сделать то же, что и ты, то я могу почувствовать то же, что и ты». Что имеет в виду Ризолатти? Он имеет в виду не чувства, а некое мышечное напряжение, например, один человек вдевает нитку в иголку, а другой, наблюдая за ним, щурит глаза. Один ударяет себя молотком по руке, а наблюдающий за ним сжимает пальцы в кулак, как если бы ему было больно.

Учеными предполагается, что зеркальные нейроны играют также ключевую роль в процессах подражания, а значит, и в процессах обучения. Кроме этого, зеркальные нейроны объявляются ответственными за возникновение языка. И, самое главное, в нарушении когнитивных функций зеркальных нейронов усматривается причина аутизма человека.

## **12.2 Критика философии зеркальных нейронов**

Роль зеркальных нейронов в жизни человека явно преувеличена. Теория зеркальных нейронов предполагает как минимум два варианта развития одних и тех же событий. В одном случае мы будем иметь дело только с действиями, в другом — только с наблюдениями. Для того чтобы состоялись действия, существует ровно столько же оснований, сколько их существует для того, чтобы состоялись наблюдения. А это значит, что помимо зеркальных нейронов должна быть еще какая-то инстанция, которая будет выбирать между действием или наблюдением. Эта инстанция в любой момент наблюдение может заменить действием, а действие — наблюдением. Но если действие заменяется бездействием (наблюдением), то мы будем иметь дело с явной шизофренией. А поскольку, с точки зрения эволюции, действие и бездействие неравноценны, постольку наблюдатели устраняются естественным отбором, а деятели остаются. То есть эффект зеркальных нейронов не мог не вписаться в эволюционно приемлемую стратегию. Феномены, в которых участвуют зеркальные нейроны, пока ограничены ковырянием в носу, почесыванием, зеванием и т. д., то есть безразличными для эволюции формами поведения.

По утверждению Ризолатти, зеркальные нейроны работают только в поле зрительного восприятия. То есть они никак не реагируют на действия, которые находятся за пределами видимости. А поскольку человек в отличие обезьяны использует невидимое для ориентировки в рамках визуальной перцепции, постольку зеркальные нейроны перестают быть для него зеркалом и роль их в жизни человека становится сомнительной.

Существует принципиальное отличие между тем, что человек видит, и тем, что человек воображает. Если видимое человеком не выходит за рамки визуальной перцепции, то воображаемое не ограничено этими рамками. Отсюда следует, что все утверждения о том, что зеркальные нейроны активируются, когда человек воображает, неверны. Более того, если следовать за Кантом, то нужно признать, что любое восприятие предполагает воображение, а поскольку воображаемое находится за пределами наблюдаемого, то и зеркально его сфотографировать нельзя.

### **12.3 Зеркальные нейроны и переживания**

Без сомнения, действовать и переживать действие — не одно и то же. Действие осуществляется в плане реальности, переживание действия — в плане сознания. Это два разных ряда событий. И говорить о том, что зеркальные отображения одного ряда являются отражением другого ряда, ошибочно. Действовать и задумывать действие — это не одно и то же. Если бы это было одно и то же, то тогда не было бы реалистов. А все люди были бы аутистами. Однако аутистов приходится всего один человек на тысячу. Распознавать действие — это не значит распознавать мысль. Действие может быть маскировкой мысли. Во всяком случае в структуре действия не спрятана структура мысли. Видеть действие другого человека — совсем не значит чувствовать другого, ибо чувствуют то, что не видно со стороны. Мы смотрим на действие обезьяны, но мы его не чувствуем, хотя, возможно, у нас возбуждаются такие же нейроны, как и у нее. Почему мы его не чувствуем? Потому что у обезьяны нет второго плана, нет того, что мы могли бы почувствовать всем своим нутром.

### **12.4 Что значит понимать?**

Однажды с бабуинами провели следующий эксперимент. Их детей поместили за пределами видимости. Дети закричали, а бабуинам было все равно. Они их не видели, а значит, и не понимали, что они хотят, ибо видеть — значит понимать, полагаясь на работу зеркальных нейронов. Если в поле видимости на место обезьяны поставить копию обезьяны, робот, который будет совершать определенные действия, то у наблюдающей обезьяны будут возбуждены те же зеркальные нейроны, хотя никаких нейронов у робота нет. Отсюда следует, что у обезьяны нейроны являются не столько зеркальными, сколько сигнальными. Животные не понимают, они повторяют действия других. Действие — это коробка, в которой сидит смысл, не видимый со стороны. Понимать — значит заглянуть в эту коробку и увидеть смысл. У бабуинов есть коробка, но в ней нет смыслов. Понимает ли собака, если ей говорят «сиди», и она садится? В этом эпизоде нет самой

ситуации понимания, ибо в ней есть ситуация рефлекса и дрессировки. Понимает ли врача пациент, если врач говорит «покажи руки», а тот ему отвечает «покажи руки»? Конечно, пациент не понимает смысла, он только фонологически воспроизводит речь. В этом эпизоде пациент ничем не отличается от собаки или от бабуина.

### **12.5 Зеркальные нейроны и речь**

Леви-Стросс полагал, что язык возникает внезапно, вдруг, ибо значения слов не могут формироваться медленно, мало-помалу. Не может быть полужначений. Если значение возникает, то сразу полностью и целиком.

Ризолатти полагает, что язык возникает мало-помалу, постепенно. И я с ним согласен, ибо вначале был не язык, а протоязык, вернее антиязык, органом существования которого являлась рука. А поскольку рука могла быть занята действиями с сакральными предметами, постольку ее заменяли звуки. Нейроны, регулирующие движения руки и мимику лица, стали регулировать голосовую речь и превратились в так называемую зону Брока. Но речь появилась не потому, что появилась зона Брока, наоборот, зона Брока появилась потому, что люди стали говорить, то есть звуками заменять жесты.

### **12.6 Зеркальные нейроны и аутизм**

Рамачандран и Оберман в статье «Разбитые зеркала: теория аутизма» предположили, что нарушение работы зеркальных нейронов является причиной детского аутизма<sup>107</sup>.

Дети-аутисты не желают смотреть собеседнику в глаза, они не способны к имитации, к подражанию, они не умеют сопереживать, для них характерна так называемая эмоциональная тупость. Если аутисту говорят: «Возьми себя в руки», он действительно пытается взять себя в руки, то есть аутисты понимают метафоры буквально, они ищут наглядные значения, они не умеют мыслить абстрактно.

На этом основании английские исследователи аутизма Юта Фрит и Саймон Бэрэн-Коэн стали говорить о неспособности человека-аутиста создавать теории о чужой психике и неумении предугадывать действия другого человека. Почему аутисты обращают внимание на себя, а не на чужую психику? Почему они обращают внимание на звуки, которые вызывают у них отвращение и тревогу, а не на звуки, которые требуют повторения? Почему они обращают внимание на пустяки, на мелочи и не обращают внимания на социально значимые события? На все эти вопросы английские исследователи не отвечают. Говоря о чужой психике, они не учитывают того обстоятельства, что человек может защищаться от нее, игнорируя ее существование. Более того, на месте чужой психики может находиться робот с пустой психикой, которого невозможно будет отличить от человека.

Рамачандран не обращает внимания на то, что помимо аутистов не умеют мыслить абстрактно и бушмены, которые, например, слово «мир» понимают как действие, состоящее в том, чтобы зарыть в землю боевой топор. То есть Рамачандран не придает никакого значения тому, что любым абстрактным смыслом предшествуют наглядные смыслы.

Наличие зеркальных нейронов, на мой взгляд, делает человека уязвимым перед другим, перед тем, кто может парализовать его сознание. Зеркальные нейроны могут быть не тем, что позволяет понимать чувства и эмоции другого человека, а тем средством, благодаря которому другой может навязать, внушить нам определенные аффекты. И, следовательно, проблема состоит не в том, чтобы подражать и понимать другого, который является твоим суггестором, а в том, чтобы не понимать его, отвращать от него взгляд, занимаясь, как аутисты, пустяками.

Сопереживание может превратиться не в мое сочувствие другому, а в навязывание мне другим определенных чувств. Имитируя болевое ощущение, другой может навязать мне боль, способную парализовать мою волю. Поэтому от боли нужно защищаться не сопереживанием, а нереагированием на боль, что и делают аутисты.

Если принять все это во внимание, то получается, что у аутистов развиваются волевые импульсы и блокируется работа зеркальных нейронов. Неумение распознавать намерения других людей может быть формой защиты уже-сознания человека, способом его ускользания от суггестивных действий другого. Неспособность к сопереживанию, нежелание говорить также могут пониматься как защита самого себя от агрессивных влияний другого.

### **12.7 «Буба-кики»**

Шестьдесят лет назад Кёлер показывал испытуемым две фигуры: одну с резкими чертами, другую с плавными очертаниями, — и просил одну из них назвать «буба», а другую — «кики». Практически все испытуемые «бубой» называли фигуру с плавными очертаниями, а фигуру с резкими очертаниями называли «кики». Образ фигуры был связан со звуковой материей. Но аутисты, по словам Рамачандрана, ассоциировали все наоборот. Почему? Потому что, как считает Рамачандран, у них существуют проблемы с зеркальными нейронами. Рамачандран полагает, что у аутистов искажена эмоциональная окраска мира. Если бы человек увидел грабителя, то ему нужно было бы пугаться, а аутист не пугается. Если бы какому-нибудь человеку подарили новую вещь, то он бы обрадовался, а аутист не радуется. Для аутиста грабитель безразличен, а такой пустяк, как новая вещь, ведет его к экстремальному эмоциональному протесту.

Автономное возбуждение аутистов выше, чем у нормальных детей. Привычные вещи их возбуждают, а то, что возбуждает нормальных детей, оставляет их равнодушными. Исследуя аутизм, Рамачандран признался, что «глубинные причины аутизма по-прежнему остаются для ученых загадкой»<sup>108</sup>.

### **12.8 Шизофреники и аутисты**

Зеркальные нейроны не могут помочь человеку отличить собственные движения от чужих, свой голос — от чужого, свои мысли — от мыслей других. Если бы зеркальные нейроны играли бы

ключевую роль в жизни человека, то тогда человек мог бы стать абсолютно внушаемым существом наподобие олигофренов и дебилов. Он не смог бы тогда воображать. Человек полностью был бы лишен чувства новизны, он мог бы быть имитатором, человеком второго голоса, вечным ребенком, для которого характерны эхोलалия и эхопраксия.

Какое отношение могут иметь зеркальные нейроны к шизофрении? Известно, что шизофреник слышит различные голоса, которые повторяют его мысли, интерпретируют его действия. Сама эта ситуация возможна потому, что у шизофреника не работает система различения свой-чужой. Он может воспринимать свою внутреннюю речь как речь другого человека. При аутистическом восприятии людей исключается возможность отождествления внутренней речи с речью другого. Платой за это удерживаемое различие между чужим и своим является отказ аутиста от понимания чужой психики, отказ от сопереживания, разрушение работы зеркальных нейронов и демонстрация непонимания. В противном случае, понимая, человек рискует постоянно слышать голоса, которые повторяют его мысли, а поскольку кто-то постоянно считывает мысли человека, постольку у него может развиваться шизофренический бред преследования.

Доминирование зеркальных нейронов позволяет человеку выдавать чужие чувства и мысли за свои. Эти мысли могут приходиться к нам в голову, не спрашивая на то нашего согласия. В этом случае мы будем казаться самим себе объектами манипуляций каких-то внешних сил, которые посылают в наше сознание наши мысли. Аутистическое сознание создает вокруг себя абсолютно не проницаемую для других голосов преграду. Оно создает барьер, защищающий его сознание, которое для внешнего наблюдателя предстает как некая смущенность и застенчивость аутиста. Если же у человека не будет такой аутистической защиты, то он окажется беспомощным, и эта его беспомощность приведет к шизофреническому бреду внедрения эмоций и навязчивых движений. Сознание человека откажется признавать свою субъектность для тех движений, которые ему навязывают чужие

голоса. В таком случае шизофреник говорит: «Это не я писал письмо, это они моей рукой писали», или: «Это не мне смешно, мне не смешно, это они заставили меня смеяться без причины, мой гебефренический смех — это их рук дело, это не мне плохо, это они внедряют в меня чувство несчастья, хотя мне хорошо».

От всех этих навязчивых движений и внедренных эмоций аутистическое сознание защищает себя непоколебимым стремлением к безмятежному состоянию покоя.

Резюмируя, можно сказать, что теория зеркальных нейронов вновь указывает на существование антропологических полюсов, между которых нужно было протиснуться человеку. Эти полюса представлены, с одной стороны, аутизмом, а с другой — шизофренией. Внушаемость, в свою очередь, показывает разрыв между готовностью следовать за командой, поступающей извне, и шизофреническим раздвоением между внешними и внутренними голосами.

### 13. Аутизм с точки зрения философии

Autos — значит «сам», то есть по своей воле, имманентно, а не по внешним обстоятельствам. Для психологов аутизм исчерпывается отклонением от нормы, болезнью, слабоумием. Для философии в аутизме важен отказ от идеи внешней причины и признания фундаментального статуса непредсказуемой случайности. Дисциплинарный ум психолога надзирает и наказывает за провинности, за самостоятельность. Он называет отказ от причины слабоумием. Для философии важно ускользнуть из-под надзирающего ока психологии, чтобы пересмотреть само понятие причины. Причину не следует понимать как внешнюю причину. В терминах внешней причины невозможно понять, как образовался горизонт человечески возможного события. Причину следует понимать как имманентный переход своего предела, как переход, на котором случаются срывы и падения, но также бывают и удачи.

Не внешняя причина, а самовоздействие образует горизонт понимания человека. Переход предела, который непрерывно

воспроизводится силами имманентного, погружает человека в бесструктурный поток бытия. В этом потоке мир не скован логосом, не упорядочен законами, не расчислен понятиями. В нем нет устойчивости, в нем не за что ухватиться. Поэтому не логос, не норма служит объяснительным принципом в антропологии, а воображение. Не мыслимость мыслимого, а мыслимость немислимого должна определять стратегию исследования человека.

Внутри бесструктурного потока теряется различие между субъектом и объектом. Аутизм открывает перед нами мир не изначального опыта, а изначальный мир нетелесного опыта воображаемого. Он изначален потому, что за воображаемым стоит то реальное, которое исключает саму возможность бытия в качестве человека.

Опыт отношения к самому себе, воздействия на себя предшествует всякому другому опыту. Этот опыт невыразим в словах. О нем невозможна память. Невозможно воспоминание. О нем говорил Платон в мифе о человеке-кукле, когда говорил, что человек — единственное существо, которое может быть сильнее себя или слабее себя. В пространстве человека ничего не существует, но все становится. В этом доинтерпретативном нерепрезентируемом мире нет различия между чувственным и рациональным. Всякий опыт может быть редуцирован к эмоциональным пятнам мира или, как говорил Мах, к чувственной первооснове мира.

Субъект и объект являются вторичными образованиями опыта. Эмоциональное склеивание отдельных моментов нейтрального опыта, присоединение предыдущего к последующему дает нам предметность. Но предметность — это не комплекс ощущений. Если бы это были ощущения, то не было бы пространства и времени, ибо они не ощущаются. Предметность создается из алфавита мира, из цветовых пятен, линий и фигур. Из-за того, что наше мышление стало более предметным, мы, по словам Кречмера, не способны прочувствовать первобытные спаивания образов, как не способны понять проецирование эмоций аутистическим сознанием,

работающим вне схемы «я — мир».

### 13.1 Промежутки

Аутизм открывает перед философией не мир чтойности, а мир промежутков. В этом мире ничто не имеет цели в себе самом, следовательно, в нем пресекаются претензии бытия быть бытием, быть наличным, присутствовать. Поэтому современная философия отказывается принимать бытие как присутствие. В человеческой реальности все ускользает, оказываясь промежутком какого-то глобального промежутка.

Классическое философское сознание ориентировалось на бытие, на предметы, а ему вместо предметов аутистический мир человека предлагает то, что между, нечто неустойчивое, а вовсе не то, что вечно, неделимо, предельно. В мире аутиста от предметности остаются следы, разломы и трещины. С точки зрения сущности, все выглядит одинаково, в ней все кошки серы. Аутизм открывает мир различия и случайности.

### 13.2 Другой

В горизонте аутистического сознания другой понимается не в качестве того, кто тебя завершает. Другой — это не тот, кто дает тебе смысл. Нет никакого резона искать себя на дне у другого. Меньше всего оснований усматривать другого в том, кто смотрит на тебя, равно и в том, кто тебя видит. Другой — это тот, кого ты объективировал в себе в качестве другого. А это значит, что в качестве другого ты рассматриваешь того, кто тебя ограничивает. Другой — это внутреннее самоограничение, вынесенное вовне, объективированное. Обычно думают, что, относясь к другому как к человеку, ты и к себе начинаешь относиться как к человеку. Эта догма предполагает первичную выдвинутость в бытие другого. Но вот что пишет Беттельхейм: «Знание о другом человеке... возможно только как следствие постижения человеком самого себя»<sup>109</sup>. То есть мы узнаем о другом вследствие постижения себя.

Аутистическое сознание человека отказывается от

доминирующей роли другого, отрекается от семьи, от отца. На него трудно распространить принципы психоанализа. Обращение к помощи внешней причины в образовании антропологического события переводит понимание этого события в трансцендентный план, в котором всегда уже есть другой. То есть человек всегда является следствием существования другого. Тем самым антропологическое событие отодвигается, а его понимание откладывается. Именно поэтому нужно отказаться от трансцендентного измерения феномена человека и заменить его имманентным планом развертывания антропологического события. В этом смысле другой — это не другой из трансцендентной перспективы, это тот, кто заставляет тебя смотреть на себя с отвратительной точки зрения. Ведь аутист — это человек, который освобождает свое существование от существования, которое его ограничивает. Для того чтобы освободить себя от реальности, человеку потребовался предел наличного, в опыте преодоления которого создается мир человеческой реальности. Пределом наличного является Бог или, что одно и то же, первичное самоограничение человека.

## **14. Кристева о невысказанном смысле**

Однажды Кристевой пришлось иметь дело с ребенком, то ли аутистом, то ли похожим на аутиста. Свой опыт общения с ним она описала в небольшой статье<sup>110</sup>. В ней она повела речь о воображаемом.

### **14.1 Воображаемое**

Воображаемое рассматривается Кристевой вне связи с синтетическим априори Канта, вне контекста отношений между трансцендентальной схемой и образом. Поэтому воображаемое Кристева, следуя за Лаканом, понимает как границу между биологией и языком. А поскольку язык понимается ею не как непосредственная действительность социума, а как нечто символическое, постольку воображаемое мыслится как граница между реальным и символическим. А это значит, что воображаемое

— это и не часть реального и не часть символического. Оно отрицает и реальное, и символическое.

Но если есть граница, то должны быть и контрабандисты, которые эту границу пересекают, и пограничники, которые их ловят. Вот, например, ребенок-аутист. Что означает его аутизм? То, что ребенок не смог преодолеть границу между реальным и воображаемым, или то, что он, напротив, преодолел эту границу, перебрался на сторону воображаемого? Глядя на ребенка-аутиста, можно сказать, что всем нам, даже Кристевой, пришлось преодолеть границу между реальным и воображаемым, то есть все мы — аутисты.

Но вот дальше наши пути-дороги расходятся. Одни берут штурмом границу между воображаемым и символическим, а другие, как черт ладана, боятся символического и не стремятся пересекать границу между воображаемым и языком. Возникает вопрос: почему? То ли потому, что у нас нарушена мозговая структура, то ли потому, что нашему воображаемому не хочется терять свободу?

Мне казалось, что Кристева как-то ответит на этот вопрос. И она бы на него ответила, если бы она его заметила. Но она его не заметила, что видно по тому, как она понимает воображаемое.

«Я называю воображаемым, — пишет Кристева, — представление идентификационных стратегий, интроекцию и проекцию, мобилизующие телесное изображение меня и другого и использующие в качестве первостепенных процессы смещения (сдвига) и конденсации (сжатия)»<sup>111</sup>. Я хочу обратить внимание на то, что для Кристевой воображаемое — это представление. В свое время Блейлер упрекал Фрейда за то, что он позволял себе говорить о переживании представлений, хотя переживается не представление, а состояние. Иными словами, воображаемое — это не представление. Если бы оно было представлением, то оно бы было связано с вещами, а не с произволом.

Поскольку переход от реального к воображаемому, видимо, был нелегким, постольку на уровне воображаемого фиксируется какое-то телесное расстройство, нескоординированность организма, который не знает, что ему делать. И тогда у ребенка появляется потребность в какой-нибудь идентификации, в телесном образе самого себя.

Здесь-то и оказывается решающим то обстоятельство, что ребенок не одинок, что у него есть семья, родственники, папа и мама. И что вся его родня находится уже не на уровне воображаемого, а на уровне символического. Перед ребенком возникают разные стратегии: он может быть нарциссом, он может как-то отнестись к образу матери, может отождествить себя с отцом, а может пройти и вторичную идентификацию через эдипов комплекс, отождествив себя с фаллической ролью.

Иными словами, «воображаемое — это калейдоскоп моих образов, исходя из которых формируется субъект высказывания»<sup>112</sup>. А это значит, что воображаемое для Кристевой само по себе ничего не значит. Для нее воображаемое — это ступенька к языку, подготовка к тому, чтобы быть субъектом высказывания. Но проблема состоит в том, что символическое зовет ребенка, а он не отвечает на зов. Его семья говорит «иди к нам», а он не идет, он хочет остаться в воображаемом. И святое семейство слышит в ответ: «Ваши значения мне безразличны, я вам не родственник, я не хочу вас видеть, я отгораживаюсь от вас стеной невысказанного смысла». Что же произошло?

## 14.2 Склеп незначащих аффектов

Кристева считает, что ребенок замуровывает себя в склепе незначащих аффектов воображаемого. Она полагает, что у него есть доступ к смыслу, но нет доступа к значению. А поскольку все близкие люди имеют доступ к значению, постольку ребенок впадает в панику, в депрессию, оттого что он не умеет говорить и не может передать свои смыслы. То есть страхи ребенка возникают под влиянием и напором символического.

Империализму знаков всегда противостоит анархия воображаемого, исток внутренней свободы человека. Поэтому воображаемое — это не ступенька к символическому, а абсолютная спонтанность, вызывающая злобу на уровне символического. По словам Канта, которые, видимо, забыла Кристева, воображение есть необходимая составная часть самого восприятия. И, прежде всего, самовосприятия, которое лежит в основе всякого знания и всякого языка.

### 14.3 Дискурс Кристевой

Дискурс Кристевой является рваным и путаным. Она пишет: «Воображаемое является зависимым от стадии зеркала»<sup>113</sup>. А затем напоминает нам о том, что воображаемое простирает свое влияние на всю психику, предшествовавшую зеркальной идентификации. А это значит, что воображаемое не зависит от стадии зеркала. Напротив, стадия зеркала учреждается в имманенции воображаемого.

Кристева уверена, что идентификации ребенка способствует стадия зеркала, которую придумали диалектические философы задолго до Лакана. К этим философам относится и А. Валлон.

Согласно распространенному мнению, стадия зеркала конституирует подлинный образ субъекта. А не подлинный образ субъекта конституирует воображаемое, которое является, по словам Кристевой, способом подхода к архаичным эмоциональным представлениям. «Эмоциональные представления» — это, конечно, квадратный круг, то есть Кристева связывает эмоцию либо с лингвистическими значениями, либо с вещами, с реальным. Хотя эмоция не связана ни с тем, ни с другим. Это самоаффектация человека. И воображаемое вообще не создает субъекта, отказавшись от «я» как от языкового костыля.

Всем известно, что дети-аутисты охотно занимаются аутостимуляцией, в том числе напрягая и ослабляя мышцы своего тела. А это значит, что стадия зеркала не имеет к декомпрессии

мышц никакого отношения.

Воображаемое разворачивает себя через самоограничение. Результатом этого самоограничения является и само символическое. Но Кристева видит все иначе. Она, как и Гегель, полагает, что позднейшее является истиной предыдущего. В ее рваном дискурсе воображаемое возникает из лингвистического значения, будучи неотделимым от логики и грамматики.

Я оставляю без комментариев такие фрагменты работы Кристевой, как «Опера» и «Я иду, папа». Замечу лишь, что Кристева всерьез полагает, что ребенок-аутист (а Поль, о котором рассказывает Кристева, видимо, был все-таки аутистом) боится сказать «я», потому что он боится быть подвергнутым кастрации. Осмелившись сказать «я», ребенок, как думает Кристева, освобождается от того плохого «ты», которое говорила его мама, ибо «я» — это не «ты».

Вывод: Кристева лишает воображаемое абсолютной спонтанности и тем самым превращает человека в вербальный автомат социума. Чтобы понять ребенка-аутиста, не нужно делать его таким, как мы, то есть означивать и социализировать, а нужно понять, почему мы не такие, как он. И не нужно ли нам освободиться от символического балласта, которым мы все перегружены.

## 15. Новые философские аксиомы

Аутографическое исследование языка и сознания заставляет признать устаревшими некоторые философские аксиомы и переосмыслить их следующим образом.

Вопрос: Возможна ли мысль без слова?

Ответ: Без сомнения, возможна. Если бы это было не так, то как бы я мог поставить одно слово после другого, чтобы получилась связанная речь, выражающая мысль. Мысль мы находим не в слове. Если бы оно было в слове, то мы бы слушали слова, а не мысли.

Вопрос: Создается ли мысль словами?

Ответ: Конечно же, нет. Если бы мысль создавалась словами, то слова бы не обесценивались и пустых слов не было бы. Слова выражают мысль, передают ее от одного к другому. Мысли всегда заперты в голове, а язык — это то, что изымает их из нашей головы и пытается выставить на всеобщее обозрение.

Конечно, можно мыслью считать все то, что удалось выставить напоказ, а то, что не удалось, можно считать материалом к мысли. Можно пойти еще дальше. Можно мыслью считать только то, что удалось продать, что кем-то было куплено. Следовательно, если мысль не купили, то она перестает быть мыслью. Так думают Гегель, Маркс и Мартынов. Выготский так не думал, и я так не думаю.

Вопрос: Означает ли, что мыслить и понимать — это одно и то же?

Ответ: Конечно же, не означает. Мыслить — это не значит понимать. Когда мы понимаем, мы не мыслим. Когда мы мыслим, мы не понимаем. Мыслить — значит рассуждать. Когда мы понимаем, мы не рассуждаем. Мы находимся вне пространства языка, но в пространстве смысла. Когда мы мыслим, мы пытаемся удержать себя в мысли, складывая ее из слов в некоторой временной последовательности. Когда мы понимаем, мы понимаем сразу, полностью и целиком, обозревая то, что не раскладывается в последовательную цепочку причин и следствий. Думать, что определенность приходит лишь в момент называния, обозначения в слове, неверно. Ибо в слове фиксируется линейность мысли. Как только мы захотим свернуть с этой линейности, мы получим парадокс, в котором слово выходит за свои пределы, то есть перестает быть словом, и, следовательно, оно перестает быть средством доведения до сознания.

Рассуждение неотделимо от речи. Но мысль отделима и от речи, и от рассуждения. Есть мысли, которые трудно передать словами. Для того чтобы их передать, нужно помыслить немислимое. Слова без мысли составляют бред. Мысли без слов — это эмоциональные склейки на уровне воображаемого. Психологи же ищут мысли без

слов не в пространстве воображаемого, а в пространстве головы афатика или глухонемого.

Мыслит без слов не столько афатик, сколько гений в момент прозрения. Или художник — в момент запечатления образа. Речь без мышления характерна для тех, кто говорит, не сообщая слова с мыслью. Без мышления может быть как внешняя, так и внутренняя речь. Мышление — это не скрытые речевые навыки, это полагание несуществующим того, что есть.

Вопрос: Развивается ли речь из подражания другим?

Ответ: Нет, не развивается. Говорят не потому, что слушают других, а потому, что услышали себя. Слушающий и говорящий в этом случае совпадают. Если бы они не совпадали, то речи бы не было. Язык бы существовал, но на нем никто бы не говорил.

При разговоре люди не могут не мыслить одно и то же: один вслух, другой про себя. Если бы при разговоре мыслилось не одно и то же, то разговора бы не было. Говорить — это не значит думать вслух, это значит пытаться создать вяжущую связь социума. Слушать — это не значит мыслить про себя. Это значит показать готовность к послушанию, к подчинению символическому.

Вопрос: Не является ли язык непосредственной действительностью социума?

Ответ: Конечно, является. Язык человека — это язык знаков. А знаки произвольны. Произвол означает свободу перемещения знака по семантическим полям. Без этой свободы язык никогда бы не стал языком. Произвольность освобождает человека от необходимости реагировать на наличное. Язык хочет реагировать на то, чего нет. Откуда же берется свобода у языка? Свобода языка — это негатив амбивалентности эмоции, которая свободно перемещается от одного своего полюса к противоположному. Язык — это узда на дикий нрав эмоции. Чтобы поспеть за эмоцией, язык должен допустить внутри себя произвольность знака. И проблема теперь состоит в том, чтобы обуздать произвольность знаков, или, что то

же самое, произвольность языка. Ведь если не унять эту свободу, то тогда камень можно будет назвать деревом.

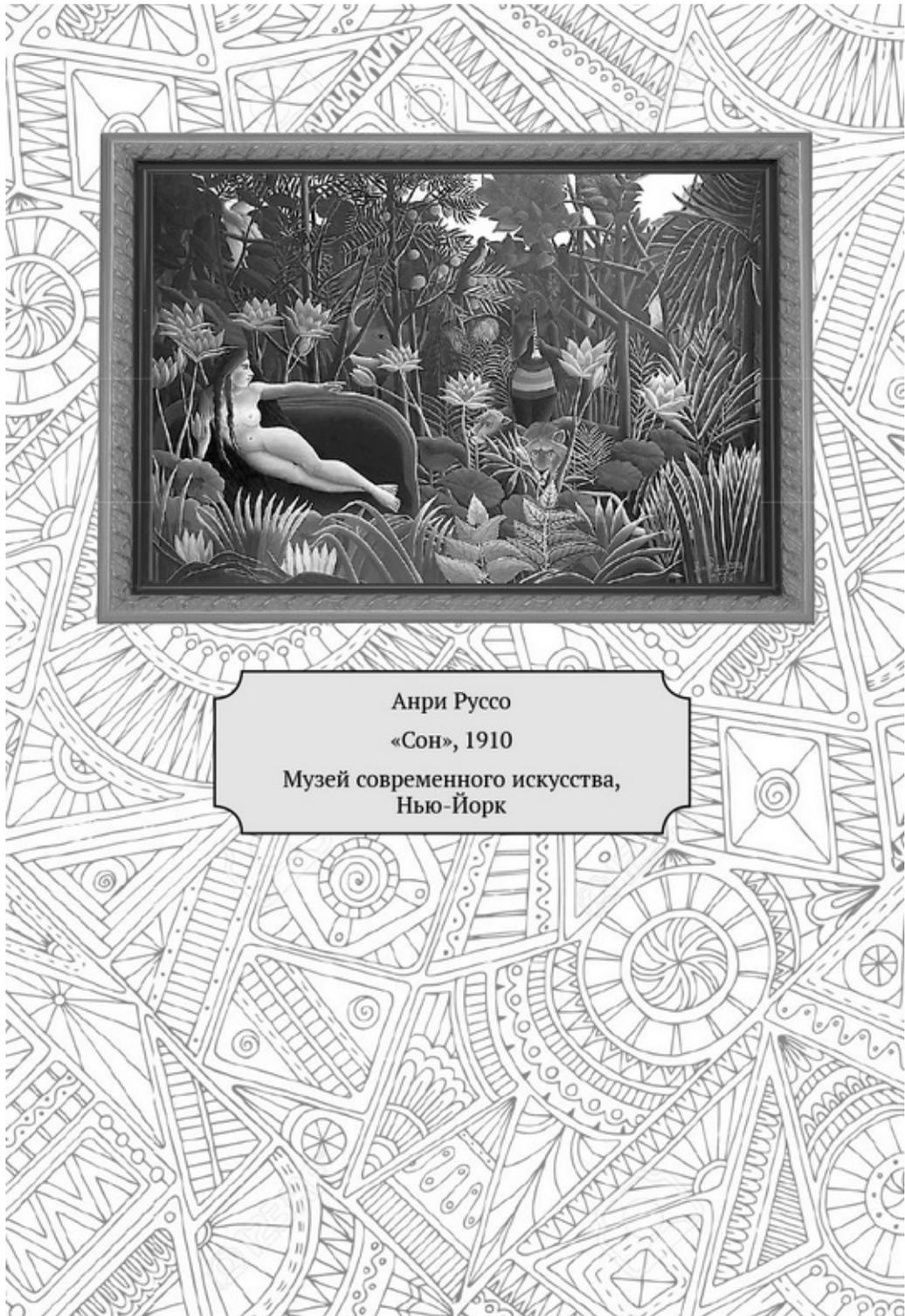
У Ионеско есть рассказ, в котором папа учит свою дочь Жозетту правильным словам: стул — это окно; окно — подставка для ручек; подушка — кусок хлеба; хлеб — коврик; ноги — уши; руки — ноги; голова — спина; спина — голова; уши — это пальцы, а пальцы — это уши. Вскоре Жозетта начинает говорить, используя новые слова: «Я смотрю на стул, когда ем подушку, я хожу ушами. У меня десять глаз и два пальца. Моя голова достаёт до пола. Я сажусь на потолок. Когда я съедаю мою музыкальную шкатулку, я кладу джем на коврик, и у меня получается вкусный десерт...»

Свободу языка отнимает социум, который запрещает ноги называть ушами. Но социум оставляет языку ровно столько произвольности, сколько ему хватает для того, чтобы скрыть чувства, эмоции. Скрывая эмоции, язык делает возможным сосуществование людей, поэтому социальность начинается в момент, когда было различено то, что чувствуется, и то, что говорится. Поэтому язык — это и есть непосредственная действительность не мысли, а социума. Конечно, в языке есть области, в которых связь объекта с объектом (а знак — это тоже объект) произвольна. Но знак всегда может порвать эту связь и уйти гулять по семантическим полям. И проследить его движения не смогут все лингвисты мира.

Вопрос: Не прошло ли время истины?

Ответ: Прошло, если под истиной понимать только то, что ожидает нас завтра. Ведь сегодня мы будем принуждены жить без истины или, что одно и то же, со смесью истины и лжи. Любой социум нормирует эту смесь, поэтому жить внутри смеси лжи и истины — это норма.

Аутистическое сознание не может жить внутри этой смеси. Поэтому оно, это сознание, считается ненормальным, и его пытаются социализировать. Безумен тот, кто ищет абсолютную истину. Умен тот, кто обходится относительной истиной.



Анри Руссо  
«Сон», 1910  
Музей современного искусства,  
Нью-Йорк

**Глава 6.**  
**Четыре уровня падения сознания в «магическое»**

Падение сознания в магическое — это выход сознания за пределы субъект-объектной дуальности. Я рассматриваю четыре уровня сознания, имея в виду не «я-сознание», а «уже-сознание».

«Я-сознание» — это поле доминирования членораздельной речи. В нем самость приурочена к дискретно выделенному телу. А «уже-сознание» — это миражное сознание, которое доиндивидуально и беспредметно, оно носит рассеянный характер.

## 1. Нанук

Есть фильм о Нануке<sup>114</sup>, живущем на Северном Ледовитом океане. В этом фильме сквозь тонкий слой языкового сознания просвечивает уже-сознание Нанука. Вспомним мерзнущих собак из его повозки. Чем они отличаются от Нанука? Тем, что они являются той силой природы, благодаря которой он может уклоняться от встречи с опасностью.

Нанук ничего не знает о понятии красоты, но вспомним, с каким изяществом он делает ледяное окно в своем снежном чуме. Это окно совсем не функционально. Это не окно, это то, что красиво. А красиво оно потому, что оно никому не нужно. На нем просто отдыхает глаз. Это воплощенный в куске льда замороженный покой Нанука. Красота — это покой и безопасность. Красота — это место, где, как говорит Бродский, отдыхает глаз. Место, лишённое опасности, то есть вход в состояние замороженного покоя. В ней нет ничего симулятивного, она нас утешает. Красота — это воронка на поверхности бытия, ведущая в глубь уже-сознания.

На уровне замороженного покоя не выходят за пределы пассивности рассеянного взгляда, позволяющего видеть целое и не замечать его частей. Миражное сознание смотрит на мир, как Модильяни смотрит на фигуру: видно, что это фигура человека, но не видно ни рук, ни ног, ни всего остального. Везде одни линии.

Языковое сознание видит предмет как бы составленным из частей, оно движется линейно. Уже-сознание Нанука является

падением сознания в магическое, то есть воспринимаемое эмоциональным сознанием.

## 2. Покой, или Лицо принца

Самый глубокий уровень сознания выражается в стратегии, подчиненной одному принципу: либо будет так, как есть, либо будет хуже. Аутист с невозмутимым лицом принца полностью отрешен от окружающего мира. Он как бы ничего не видит, ничего не слышит, хотя у него все в порядке со зрением и слухом. Глядя на него, нельзя сказать, что человек — это «здесь — бытие». Здесь — тело аутиста, а не его бытие.

Его лицо ничего не выражает. У него как бы нет чувств и эмоций. А если они у него есть, то тогда он их, видимо, полностью контролирует. Он не реагирует на боль, голод и холод. Мир как бы пытается поймать аутиста, связать его. Аутист даже не защищается, он ускользает от него, не соприкасаясь с ним. У принца нет не только интенций сознания, у него нет даже указательного жеста. У него периферическое зрение, которое позволяет видеть целое, не фокусируя взгляд на предмете при помощи центрального зрения. Он ничего не боится и никого не любит.

Аутизм принца позволяет измерить глубинные структуры сознания человека. Самой глубокой структурой является бессубъектное ощущение покоя, которое возникает на беспокойном пути ускользания от мира. Аутистический покой вне различия «удовольствие — неудовольствие». Стремление к покою древнее, чем «оно» Фрейда. В состоянии покоя на минимум сознания приходится максимум бытия. Покой — это греза человека, которая может быть реализована только имманентной пассивностью. Полный покой возможен только у тех, кто уже не существует, кто умер. У предков. Ведь умереть — это значит успокоиться. Культ покоя рождает культ предков. Человеческая жизнь с самого начала проходила под знаком смерти, которая успокаивает самых беспокойных.

Греческая философия рефлексивно воспроизводит идеал

независимости от мира и называет своим высшим приоритетом достижение апатии и атараксии. Мир посылает человеку разные сигналы, он то соблазняет его, то пугает. Но человек невозмутим. Он не соблазняется и не боится. На уровне замороженного покоя человек непосредственно дан самому себе.

Между человеком и миром устанавливается нейтральная полоса, выкрашенная в красный цвет охры. Нарушение устоявшейся полосы отчуждения ведет к серии непереносимых касаний, от которых избавляются только очищением.

От переживания покоя остается чувство полноты жизни и чувство красоты, а также та удивительная способность, которую называют наитием. Наитие является доминирующим признаком уже-сознания, которое не знает о том, что оно сознание. Если ребенок-аутист проявляет интерес к какому-либо объекту, то он дотрагивается до него кончиком ноги, а не хватая рукой все подряд. Его рука, протянутая к вещи, зависает, не дотянувшись к ней в силу того, что интерес к вещи у него гаснет быстрее, чем рука успеет дотянуться до нее. Пребывая в состоянии замороженного покоя, проявляя заботу о сохранении синтезов имманентной пассивности, человек прибегает к двум приемлемым стратегиям, а именно — уподоблению и ускользанию.

Уподобление — это стратегия хамелеона, к которой прибегает, например, Нанук, вступая в резонанс с миром, на подобное отвечая подобным. Например, чтобы пошел дождь, нужно вступить в резонанс с миром, то есть окропить землю с водой, что и является тем магическим, в которое падает сознание.

Ускользание — это пассивный ответ на изменение ситуации, состоящий в умении скользить по силовым линиям самой этой ситуации. Например, мы и сегодня можем пассивно, то есть задумавшись, перейти улицу, учитывая все особенности перехода. Хотя совершенно не помним, как это нам удалось сделать.

Уподобление и ускользание являются двумя модусами действия человека с невысказанным смыслом. И уподобление, и ускользание

складываются вне логоса, не подчиняясь мысли. Они скорее подчинены принципу недеяния, известному китайской философии. Погружая себя в мир естественных отношений, человек пассивно скользит в сторону наименьшего на него давления со стороны среды.

Пространственный рисунок поведения человека, то есть расстановка мебели, протаптывание дорожки, маршрут прогулки определен наитием уже-сознания. В замороженном покое пребывает наша самость без «я». А это значит, что, только замораживая ощущения себя самого, мы можем спуститься на дно своей самости и ощутить полноту данного мгновения жизни, которое достигается совпадением внутреннего покоя и покоя внешнего.

Иными словами, чувство полноты жизни достается нам в наследство от нашего прошлого аутистического отношения к миру. А уважение к этому отношению иногда проявляет даже социум. Согласно Д. Лихачеву, древнерусское законодательство наделяло жителей городов правом видеть из окна не только религиозные символы, но и природу. Человек имел право видеть из окна луг, сад, реку<sup>115</sup>.

Покой — это как пустота, которая сама не действует и не испытывает действие, но допускает его. В состоянии покоя человек является, по словам Эпикура, существом блаженным и бессмертным, а оно ни само забот не имеет, ни другим не доставляет. И мир видит в нем то, что напоминает ему лицо принца.

### **3. Непереносимая интенсивность**

Падение сознания на уровень страха указывает на то, что сделан первый шаг к контакту с миром. Вторая стратегия в поведении аутистического сознания состоит в активном отвержении мира. Субъективность, если она эмоционально возбудима, не подчиняется принципу реальности. Следуя за грезами, она выходит за пределы

покоя, и человек перестает быть человеком с непроницаемым лицом принца, слушающего гармонию небесных сфер. Теперь у человека страдающее лицо, в нем доминирует не сознающее себя желание желать.

Желание скрывает желаемое. А его категорическим императивом становится капризное «хочу хотеть». Одно «хочу» сменяется другим. Все они не признают друг друга. Желания толпятся перед выходом на поверхность, налезают друг на друга, последующее отменяет предыдущее, чтобы дать место настоящему, и все это исчезает так же внезапно, как и появляется в глубинах имманенции.

Но слишком черна была ночь, слишком светел был день и слишком зыбок был сон сознания, чтобы не была протянута галлюцинирующая рука к цветам вновь открываемого мира. Так тянут свои руки дети к ярким цветным игрушкам. Что же наводит порядок в пространстве желания?

### **3.1 Стереотипы**

В хаосе грез и галлюцинаций человеком впервые, как в саду, протаптываются психомоторные дорожки субъективности, по которым он идет с напряженной страстностью. Субъективность структурируется стереотипами, а речь — штампами. Стереотип — это коридор безопасности в хаосе галлюцинаций, непрерывное повторение одного и того же, своим ритмом преодолевающее зыбь первобытного мрака. Субъективность структурируется стереотипами потому, что человек не способен приспособливаться к среде. Стереотип лежит у истоков существования магического сознания, которое усматривает назначения и связи вещей в стереотипизированной галлюцинации. Например, железная подкова получает свою суть, следуя за смыслом грезы.

Изобретение стереотипа более фундаментально, чем изобретение колеса, ибо стереотип помогает обживать мир. Он создает обитаемое пространство и время. Стереотипы, позволяющие преодолеть непереносимые интенсивности жизни, предстают, прежде всего, в качестве ритма. Стереотип и ритм — это

метафизические близнецы-братья, родство которых устанавливается уже-сознанием.

Когитальное сознание никогда не сможет дать нам ответ на вопрос, почему один человек любит сладкое, а другой не любит сладкое. Почему один с удовольствием ест мясо, а другой видеть его не может. Почему один любит переставлять мебель и менять одежду, а другой ненавидит это делать. Необъяснимые привычки коренятся в стереотипах и ритмах докогитального уже-сознания, как, например, привычка грызть ногти или привычка пропускать вперед женщину. Как понять, почему дети не любят есть молочную пенку и многих тошнит в момент, когда они пьют сырые яйца. Не обладают ли вещи некоторой отвратительностью до отвращения? Стереотип, накапливая в себе энергию горя, злобы и неудовлетворенности, смягчает действия человека, спасая его от нанесения самому себе ущерба, как, например, смягчаются переживания человека во время переживания смерти близкого.

### **3.2 Три примера переживания смерти**

Первый пример я взял из «Сокровенного человека» Андрея Платонова. У машиниста паровоза Фомы Пухова умерла жена. У него горе. Но Фома Пухов не одарен чувствительностью. Проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки, он на гробе жены режет вареную колбасу. «Естество свое берет», — говорит Пухов. Смерть жены разрушает привычки Фомы Пухова, и он прячется от своих чувств в бесчувствии ритма работы. Фома Пухов как бы деревенеет, его речь становится пассивной и косноязычной, словно какие-то самые глубокие слои сознания выступили на поверхность, защищая его. «Все совершается по законам природы», — говорит он самому себе и успокаивается.

Второй пример из «Постороннего» Камю. Повесть Камю начинается так: «Сегодня умерла мать. А может быть вчера...» Хотя все это не так важно. Она умерла. Герой повести едет на похороны матери. В морге он со сторожем пьет любимый кофе с молоком, а затем ему захотелось покурить. Сначала его смутила сама мысль о возможности с удовольствием покурить у гроба, затем, подумав,

герой повести решил, что все это не имеет никакого значения, и закурил вместе со сторожем.

В этом эпизоде просматривается столкновение уже-сознания и я-сознания героя. Побеждает я-сознание. Герой повести действует по принципу тибетского барабана. С героем ничего не происходит, а барабан похорон крутится. Горе героя, которого у него нет, объективно изливается специальными плакальщицами, сам же герой повести в это время получает субъективное удовольствие от беседы со сторожем.

Третий пример. Поведение людей на похоронах определяют ритуализованные формы. Если бы не было этих ритуализованных форм, то субъективно вынести прощание с близкими было бы невозможно. Ритуал определяет степень напряжения и ослабления чувств. Он указывает, когда плакать и кричать, когда стоять и когда идти, когда биться в истерике и когда покорно отдавать себя в умиротворяющие руки близких. В нем время плакать и стенать сменяется временем, когда садятся за стол и едят обильную пищу. Ритуал предназначен не для природы, а для человека, приведения его в состояние, которое возможное делает реальным. Один миссионер рассказывает, как он наблюдал обряд вызывания дождя. После обряда появилась тучка, и пошел дождь. «Неужели, — спросил он туземцев, — вы верите, что вы своими действиями оказали влияние на природу?» Туземцы рассмеялись. Обряд был не для дождя, а для самих туземцев. Они должны были сделать все, что от них зависело, чтобы пошел дождь.

### **3.3 Пресыщение и эмоциональная раскраска мира**

Мир предстает перед нами как набор разных запахов, звуков, цветов, как нечто твердое, мягкое или липкое. Тело истово верующего, по свидетельству Флоренского, может источать запах фиалок или ананасов. Липкое, по замечанию Сартра, вызывает у нас чувство отвращения.

Эмоциональное сознание выступает как скорая помощь при непереносимых интенсивностях жизни. Как действует эта помощь?

Прежде всего, она действует пресыщением чувства. В момент отчаяния мы бьемся головой о стену. Для чего? Для того чтобы усилить чувство, чтобы быстрее наступило пресыщение страданием, для того чтобы найти дно страдания.

Чтобы избавиться от непереносимой интенсивности жизни, мы рвем на себе одежду или волосы, стенаем, стимулируя себя сенсорными впечатлениями. В итоге физическая боль позволяет нам быстрее достичь бесчувствия, спасает нас от чувств на глубине уже-сознания.

Уже-сознание — это не мыслитель-колонизатор, покоряющий мир, а некое галлюцинирующее существо, пробирающееся на ощупь сквозь тьму неразличимых пейзажей внутреннего мира. Хождение на ощупь в темноте приводит нас к стереотипу, укрываясь в котором, мы защищаем себя от самих себя. Разбрасывая вокруг себя стереотипы, мы фактически испытываем мир своими внутренними ритмами. Отмена заранее предвкушаемого переживания непереносима для любого человека.

Непереносимой интенсивности жизни мы всегда противопоставляем свой аутизм, который проявляется в зарядении объектов внешнего мира внутренними смыслами. Эмоционально раскрашивая мир, мы выделяем в нем значимые объекты. К ним относятся голоса и лица близких людей, предметы, сросшиеся с субъективностью уже-сознания, как, например, игрушка из детства или лопата, которой копал дед.

Человек — эмоциональный художник мира. Даже пространственная ориентация носит эмоциональный характер, ведь движение может идти как слева направо, так и справа налево. Например, на Западе левая сторона понимается как нечто пассивное и угрожающее, напротив, правое — как активное и благодатное. Поэтому движение обычно идет слева направо. От угрожающего к умиротворяющему, от пассивного к активному. И, следовательно, западную живопись следует рассматривать, двигаясь слева направо. Но на Востоке, в Китае, левое понимается как нечто праздное, бездеятельное. Оно считается сопряженным с

мужским началом и понимается как нечто высшее. Правое рассматривается в качестве низшего. Правой рукой подносят пищу ко рту, а это низшая работа. В этой стороне проявляется женское начало.

Проецирование вовне собственных жизненных ритмов наталкивается на инородные ритмы. Они могут совпадать или не совпадать. Точки совпадения воспроизводятся, повторяются. То, что повторяется, воспринимается как нечто вполне надежное, прочное, предсказуемое. Там, где мир повторил себя, появляется возможность для объективации смысла. В точках повтора уже-сознание привязывает себя к миру. Ожидаемое поведение вещей радует, нарушение стереотипа вызывает испуг, отвращение. Аутистическое сознание не приемлет любое изменение, любое препятствие.

Все, что выходит за пределы спонтанной имманенции, не имеет никакого значения. Если бы эти значения были, то они бы посылали побудительные сигналы, мы на них принуждены были бы реагировать, и никакой свободы у нас бы не было. Стереотипы как структурированный план имманенции концентрирует в себе огромную эмоциональную энергию. Часть этой энергии переносится на объекты внешнего мира, которые заряжаются внутренними смыслами, от них уже не отделимыми. Появляются гадкие предметы, отвратительные создания и прекрасные пейзажи. Аутистическая стимуляция заглушает неприятные воздействия внешнего мира. Приятное аутист извлекает из своего тела, неприятное проистекает из внешнего мира. Контакт с чужими людьми вызывает у него ужас. Но и с матерью у аутиста нет эмоциональной взаимозависимости. Он начинает ее контролировать и требует ее непрерывного присутствия.

Эмоциональные стереотипы могут быть запущены из любого состояния сознания. Любое событие может вызвать любую эмоцию.

### **3.4 Чувство вообще**

Чувство вообще — это трансцендентальная схема внешнего

чувства, но не само чувство. Это чувство до встречи с предметом чувства, некое синтетическое априори. Общее чувство узнается как чувство полноты жизни, ибо полнота жизни не является чувственно воспринимаемой. Она является доопытным опытом чувственности. Помимо этого, общее чувство узнается по чувству смутной неясной неотдифференцированной тревоги. Эта тревога не имеет причины, напротив, она предваряет всякую конкретную причину и в этом смысле также относится к доопытному синтезу чувственности. Общее чувство не может указать на причину опасности, на источник боли, не может различить огромное и опасное.

### 3.5 Синестезия

Синестезия — это соответствие между запахом, цветом, звуком и формой, устанавливаемое той или иной эмоцией. Эмоции притягивают к себе материал чувственности: штрихи, овалы, пятна, звуки, цвета, склеивая все это в образы. Для того, чтобы быть клеем, эмоции нужно быть беспредметной и амбивалентной. Благодаря этим свойствам мы можем нырнуть в эмоциональный тоннель со звуком, а вынырнуть с формой.

В «Философии культа» П. Флоренский сочувственно цитирует мысль о том, что всякая эмоция, всякие чувства и даже многие идеи могут иметь переложение на язык запаха<sup>116</sup>.

«Я ем, — говорил Сартр, развивая ту же тему, — розовое так же, как вижу сладкое»<sup>117</sup>. Пахнущая эмоция, возможность есть розовое и видеть сладкое указывают на то, что принято называть синестезией, или областью первичных синтезов. В этой области сознание не различает, а произвольно соединяет звук, цвет, запах и форму. Оно видит ушами, слышит глазами, чувствует нутром, всем телом. Знаковое сознание приходит в ужас от хаоса чувств. Оно негодует, а душа художника довольна. Художник стремится к активным синтезам чувств. Скрябин сочиняет цветомузыку. Чюрленис создает звукоцветовую живопись. Васильев ставит синтетические спектакли.

Синестезия — это смысловая связь цвета, формы, запаха. Например, форма может иметь эквивалент в виде звука и цвета. Эти эквиваленции составляют первичный опыт отношения человека к вещи, которому предшествует его отношение к самому себе.

Синестезия означает возврат от дифференцированного предметного чувства к трансцендентальной схеме чувства вообще, в котором образы звуков не отделены от образов цвета, вкуса и т. д. К априорному синтезу относится попытка цвет заменить звуком, вкусовое ощущение — звуковым ощущением или цветом. Некоторые цвета могут вызывать оскмину. Свет может резать, звук скрести. Звук можно ощупывать, и при ощупывании он может казаться гладким, мягким. А свет может восприниматься холодным. В «Философии духа» Гегель рассказывает о крестьянине, у которого проснулась удивительная способность обоняния, и он, как собака, пошел по следу преступника и нашел его. Он же рассказывает об удивительной способности чувствовать воду под землей, видеть не глазами, а подмышками.

Возьмем любимое психолингвистами стихотворение А. Рембо «Гласные». В нем «А» черное, «Е» белое, «У» зеленое, «И» красное, «О» небесного цвета. Для Рембо цвет — фундаментальная характеристика мира. Цвет травмирует Рембо, раздражает его, требует ответной реакции. Рембо — поэт, на него также сильно действует звучание букв. Между звучанием и цветом может устанавливаться корреляция.

Толстой видел людей геометрически. Почему? Потому что геометрические формы изначально сформировали опыт отношения Толстого к миру. Один человек исчерпывается фигурой круга, другой — треугольника, третий — зигзага. Один поэт так выражал отношение к миру:

*Я с детства не любил овал,*

*Я с детства угол рисовал.*

Скрябин пытался перевести музыку на язык цветомузыки. Схема

восприятия цвета доопытна. Но опытный образ белого у казаха сопряжен с молоком, у русского — со снегом, у узбека — с хлопком. Трансцендентальная схема восприятия женщины в Индии дает образ женщины-коровы, в России — образ женщины-голубки, в Египте — образ женщины-гусыни, в Японии — образ женщины-змеи.

В своей книге «О духовном в искусстве» Кандинский попытался найти смысловую связь между цветом, звуком и геометрической формой. Он полагал, что желтый цвет, заключенный в геометрическую фигуру, напоминает звук трубы. Оформленный цвет, согласно Кандинскому, уже сам по себе является образом.

Некоторые языковые обороты до сих пор несут в себе печать довербального опыта общения с вещами. Например, «кислая мина», «соленая шутка», «горькая радость», «круглый дурак», «молоко на губах не обсохло».

### **3.6 Вторичная депривация**

Переживая непереносимую интенсивность, человек прибегает к приемам вторичной депривации. Он затыкает уши, закрывает глаза, прикрывает лицо руками, отворачивается, поворачивается спиной. Многое нами как бы забывается. Мы перестаем видеть очевидное, отказываемся понимать элементарное. Наше сознание откладывает переживания во времени, и мы пугаемся, когда все уже закончилось. Все эти смещения, сдвиги, пропуски, замены и отсрочки запускаются уже-сознанием. Поэтому нервный срыв — это наша стихия, а патология — наша норма.

### **3.7 Выдвинутость в ничто**

Опыт ничто имеет лишь только человек. А почему? Потому что человек — это субъективность, ускользающая от своей объективации. Опыт ничто сам себя удостоверяет. Выдвинутость человека в ничто позволяет ему обгонять изменения в мире чужойности, а также позволяют пережить непереносимую интенсивность жизни. Пережить — значит встретиться с

невозможным и остаться после этой встречи самим собой.

Непереносимое незабвенно, его нельзя забыть. Это значит, что его нельзя пережить и отослать в прошлое. Незабвенное можно только вытеснить, выдвинувшись в ничто. Но вытесненное не исчезает, оно вновь и вновь возвращается из будущего в виде образов, которые терзают человека. И эти образы — это не память о прошлом, а вестники того, что еще грядет.

Эриксон выдвигает в ничто связывает с чувством стыда. Стыдиться — значит сознавать, что на тебя смотрят, а ты не спрятан, не скрыт. Ты выставлен на всеобщее обозрение, хотя ты не готов быть видимым. И вместо того, чтобы желать уничтожения мира, ты желаешь уничтожение себя. Стыд — это гнев, обращенный против себя. Эриксон выступает против эксплуатации чувства собственной ничтожности. Он против того, чтобы можно было человека пристыдить, заставляя его выдвинуться в ничто. Чувство стыда, на его взгляд, порождает бесстыдство у человека, а также желание выкрутиться из ситуации, ускользнуть или симулировать.

Стыд — это не плохое чувство примитивных народов, как думал Эриксон, а суд одного «я» над другим «я» в человеке. Без этого самоосуждения не может быть стремления человека быть в порядке перед самим собой.

#### **4. Игры в прятки с миром**

На третьем уровне уже-сознания происходит столкновение двух стратегий — желаний и возможности. Это столкновение расширяет первичный опыт общения с миром. С одной стороны, я хочу, но с другой стороны — не могу, не получается. Почему я хочу и не могу? Значит ли это, что мне что-то мешает? Что же мешает? Не мешаю ли я себе сам? Это расширение первичного опыта связано с узнаванием того, что мне мешает мир. Помехами мне дает о себе знать бытие того, причины действия чего лежат не во мне. На этом уровне сознания мы занимаемся самими собой, своими переживаниями. Чтобы избавиться от страха, его нужно контролируемым образом пережить, вернее, еще раз повторить

пережитое. Например, заглянуть в страшный подвал с чудовищами и убежать. Ребенок фантазирует на темы страшного, получая в фантазиях контроль над испугавшим его впечатлением.

Но ведь есть и то, что я могу. Но почему я не хочу того, что могу? Нельзя ли хотеть того, что можешь? Ответ на этот вопрос расширяет первичный опыт общения с самим собой. А это значит, что и в плане имманенции обнаруживается что-то трансцендентное, препятствующее моему «хочу». Это трансцендентное требует нуминозного переживания, появляясь в плане имманенции не как нечто случайное, а как результат самоограничений, накладываемых на свою самость.

Так начинаются игры в прятки с миром. Элементом этой игры является выдвигание человека в ничто. Почему в ничто? Потому что человек не находит себя в сущем. Он ничто из того, что есть. Его субъективность ускользает от любых объективаций. Отрицание — главный род ничтожения. Помимо этого ничтожат также, по словам Хайдеггера, действия наперекор, презрение, горечь, лишения, беспощадность запрета. Сартр добавляет еще к этому списку и гниение, ржавчину, стрельбу и разрушение.

Трансцендирующее существо, по словам Хайдеггера, «заранее всегда уже выдвинуто в ничто, без которого оно не могло бы встать в отношении к сущему, а, стало быть, также и к самому себе. Без изначальной раскрытости ничто нет никакой самости и никакой свободы»<sup>118</sup>. И далее: «Только в светлой ночи ужасающего ничто впервые достигается элементарное раскрытие сущего как такового: раскрывается то, что оно есть сущее, а не ничто»<sup>119</sup>.

От прекрасно сказанных слов Хайдеггера все же остается осадок чего-то непроясненного и даже отталкивающего. Во-первых, что значит «заранее» и «всегда»? Разве «выдвинутость в ничто» не означает одного: отнесение к себе в плане своей имманенции. Выдвинутость в ничто имеет смысл, если она обеспечивает первичность опыта воздействия на себя вне связи с сущим. Только отношение к самому себе делает возможным и отношение к

сущему. Без этого отношения к сущему мы и есть сущее. И никакая подпорка в виде ничто нам не поможет.

«Ночь ужасающего ничто» — это не то, что пугает, это не что иное, как желанное самораскрытие человека в своих грезах, а ничто — это лишь момент воздействия на самого себя.

Для человека родиться — значит уже выдвинуться в ничто. Первым свидетелем встречи с ничто является улыбка, а затем и смех, обращенный к сущему из-за спины ничто. Смеется тот, кто рискнул испытать себя и, значит, рискнул испытать собой мир. Аутист не исследует среду. Ему не важны знания. Он все время возвращается к прошлому испугу, чтобы вновь и вновь успешно пережить его.

По замечанию психологов, выдвинутость в ничто связана с такими действиями ребенка, как: раскачивание на качелях, любовь к страшным сказкам, игра в разбойников, подбрасывание маленьких детей и, самое главное, с кривлянием, которое иногда сопровождает человека всю его жизнь. Такая выдвинутость в ничто лишь усиливает ощущение нашей защищенности и уюта.

На третьем уровне падения сознания в магическое главной проблемой становится диалог. Ребенок-аутист смотрит в глаза собеседника, но реакции его не видит. Его монолог разворачивается без учета мнения слушателя. Он специально поступает неправильно, чтобы вызвать гнев родителей в присутствии других людей и пережить его. Ребенок, провоцируя близких ему людей, уже чувствует роль и влияние целого, к которому он захочет принадлежать.

## **5. Чувство принадлежности к целому**

Чувство принадлежности к целому возникает на переходе от уже-сознания к я-сознанию, самым поверхностным слоем которого является язык. Чувство принадлежности к целому является первичным социальным опытом. Весь этот опыт концентрируется в чувстве смущения. На четвертом уровне падения сознания в

магическое аутизм наименее глубок, ибо здесь ищут поддержки другого, эмоционального донора аутиста. По словам Никольской, на этом уровне сознания аутисты становятся сверхправильными, педантичными детьми. Они патологически застенчивы, не могут смотреть в глаза, стараются отвернуться. Доминантой четвертого уровня сознания является скорее некое Мы, чем другой и борьба за признание другого. Мы — это наблюдаемая сущность, в которой имя и именуемое совпадают. Примером принадлежности к целому является особая телесность, которая узнается разными способами. Например, она позволяет одному человеку есть лимон, а другому — ощущать оскмину, одному терпеть боль, а другому — кричать от боли. Если есть граница целого, то существуют и нарушения этих границ, а значит, существуют и табу, запреты. За соблюдением правил следит внутренний полицейский, то есть самоконтроль в виде чувства вины, стыда и совести.

Желание координируется теперь уже не только с моим «могу», но и с внутренней самооценкой. «Хорошо» — не совпадает с «могу», а «могу» — с «хорошо». «Я могу», но это нехорошо, «я хочу», но это плохо. Но здесь возникает новая проблема: нечто хорошо, но мне этого не хочется, я должен, но я не могу. В этом случае появляется феномен отложенного аффекта, смещенной эмоции, которая преодолевается в нуминозном переживании.

### **5.1 Нуминозное переживание**

Самым простым примером нуминозного переживания является обнаружение внутри себя того, что от тебя не зависит, что не подчиняется твоим желаниям и твоему «могу». Это значит, что в плане имманенции обнаружилось трансцендентное. Переживание присутствия трансцендентного в плане имманенции и составляет смысл нуминозного переживания. Присутствие трансцендентного является одной из форм присутствия человека по отношению к самому себе, а именно — присутствия, в котором человек смотрит на себя с отрицательной точки зрения, ограничивает себя. Нуминозное переживание прожигает скорлупу одиночества и сплачивает в мистериальном хоре вокруг одного и того же всех

первобытных шизофреников и аутистов.

Нуминозное переживание трансцендентного является тем основанием социальности, которое рождается внутри имманенции и указывает на свой религиозный характер.

## 5.2 Вифлеем

Многие думают так, что высшие коллективные ценности заданы присутствием другого, но если бы это было так, то тогда рождение Христа было бы простой фактичностью, которая исчерпывается тем, что он родился в Вифлееме, и, следовательно, никакого нуминозного переживания факт рождения Христа вызвать не может. Нуминозное переживание возникает в том случае, если Христос рождается в твоей душе по законам твоей души, но независимо от тебя. Вифлеем — это твоя душа, и пока он не родится в твоей душе, ничего не будет решено и все будет неопределенным. Но вот этого-то рождения социуму и не нужно. Социум не нуждается в нуминозном переживании, ибо он допускает возможность и необходимость движения человека по логике социальной ситуации, в которой слово «плохо» означает то, что неприемлемо для социума. Чувство принадлежности к целому религиозно, оно основано на жертве и, следовательно, на крови. Флоренский пишет: «Кровавые жертвы — основы всякой религии»<sup>120</sup>. Без крови трудно быть чутким к зову трансцендентного. Социум требует лояльности, он основан на языке и всеобщем эквиваленте.

Толстой говорит об отношениях Наташи и княжны Марьи: «Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собой». Согласие между ними — это не тень присутствия социума, это чувство принадлежности к целому, к Богу. Чувство принадлежности к целому означает, что только вместе люди могут быть людьми, «ибо человеческое в нас основывается на множестве проявлений выученного поведения, сплоченных в бесконечно хрупкие и никогда не передаваемые по наследству структуры»<sup>121</sup>. Когда люди теряют ощущение того, что они могут

полагаться на мудрость этих структур, они, как говорит Мид, сходят с ума. Страх потери этих человеческих структур «так глубок, что может распространиться на самые малые действия. Малейшие детали поведения человека, — какую еду он ест, когда, с кем и на тарелках какой формы, — могут стать для человека необходимыми предпосылками чувства сохранения его человеческой сущности»<sup>122</sup>. О пластичности человека говорят четыре кризиса.

### **5.3 Четыре кризиса ребенка**

Существует то, что можно назвать самостью без «я», общим ядром, сохраняемым всеми людьми. Утрата этого ядра означала бы утрату человечности. По словам Мамардашвили, человечество есть поток, проходящий через все особи. Если он проходит, есть человечество. Если нет, нет человечества. Прохождение этого «тока» через детей по-разному описывается в литературе.

С чего начинается ребенок? По Фрейдю, с аутистического удовольствия. С игры галлюцинаций. Рот — главный источник удовольствий ребенка на первом году жизни. По Эриксону, человек начинает с реалистического отношения к миру. Если ребенка аккуратно кормят, то у него появляется базисное доверие к миру. Если неаккуратно, то у него появляется недоверие к миру. Пиаже видит суть дела в умении различать своих и чужих, в способности удерживать образ объекта в отсутствии объекта.

На мой взгляд, любой ребенок — аутист, который, действуя на себя, учится управлять поведением окружающих его людей. Ребенок — это чистый крик, гласные без согласных. Его движения — это согласные. Это его письмо самому себе, которое нужно будет прочесть и превратить в жест. Крик и движения — органы его самовозбуждения. К двум годам они встретятся в речи, которая соединит крик и жест, гласные и согласные.

По Фрейдю, человек становится взрослым, отождествив себя с гениталиями. Половые органы превращаются Фрейдом в органы самости. Половая идентификация человека оказывается не

физическим фактом, а психологической актуализацией воображаемого. По Эриксону, зрелость человека связана с формированием у него «я». Деграция человека связана с раздвоением «я», с потерей его цельности. Иными словами, если следовать за мыслью Эриксона, то получается так, что, чем банальнее человек, тем прочнее у него «я». Но у каждого человека есть два «я». Одно — языковое, другое — воображаемое. И между ними происходит со-ведение. У Пиаже о зрелости человека свидетельствует абстрактное мышление, которое является четвертой стадией развития человека. Большинство людей не может достигнуть этой стадии.

На мой взгляд, зрелость — это социально принимаемая форма смерти в тебе ребенка, отказа от самости. Те дети, которые не захотели умирать, не согласились с доминированием над собой объекта, внешних обстоятельств и сохранили свой аутизм, стали называться творчески одаренными, но больными, девиантами. Ибо у них есть два «я», одно из которых следит за другим, то есть со-ведает. Поскольку оно следит, постольку я знаю себя, совершившим дурное деяние. Одно «я» грешит, другое следит. Это второе «я» со-ведает.

В психологии принято выделять четыре кризиса развития ребенка. На мой взгляд, кризис первого года ребенка — это не что иное, как кризис его аутизма. Этот кризис, по сути дела, состоит в том, что ребенок не желает слушать слово, он не желает быть послушным. Он бежит, не останавливаясь на просьбу остановиться, или стоит, несмотря на просьбу идти.

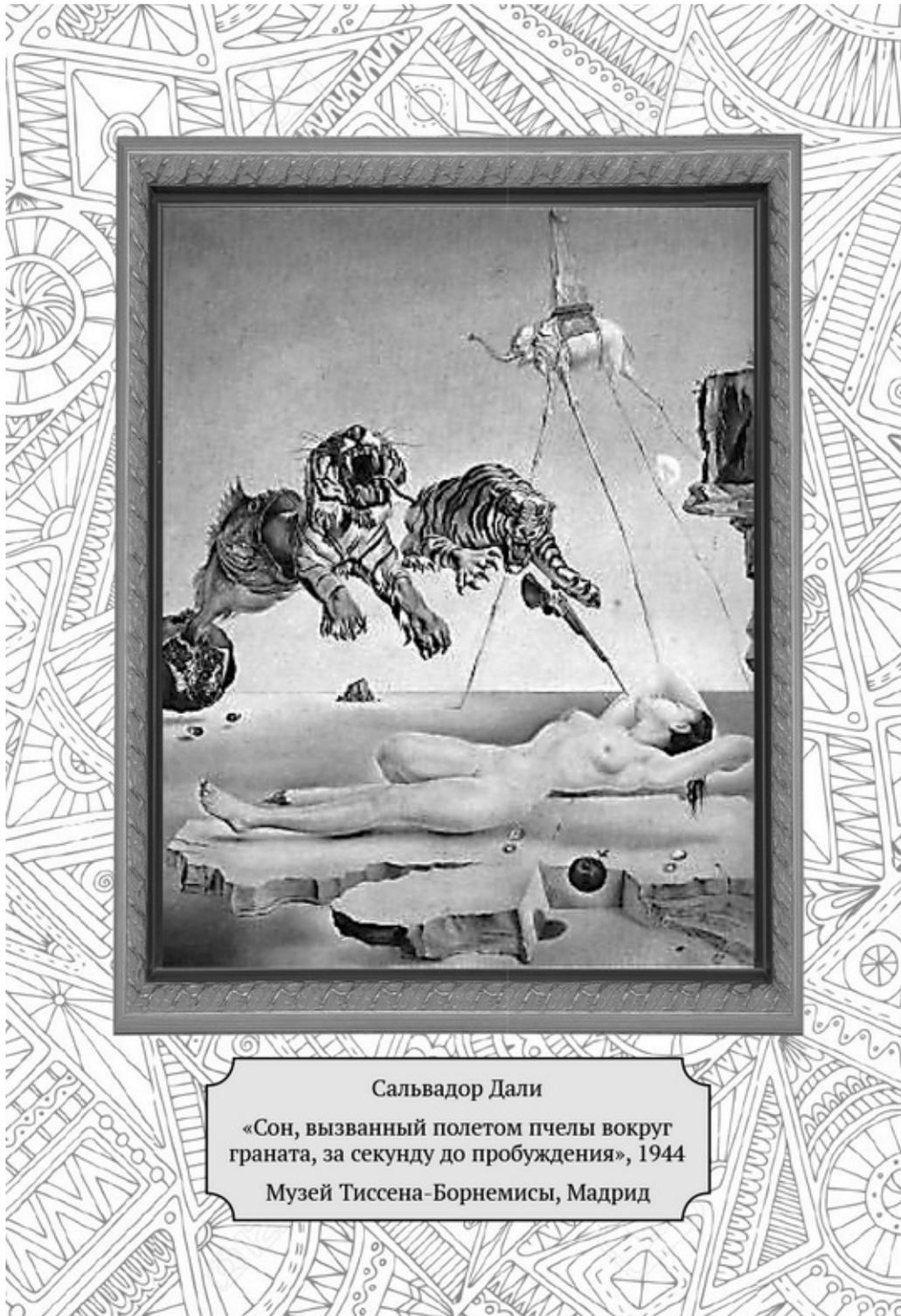
Выготский не согласен с тем, что кризис первого года — это кризис аутизма ребенка. «С первого взгляда, — пишет Выготский, — может показаться, что младенец совершенно или почти асоциальное существо»<sup>123</sup>. Но это заблуждение. Ребенок, на его взгляд, с первой минуты своей жизни опосредован взрослым, то есть социальным. С Выготским солидарен Эриксон, который увидел первые признаки социальности в готовности младенца переносить исчезновение матери из поля зрения.

Вопреки влиянию взрослого, на которое ссылается Выготский, ребенок все-таки реагирует первоначально на звуки своего голоса, а не голоса взрослых. Асоциальность детей проявляется также в том, что дети говорят друг с другом, но никто никого не слушает. Согласно Пиаже, ребенок в один год даже не отличает людей от вещей. Выготский с этим согласен, но объясняет этот факт тем, что ребенок не различает предметное содержание и социальное.

Кризис третьего года жизни ребенка состоит в том, что он пытается сохранить свою спонтанность, свободу и усиленно сражается с запретами, с нормами, с социумом, проявляя тягу к самостоятельности. Он упрям и несговорчив.

Кризис семи лет связан с тем, что в качестве другого выступают для ребенка не близкие, а сверстники. Язык обеспечивает повсеместное присутствие другого. Социализация ребенка ведет его к скрытому сопротивлению. Теряя непосредственность, ребенок паясничает, кривляется и строит из себя шута. Дети дразнят взрослых, совершают рискованные выходки и создают свои правила и свой ритуал, которые отличаются от взрослых своим содержанием, но не формой.

Кризис четырнадцати лет — это время обращения к «я» как к языковому костылю. Это кризис самости без «я». «Я» берет под контроль самость. Начинается история человека как вербального автомата. Грезы у него остаются только в сновидениях. Его спонтанность становится контролируемой словом.



Сальвадор Дали  
«Сон, вызванный полетом пчелы вокруг  
граната, за секунду до пробуждения», 1944  
Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид

## Глава 7. Галлюцинации как самораскрывающаяся сущность

## **человека**

Галлюцинация — это восприятие. Поскольку всякое восприятие включает в себя воображение, постольку оно включает в себя синтез, соединение ощущений в предмет. Само соединение не может быть дано наглядно, как бы рядом с вещью. Это соединение является активным синтезом нашей субъективности. Субъективность раскрывает не суть внешней вещи, а суть человека, поэтому галлюцинацию следует понимать как самораскрывающуюся сущность человека, как доопытное созерцание единичной всеобщности.

### **1. Типы галлюцинаций**

Галлюцинации подразделяются по органам чувств на: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные. Галлюцинации бывают истинными и ложными. Истинные — это те, которые проецируются вовне и неотличимы от реальных восприятий. Они имеют яркую окраску. Ложные — это галлюцинации, которые воспринимаются внутренним чувством и локализуются во внутреннем поле сознания. Они ощущаются как результат воздействия какой-то внешней силы. При таких галлюцинациях слышат голоса и вступают с ними в разговор.

### **2. О мнимом образе**

Галлюцинация — это не мнимый образ какого-либо предмета. Образы, как и чувства, не бывают мнимыми или ложными. Они являются такими, какими их испытывает наша душа. Если Петров-Водкин видит коней красными — значит они для него красные, и бессмысленно ему объяснять, что они на самом деле серые, потому что и серые кони — это фантом нашего коллективного воображаемого.

Если ребенку страшно спать в темной комнате, ибо ему чудится, что кто-то спрятался под кроватью, то это значит, что под кроватью кто-то есть. И бессмысленно в аналитически ясной форме объяснять, что там никого нет. Галлюцинация — это не иллюзия, не

ошибка, не искажение реальности, а сама реальность, которая заставляет людей во что-то всматриваться, озираться, отмахиваться, обороняться, затыкать уши, спасаться бегством и т. д.

### **3. Куры и галлюцинации**

Если галлюцинация — это восприятие несуществующего объекта как существующего, то галлюцинируют ли куры? Например, куры клюют зерно, которого нет. Голодные скворцы ловят несуществующих мух. И куры, и скворцы нуждаются в пище. Зерно и мухи — это значимые внешние раздражители, то, что запускает определенное поведение организма. А если раздражителей нет, но организм уже готов выдать поведенческую реакцию, удовлетворяющую голод, то реакция не может не состояться. Но эта реакция будет нервным срывом, смещением их поведения.

Куры и скворцы не могут воспринимать несуществующее как действительно существующее. Для этого нужно воображение. А инстинкт и воображение — вещи несовместимые.

Серые гуси могут купаться в пыли, хотя все их движения имеют смысл, если они купаются в воде. Их купание — это пустая реакция организма. Пустые реакции организма можно вызвать гормонами. Используя гормоны, кошку можно заставить охотиться на несуществующих мышей. Но нельзя при этом сказать, что кошка галлюцинирует.

Во всех этих случаях мы имеем дело с биологическими автоматами, которым достаточно срабатывание рефлекторного кольца. И в строгом смысле слова мы не имеем права говорить о галлюцинирующем животном, ибо в этом случае нам нужно будет признать, что курица иногда выходит за пределы природы. А она никуда не выходит, никаких побудительных сигналов среды не тормозит. Наоборот, она ведет себя глупо с биологической точки зрения, смещая свои реакции, как будто все дело состоит в клевании, а не в абсолютной значимости для нее зерна.

### **4. Кант и пустые желания**

В «Критике способности суждения» Кант пишет: «Для антропологии представляет собой немаловажную задачу исследование того, почему природа наделила нас склонностью к такой бесплодной трате сил, как пустые желания и стремления (играющие, конечно, большую роль в человеческой жизни)»<sup>124</sup>. О чем идет речь? О том, что человек желает того, что совершенно невозможно. Например, он желает, чтобы случившееся не случилось. Человек напрягает силы от пустых желаний и невозможных представлений, чтобы сделать действительным их объект. По сути дела, у Канта идет речь о галлюцинациях, о пустых желаниях, которые вызывают стремление к ним. Ведь галлюцинировать — значит обладать способностью через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений. А быть причиной действительности предметов — значит полагать, что в мире есть вещи, которые существуют, если мы к ним относимся как к чему-то действительно существующему.

Проблемы начинаются тогда, когда галлюцинации и практически оправданные образы, обладая равной силой влияния на поведение, вступают в противоречие. В этот момент человек начинает раздваиваться, существовать в двух измерениях. Шизофреник может сидеть в кафе и пить кофе и одновременно верить, что он посланник небес, ибо он постоянно слышит голос Бога.

При глубоком эмоциональном переживании у всех у нас возникают галлюцинации, которые могут быть положительными и отрицательными. Отрицательные — это когда не видят то, что есть. Положительные — это когда видят то, чего нет. При этом решение вопроса о норме принадлежит социуму. Что видит большинство, то существует. Чего не видит большинство, то не существует. В соответствии с этим устанавливается граница девиации, граница между нормальными и ненормальными.

## **5. Платон и неистовства**

В «Федре» Платон обсуждает тему любви. Лисий утверждает, что невлюбленный лучше влюбленного, потому что невлюбленный

разумен и рассудителен, влюбленный же скорее болен. Он собой не владеет, его покинул здравый смысл.

Во второй речи Сократа говорится о том, что Лисий не прав. Нельзя выбирать невлюбленного из-за того лишь только, что любовь — это неистовство. «Если бы неистовство было злом, то это было бы сказано неправильно» (244 b). Неистовство не только не зло, напротив, Сократ называет его величайшим благом, даром Божьим.

Платон пишет: «Те из древних, кто устанавливал значения слов, не считали неистовство (mania) безобразием или позором, иначе бы они не прозвали маническим (manice) то прекраснейшее искусство, посредством которого можно судить о будущем» (244 c).

Неистовство — это состояние, в котором человек подчиняет себя грезе, мании, растворяя себя в ней. И вот это неистовство, в котором человек неволен распоряжаться собой, согласно Платону, прекраснее рассудительности. Неистовство в людях от Бога, рассудительность — от человека. Для неистовства нет натуральных причин, тогда же как для рассудительности они есть. «Творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых», — говорит Платон (245 a).

В чем же природа неистовства? В том, что оно само себя движет. Нет ничего в естественном мире, что бы само себя двигало. А галлюцинация — это субстанция-субъект любого человеческого движения. Что из этого следует? Что неистовство не объясняется в телесных терминах, что оно не адаптивно, не служит приспособлению. К неистовству Платон относил: вдохновенное прорицание будущего — Аполлон, посвящения в таинства (мистерия) — Дионис, творческое неистовство — Музы, любовное неистовство — Эрот. А вот как спустя две с половиной тысячи лет описывает одно из неистовств Блейлер.

## **6. Блейлер о любви**

Что такое любовь? Любовь — это чувство. Причина любви — не в

том, кого любит, а в том, кто любит. Любовь — это социально приемлемое неистовство, укрощенная мания.

Блейлер, пытаясь проникнуть в душу человека, пишет: «Предметы, предметные представления, понятия замещаются одно другим, потому что у них есть какой-то, часто второстепенный общий компонент. Таким образом, дело доходит до запутанности образования символов. Нормальному человеку еще понятно, когда любовь, а иногда и любимый человек изображаются с помощью ясно видимого и осязаемого горения»<sup>125</sup>.

Иными словами, Блейлер говорит, что у любви есть символы, знаки, то, что представляет любовь. И все нормальные люди понимают, что, например, огонь, горение — это символ любви. Но все также понимают, что любовь — это не огонь. Это нормальное чувство, которого все ждут, хотят и которого все боятся. Что важно в рассуждениях Блейлера? Что он, как Лисий, называет неистовство злом и предпочитает ему рассудительность, знаковость, предметное замещение. Иными словами, Блейлер отказывается от неистовства, а поскольку, согласно Платону, любовь — это неистовство, постольку он отказывается и от любви. Для кого же в современном мире любовь остается неистовством, манией? Для шизофреников. Почему? Потому что шизофреники ни в грош не ставят знаки. Они не понимают референций и представлений, и поэтому они хотят чего-то подлинного. Шизофреник воспринимает огонь не как знак, не как метафору, не как представление о любви, а как самую любовь. Любовь — это огонь, который жжет и сжигает не символически, а реально. Галлюцинация огня, сжигания превращается у шизофреника в огонь, сжигание, то есть, как говорит Блейлер, в действительные ощущения огня. Любить — это значит ощущать огонь, гореть в огне. От чувства любви шизофреник получает ожоги, он сгорает, а не делает вид, что горит, то есть любит.

Согласно Платону, шизофреник неистов в своей любви. Блейлер осуждает это неистовство и выступает за любовь нормальную, ту, что не жжет. Эту любовь огонь всего лишь означает, символизирует

и представляет.

## 7. Делез о маниях и симулякра

Мания — это безумие человека, но это не болезнь. Распознать манию легко, потому что она неразумна.

Делез пишет: «Немало претендентов наперебой утверждают: “Это я — подлинно одержимый, это я — истинно любящий”»<sup>126</sup>. И вот среди соперников и претендентов начинается отбор, отделение истинных претендентов от ложных.

Но у Платона нет проблемы отбора. Какой отбор? У тебя либо есть ожоги, вызванные любовью, либо у тебя их нет. Есть неистовые, и есть разумные. Одни любят, другие вожделеют. Делез навязывает Платону проблему отбора. В работе «Платон и симулякр» Делез вводит предположением некоего третьего, то есть разумного, который захотел стать неистовым, оставаясь разумным, но разумного огонь не жжет, и Бог не дает ему даров неистовства. У неистовых и у разумных разная телесность. В одном случае это организм, в другом — телесность, управляемая галлюцинацией. Первые движимы извне, вторые движимы изнутри.

Допустив третьего, Делез пытается придать ему плодотворный вид. На мой взгляд, симулякр Делеза — это то же, что хитрость разума по Гегелю или человек-актер по Канту. В «Федре» Платон не ловит претендентов, не отбирает их, а рассказывает миф о душе. У Платона душа и мания связаны созерцанием божественного. Без мании нельзя увидеть Бога.

Без мании человек становится софистом, тем, кого нельзя поймать в принципе. Почему? Потому что софист находится за пределами истины и лжи, за пределами знания. Но за пределами истины и лжи мы находим неистовство любого творчества, дарование бытия тому, у чего его нет. За пределами истины и лжи находится Бог как творец. Но за этими же пределами находится еще и софист. Возникает вопрос: отличим ли Бог от софиста? Да,

отличим, манией, одержимостью идти по прямой, никуда не сворачивая. Софист — это не человек-кукла. Софист творит призраки, которые существуют не потому, что мы хотим, чтобы они были, а потому, что они показывают себя как ошибку восприятия.

Итак, Платон не ставит вопрос о соотношении образа и вещи, ибо Бог производит и то, и другое. Он ставит вопрос о творчестве, о безумии творящих. Симулякр — не ложный претендент, ибо он находится вне истины и лжи. Копии не участвуют в творении, а симулякр претендует на творчество. В конечном счете решение вопроса о симулякре и его судьбе зависит от того, совпадет ли симуляция с манией или нет. Если они совпадут, то обнаружат в себе дионисийскую машину. А если не совпадут, то симуляция окажется проделкой софиста.

## 8. Симулякр

Я приведу один пример. Вот ребенок, играя, берет палку и скачет на ней, как на лошади. В каком же качестве существует палка в игре ребенка? Если я скажу, что палка — это образ лошади, то это будет неверно. Ребенок может заменить ее веником, веткой и чем-то еще, и ничего не изменится. То есть в данном случае вещь следует за уже состоявшимся смыслом. Это как фигура коня в шахматах. Сама фигура может быть чем угодно, но ходить ею можно будет только по правилам.

Итак, палка — это не образ лошади. Но палка — это и не знак лошади. Иначе ребенку пришлось бы скакать на знаке, а не на лошади. По тем же соображениям палка не является и символом лошади. Палка — симулякр игры. Если мы ее уберем, то игры не будет. Она рассыпется. Или будет другая игра.

Поскольку между палой и лошадей нет никакого сходства, нет подобия, постольку палку можно назвать образом без подобия. Или симулякром. Ведь скакать на палке и скакать на лошади — это все же не одно и то же. Но симулировать — это не значит одно выдавать за другое. В симулякре нет обмана. Это не подделка, не имитация. Это просто тело фантазма. Материя, реализующая воображение.

Палка не претендует на родство с лошастью. Но и сама по себе палка не является симулякром. Она становится симулякром игры. Но для того чтобы она им стала, ребенку нужно покончить с ее фактичностью, нужно извлечь ее из мира реального и перенести в мир воображаемого, гиперреального. В этом мире происходит дипластия палки и лошади. Но за дипластией стоит мистериальный акт, который не очень удачно назван французскими философами симуляцией. Главное состоит в том, что в акте игры вызывается к жизни то, чего нет. Вот этот акт выведения и будет симуляцией. Благодаря симулякру ребенок становится наездником, а палка — лошадью. Симулякр строится не на различии, как думал Делез, а на уподоблении неподобного, на симуляции. Не потому палка становится лошадью, что есть между ними различия, и не потому, что есть какое-то трансцендентное, что их делает одним и тем же. А потому, что есть усилие уподобления, симуляция сверхреального.

Внешний наблюдатель не может схватить всю глубину симулякра, редуцируя его к наличному, ибо он вне мистерии, вне игры. Он в пространстве фактического, наличного. Для него палка — это палка, а ребенок — это ребенок.

Но внутри игры наблюдатель перестает быть наблюдателем. Он играет и поэтому перевоплощается. Симулякр отнимает у наблюдателя свойство наблюдения и включает в себя его точку зрения. Наблюдатель становится частью симулякра. В симулякре угол зрения наблюдателя включается так, что в любой точке, где находится этот наблюдатель в процессе игры, воспроизводится подобие, которое воспринимается как иллюзия. При этом никакого разрыва с реальным образом не происходит. Симулякр строится не на едва заметном искажении, не на разрыве с реальным образом, а на подобии, удерживаемом мистериальным порядком игры, ритуала или, как говорят французы, симуляции.

Если бы не было разъединительного синтеза дипластии, то не было бы мистерии, и палка не стала бы образом без подобия. В любом образе есть галлюцинации, склеенные эмоциями. Они есть и в образе справедливости, которая узнается как справедливость в

разных точках наблюдения только потому, что справедливость — симулякр социальной игры. То есть это подобное, о котором у нас есть внутреннее знание.

В симулякре резонируют все возможные заранее не согласованные сингулярные точки зрения. Поэтому низвергнуть платонизм — это не значит заставить симулякр выйти из глубины к поверхности и утвердить свои права среди образов, икон и копий. Это значит показать, что одно и то же возникает и существует в мистериальном порядке уподобления, в симуляции сверхреального, в которой нет ни объекта, положенного заранее как общий для всех точек зрения, так и нет привилегированной точки зрения. Подобное и одно и то же являются не внешним причинением, не моделью, а спонтанным общением без сообщения, кооперацией до всякой социальной упорядоченности. Симулякр мысли — это последний бастион мысли, это мысль до мысли.

Но есть не только палка, но есть еще и мальчик. В терминах Делеза палка не определима, ибо она ни на что не претендует. А мальчик, изображающий скачущего генерала, должен быть назван Делезом симулякром, ибо он, не будучи генералом, пытается выдать себя за генерала.

Но могу ли я о мальчике сказать, что он симулякр? Нет, не могу, ибо у него нет претензии стать генералом. Он маньяк, а не симулякр. Он не хочет занять место генерала хитростью, поэтому мальчика нельзя назвать образом без подобия.

## 9. Ницше и грезы

Ницше пишет в «Веселой науке»: «Мы, художники! Когда мы любим женщину, мы с легкостью проникаемся ненавистью к природе, вспоминая о всех отвратительных естественностях, которым подвержена каждая женщина; мы охотно обошли бы это вниманием, но, раз соприкоснувшись с этим, душа наша нетерпеливо вздрагивает и с презрением, как было сказано, взирает на природу: мы оскорблены, природа кажется нам вторгшейся в наши владения и осквернившей их неосвященными руками. Тогда

затыкают уши от всякой физиологии и втайне решают про себя: «Я не желаю ничего слышать о том, что человек состоит из чего-либо еще, кроме души и формы!» «Подкожный человек» для всех любящих — ужас и немыслимость, хула на Бога и любовь. — Ну так вот, то же самое, что ощущает нынче любящий по отношению к природе и естественности, некогда ощущал всякий почитатель Бога и его «святого всемогущества»: во всем, что говорилось о природе астрономами, геологами, физиологами, врачами, видел он вмешательство в ее драгоценнейшие владения и, стало быть, посягательство — и вдобавок к тому еще и бесстыдство посягателя! «Закон природы» — уже одно это выражение звучало для него богохульством; в сущности, ему очень хотелось бы видеть всякую механику сведенною к актам нравственной воли и произвола, — но, поскольку никто не мог оказать ему этой услуги, он по возможности сам утаивал от себя природу и механику и проводил жизнь в грезах. О, эти люди прошлого умели грезить, и для этого им вовсе не следовало прежде заснуть! — но и мы, люди настоящего, все еще слишком умеем это, при всей нашей доброй воле к бодрствованию и дневному свету! Достаточно лишь полюбить, возненавидеть, возжелать, вообще ощутить — на нас тотчас же нисходит дух и сила сна, и мы, с открытыми глазами и пренебрегая всяческой опасностью, взбираемся на самые рискованные стези, на крыши и башни бреда, без малейшего головокружения, словно бы рожденные лазать по высотам, — мы, лунатики дня! Мы, художники! Мы, утайщики естественности! Мы, сомнамбулы и богоманы! Мы, смертельно спокойные, безустаные странники по высотам, которые и видятся нам не высотами, а нашими равнинами, нашими гарантиями»<sup>127</sup>.

## 9.1 Художники

Мы художники во всем. В том, что мы делаем, и в том, что не успели сделать, поддавшись лености. В том, как мы ходим, танцуем, говорим, думаем и чувствуем. Наша жизнь — как полотно художника. Это плод нашего воображения. Когда мы устаем и наше воображение теряет силу, тогда в нашей жизни проступают черты естества, природы. Мы смотрим на эти черты и не видим себя. И

нужно очень сильно устать, чтобы увидеть в себе простую силу природы, предав забвению то, что мы художники, что нам знакомо неистовство любви.

## **9.2 Любовь**

Мы художники своей мысли и своего чувства. Мы первобытные маньяки, одержимые любовью, в которой зреет ненависть к тому, что не создано этим чувством. Наша любовь не невинна. Наше чувство амбивалентно. Нас можно легко оскорбить отвратительной грубостью естества, прикосновением неосвященных рук. С высоты своих грез мы с презрением смотрим на рабов случая, на утробу природы, на то, что по недоразумению называют реальностью. Ведь наша реальность — это наши грезы.

## **9.3 «Подкожный человек»**

Подлинная реальность проявляет себя в наших мечтах и галлюцинациях. Они затыкают нам уши, закрывают наши глаза. И мы бежим от всякой физиологии, от того, что находится под кожей, что чуждо любви, к тому, что взывает к ней. Мы бежим к лику, к душе и форме. Подкожный человек — отрада для анатома и ужас, немислимость для грезящего человека.

Бесстыдство натуралиста, копающегося в чреве земли, вероломство естествоиспытателя, выдумывающего законы природы, их богохульство заставляют нас уходить в себя, замыкаться, чтобы быть аутистами и проводить свою жизнь в грезах.

## **9.4 Сомнамбулы и «богоманы»**

Люди прошлого умели грезить. Они были хорошими художниками. Им не надо было засыпать, чтобы видеть сны. Мы рационалисты. Мы привыкли к дневному свету, у нас слишком развита воля к бодрствованию. Мы реалисты, которые привыкли спать тяжелым сном, сном без сновидений.

Но стоит нам ощутить себя, обернуться к своей забытой самости, как меняется наша оптика, и там, где недавно еще была одна сплошная механика, мы уже видим собственный произвол и свободу воображения. На нас нисходит сила сна, и мы при свете дня, с открытыми глазами, пренебрегая всяческой опасностью, взбираемся на крыши и башни бреда. И мы понимаем, что мы не прямоходящие обезьяны, не тела, набитые модулями сознания, не фортепьянные штифтики — мы лунатики дня, мы художники. Мы играем в прятки с миром, утаивая от себя его естественность. Мы сомнамбулы и аутисты. Мы богоманы, а не чревокопатели.

## 10. Галлюцинаторные практики

Галлюцинаторные практики — это практики экзистирования, трансцендирования и симуляции. Их нужно отличать от трансгрессии.

Воздействие на себя, обусловленное осознанием своей конечности, именуется экзистированием или, как говорят экзистенциалисты, это практика выхода за пределы себя, обусловленная встречей с ничто. Благодаря экзистированию человек открывает для себя свои возможности. Между бытием и ничто идет вечная борьба за обладание сущим. Наличное, то есть всякое присутствие, человек, экзистируя, отдает ничто, в котором он нуждается, чтобы быть. Экзистируют в той мере, в которой обладают возможностью галлюцинировать.

Трансцендирование ведет за пределы всякой реальности, то есть наличного и возможного, и учреждает горизонт, обусловленный существованием трансцендентного. Трансцендирование без актуализации трансцендентного невозможно.

Симуляция возникает в момент, когда нечто не может отсылать к чему-то еще, кроме своего присутствия, к какой-то иной реальности. Например, любое «я» создает перспективу двоякого движения человека: либо к себе, либо от себя. В момент движения от себя человек видит мир и не видит себя. Он начинает искать себя в мире и не находит. Мир оказывается пустым. В этой стратегии нет

никакой возможности для симуляции. Но человек может также двигаться к себе. В этом случае он не видит мир, но видит себя. И в себе он находит мир. Этот мир может быть дан симулятивно, и это присутствие не отсылает ни к какой реальности вне себя.

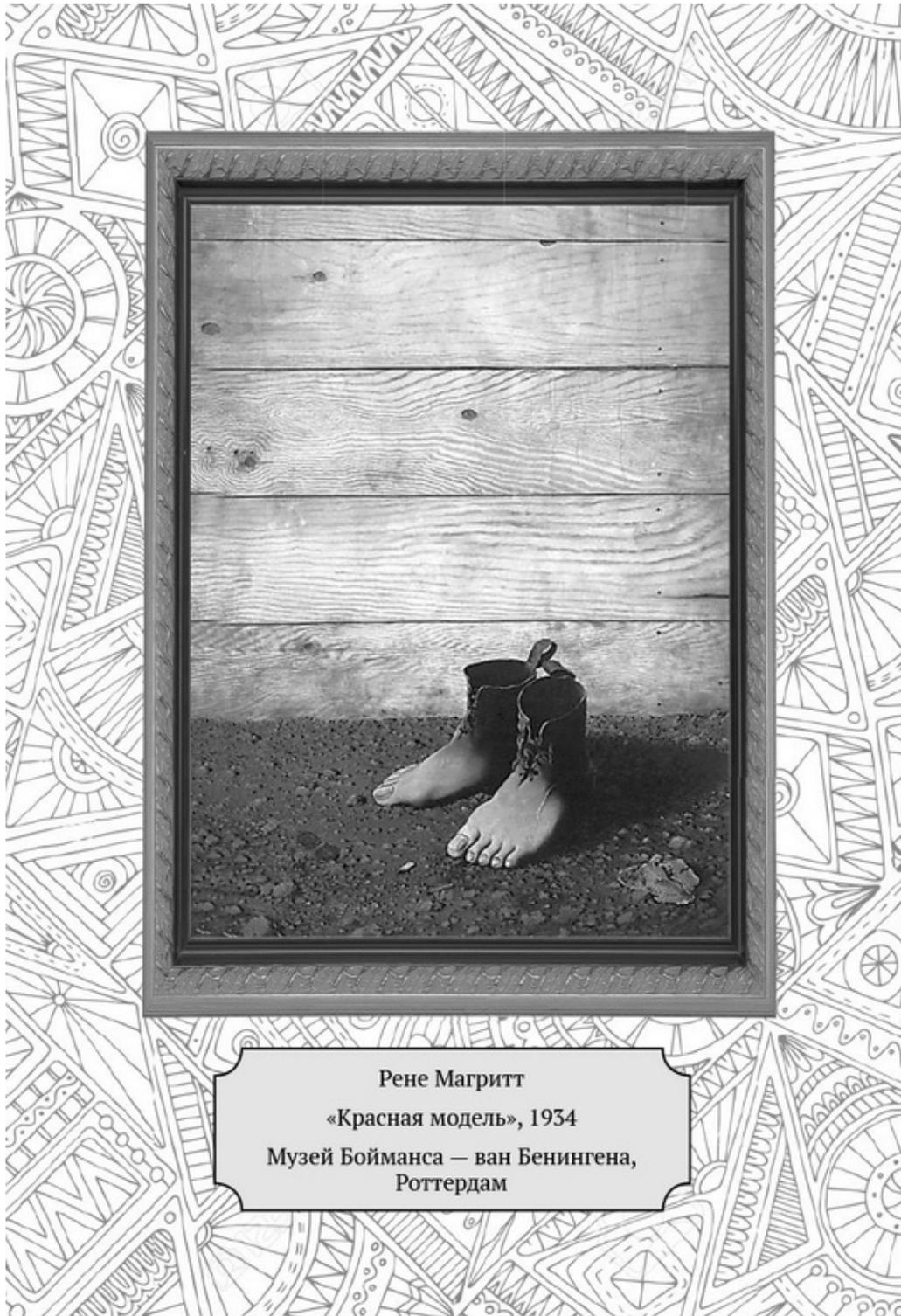
Трансгрессия связана с пересечением границы наличного, но это пересечение ведет от одного наличного к другому наличному. Пересечение границ наличного связано с изменением смысла. Смыслы также трансгрессируют, предавая забвению свой прежний облик и приобретая новый, как они, например, трансгрессируют при изменении пола или социального статуса.

## 11. Сон

Однажды Чжуан-цзы приснилось, что он стал мотыльком. И проснувшись, он уже не знал, кто он: Цзы, видевший во сне, будто стал мотыльком, или мотылек, которому снится, что он — Чжуан-цзы. Реальность — это объективированная галлюцинация. А галлюцинация — это актуализируемая реальность.

С Хаксли начинается попытка осознанного выхода за пределы повседневного, заканчивающаяся игрой уже не с миром, а с грезами. Кастанеда предлагал учиться осознанному сну. Для этого надо было научиться проносить в мир сна мелкие предметы из яви. Например, монеты, зажатые в кулаке. Во сне нужно было вспомнить о них, разжать кулак и посмотреть на монеты.

Во сне расширяется нетелесный опыт. В нем можно посмотреть на будущее, которого не будет, но которое могло бы быть. А также можно увидеть многомерное прошлое, ибо есть прошлое, которого не было, но которое могло бы быть. И эта его возможность является смыслом того, что не случилось. Несостоявшиеся события встречаются со смыслами состоявшихся событий в самости без «я».



Рене Магритт  
«Красная модель», 1934  
Музей Бойманса — ван Бенингена,  
Роттердам

**Глава 8.**  
**Самость без «я»**

Самость без «я» — это грезы, импульсы и желания человека, которые не могут укрыться в «я», ибо само «я» предстает в виде простой мании, галлюцинаторного неистовства. И поэтому наши желания проецируются в состав вещей, не имея к ним никакого отношения. А это значит, что самость без «я» состоит из пассивных синтезов воображаемого и реального. В пространстве этих синтезов никто не может сказать: «я испугался», ибо страх принадлежит вещи. Страх есть вещь, которую нужно бояться. Так поступают дети, которые имя вещи приписывают самой вещи.

Человек изначально окружен предметностью, обладающей некоторой эмоциональной изнанкой, внутренним содержанием. Вещи могут быть мерзкими, гадкими, прекрасными и уродливыми еще до того, как мы на них посмотрим, до того, как мы к ним прикоснемся. Из какой бы точки галлюцинирующего воображения мы на них не посмотрели, они будут восприниматься одинаково, как одно и то же. «Мышь в кармане» — это всегда страшно. И не потому, что это символ нашей беспокойной совести, а потому, что это мышь.

Самость без «я», рассеиваясь во множестве тел, не обладает никаким интенциональным сознанием. Она не рассматривает эйдетические предметы. Напротив, это предметы рассматривают самость, которая хочет скрыться от воздействия этого взгляда, ибо в нем предмет навязывает ей взгляд на себя. Создается ситуация, когда не мы смотрим, а, как сказал поэт, нас «деревья плохо видят на отдаленном берегу».

Самость, будучи основанной на произволе и воображении, вовлекается в движение множественных потоков тел дословного как то, что не приурочено языком к дискретно выделенному телу, и никто не смеет сказать, что у него есть самость. Потрясающим результатом этой неприуроченности, этой доречевой субъективности является наскальная живопись. Из факта существования наскальной живописи не следует факт существования живописцев. Наскальная живопись не результат мастерства человека, а след навязчивых галлюцинаторных

состояний, в которые попадали первые люди. Эти состояния нужно было приручить, обжить. Из них нужно было попытаться извлечь свою самость. Бессознательным движением самости рождалось сознание первых людей.

Для того чтобы было что-то, нужно не ничто, а бессмысленное движение самости, замыкающейся в некий круг самовоздействия. Круговое движение самости, рождающей предметность, выражено в стихах О. Мандельштама.

*И Шуберт на воде,  
И Моцарт в птичьем гаме,  
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,  
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,  
Считали пульс толпы  
И верили толпе...  
Быть может, прежде губ уже родился шепот.  
И в бездревесности кружились листья,  
И те, кому мы посвящаем опыт,  
До опыта приобрели черты.*

Термин «самость» придумал Юнг. Самость без «я» напоминает о продуктивности кантовского чистого воображения априори, за тем исключением, что это понятие не может быть заменено трансцендентальной апперцепцией и делает невозможным любое участие «я» в формировании первичных схем предметного мира. Самость без «я» открывает в себе внутреннюю возможность онтологического синтеза, который оказывается ничем иным, как субъективностью человеческого субъекта. Человек окутан галлюцинациями и образами, как младенец пеленками.

Самость без «я» имеет три признака: несовпадение с собой; воздействие на себя; свойство самоактуализации.

## 1. Несовпадение с собой

Самость без «я» не совпадает с собой. Где бы она ни была, она не может застать себя. Она всегда не там, и поэтому она состоит как бы из пропусков, промахов, непопаданий, которые не позволяют ей узнать себя. Она всегда не есть то, что она есть. Несовпадение с собой не позволяет ей оплотниться. Ее рок заключается том, чтобы не быть собой, а быть всегда либо сильнее себя, либо слабее себя. Поток, ток освобожденных грез через тела дословного создает в них притяжение к самости, образующей хрупкие структуры человеческого существования.

Произвол несовпадения с собой открывает перед человеком горизонт свободы. Он позволяет ему увидеть себя в пространстве и времени. Несовпадение с собой запрещает трактовать самость как присутствие, ибо она существует без указания на то, что существует. Совпадение с собой делало бы самость чтойностью и возвращало бы тела дословного в мир наличного. Самость — это не сущность, ее сущность состоит даже не в существовании, а в том, что, располагая себя в последовательности, она в каждый момент времени дана полностью и всеми своими частями. Полагая себя промежутком какого-то еще большего промежутка, она держит себя в напряжении пустоты, заполняемой грезами и их синтезом с материалом внешних раздражений. Самость — это не время, это то, что открывает в себе время как переход от одной иллюзии к другой и как последовательность галлюцинаторных ощущений. Зазор самости стимулирует работу воображения, пустота этого зазора не может быть заполнена знаками, ибо знаки — это всегда знаки различий, а не образы синтеза. Если бы пустоты самости когда-нибудь заполнились знаками, то тогда никто не был бы дан самому себе непосредственно, все было бы опосредовано, и различия вытеснили бы синтезы дипластии, которые дает нам наше воображение. Точка совпадения самости с собой известна под именем «я». «Я» — это точка, где прекращаются всякие грезы и воображение.

## 2. Воздействие на себя

Несовпадение с собой делает возможным действие на себя. Если бы человек совпадал с самим собой, то он бы на себя не мог воздействовать. Действует на себя не время, действуют на себя во времени. То есть несовпадением с собой создается время. Тогда как другой — это фигура не темпоральная, а топологическая. На другого действуют в пространстве.

Благодаря действию на себя выходят из себя и возвращаются к себе. Поскольку выходят из себя, постольку самость без «я» нельзя понимать как субстанцию. Действие человека на себя всегда предшествует действию на другого. Причина действия на себя — не в «я», не в теле, не во внешней среде, а в самости без «я». Только тот, кто встретил абсурд и сошел с ума, может быть причастен к самости. А его эмоции следует понимать как неразумный ответ грезящей самости на абсурд.

Несовпадение с собой означает, что самость как бы раздваивается, не находя себя на месте. Раздваиваясь, она в дипластии всякий раз заново преодолевает это раздвоение, формируя капризный амбивалентный характер своих образов. Пульсируя между крайними полюсами, самость предстает в качестве препятствия для самой себя. Иными словами, действуя на себя образами и галлюцинациями, мы создаем потребность в иллюзиях, и эта потребность более фундаментальна для человека, чем потребность в еде.

### **3. Самоактуализация**

Самоактуализация собирает рассеянное во времени в полноту одного момента. Эта полнота не имеет внутри себя времени и поэтому не может быть разделена на части. Отсюда следует, что самоактуализирующимися феноменами самости являются все так называемые полные предметы, а именно: стыд, смущение, ум, добро, красота, совесть.

Самость без «я» актуализирует себя в чувстве красоты, в чувстве покоя, с которыми связано бесцельное разглядывание человеком пламенеющего костра, вслушивание в журчание ручья, пение птиц

и т. д. Это вслушивание является не проблемой устройства мозговых структур, а током самости, который течет через каждого из нас и, следовательно, не принадлежит нам. Поэтому и наше сознание нам не принадлежит.

Самоактуализирующиеся феномены бытийствуют, как говорил Мамардашвили, исполнением своего собственного бытия вне представлений, референций и репрезентаций. Они вне истины и лжи, за пределами выполнения неких адаптивных функций и поэтому не могут быть поставлены в ряд соотношений с целями и пользой. Если бы не негативные коннотации актов симуляции, то самоактуализирующиеся феномены можно было бы назвать симулякрами.

Например, пока театр был мистерией и в нем пели козлиные песни спутники Диониса, он был пространством самоактуализации. После падения театра в бездну знака он стал театром представлений, пространством зрелищ и самовыражений.

Если возможное, реализуясь, становится наличным, то невозможное само себя актуализирует, упаковывая в конечное бесконечность. Актуализация невозможного происходит в игре, в ритуале, в культе.

### **3.1 Игра**

Играть — значит перевоплощаться, то есть давать своей самости без «я» новую плоть, другую телесность. Животные не играют, ибо они не перевоплощаются. Они не перевоплощаются потому, что у них есть аффекты, но нет свободных от организма эмоций. А эмоций у них нет потому, что любая эмоция представляет из себя энергетический взрыв, которым синтезируются, совмещаются несовместные полюса, создаются самые причудливые образы. Благодаря дипластии эмоция, как губка, впитывает в себя абсурд реальной ситуации и благодаря этому свойству позволяет человеку выйти сухим из воды. Эмоциональная дипластия делает возможной игру, переодевание, карнавал, присвоение знаков противоположной стороны.

Игра пульсирует вокруг мнимого, а не реального. В сей мнимости и есть ее реальность. Поэтому она носит не знаковый характер, а символический. Если бы она носила знаковый характер, то она была бы связана с приспособительным отношением к реальности. И тогда реальность, благодаря знаку, доминировала бы над игрой, устремляя к нулю воображаемое, мнимое. А без актуализации мнимого нет игры вообще. Поэтому семиотика игры — это насилие над игрой, это реванш реальности в борьбе с воображаемым.

### 3.2 Ритуал

Ритуал на санскрите обозначает приказ. Если в игре есть мнимости, то в ритуале нет мнимостей. Здесь все серьезно. Ритуал напоминает повседневности об актуализации невозможного в культе, который указывает на границы реального, создавая пространство сверхреального.

В результате ритуальной актуализации появляется внутреннее знание, которое всегда предшествует предметному знанию.

## 4. Объективация

Любой ребенок рождается аутистом, или, как говорит Пиаже, солипсистом. Он страдание объективирует, а удовольствие интериоризирует. Первая брешь в аутизме связана с улыбкой. Улыбаться — значит объективировать субъективность, то есть находящееся внутри вынести вовне. Например, можно объективировать иллюзию или грезу. Это значит, что зыбкое уже-сознание хочет зацепиться за чувственно воспринимаемую вещь, за случайную материю. В результате этого зацепления может появиться образ и одновременно идеальное. Если бы у нас было «я», то мы бы в него вкладывали наши фобии и желания. А поскольку мы иногда забываем о своем «я», постольку мы объективируем наши грезы.

Объективация — это попытка представить вовне то, что мучило внутри. То есть попытка избавиться от внутренних мук. Попытка поймать зыбь, прояснить тусклое мерцание чего-то незримого. И

если это незримое померещится в каком-нибудь изгибе камня, в линии куска дерева, то нам остается только там его поймать и запечатлеть. Так художник палеолита в наскальных образах животных освобождался от мучивших его галлюцинаций.

Если иллюзия получает статус вещи, то возникает объективированная иллюзия или, как говорил Ницше, практически оправданное заблуждение. Есть смысл представлять человеческую реальность как объективированную иллюзию.

Объективация грезы возможна в символе, в жесте, в крике, в знаке.

#### 4.1 Жест

Жест — это эмоция, которая оказалась вне самовоздействия самости, пытаюсь соединить тело и воображаемое. Самовоздействие она заменила воздействием на другого. Энергия этой эмоции работает не на самоограничение, а на ограничение другого. Уже-сознание не может овладеть организмом, ибо организмом уже владеет инстинкт. Уже-сознание пытается овладеть телом фантазма, грезы. Результатом попытки овладеть телом является жест. Жест — не знак, а смысл, выставленный уже-сознанием вовне. Если бы жест был знаком, то он был бы безразличен к направлениям движения смысла. Энергия жеста всегда направлена в одну сторону — в сторону другого. Ее нельзя заставить двигаться в направлении самости. Поэтому жест работает как полупроводник. Он защищает самость от проникновения в нее извне чужеродных смыслов.

Любой жест говорит сам за себя. И прежде всего — это жест руки. Указательный жест руки следует назвать перво жестом, жестом вообще. В указательном жесте уже-сознание впервые показало себя миру, так же как оно показывает себя миру в наскальной живописи. В жесте указания мир опредмечивается, а сознание начинает собирать себя из рассеяния. Указание — первый жест самости в темной комнате инстинктов. С него начинается история языка, органом которого является рука. Этот язык я называю антиязыком. Указательным жестом руки проведена граница между мыслящим и

разумным, между телом и организмом. Если бы у человека не было указательного жеста, то он не научился бы говорить, ибо указывать — значит уже что-то сказать.

Жест — это не признак мира, это не часть среды, не элемент, который принадлежит объективной ситуации. Мир не знает жестов. Жест — это взгляд, брошенный на мир извне, со стороны сознания. По жесту можно судить о присутствии уже-сознания, благодаря которому мы и сегодня понимаем назначение вещей, для которых у нас нет слов. Жест — это трость, которой уже-сознание, овладев телом, ощупывает мир. Но эмоции не локализируются в пространстве жеста. Они трансgressируют, перемещаясь в пространство звука, и жест начинает сопровождаться звуком. Рука как орган существования жеста уступает место рту. Указательным жестом сознание возвращает себе предметный мир как нечто осмысленное, эмоционально испытанное. Жест предстает как признак бунта тела против организма. Любое тело, объятное смыслом, является жестом, то есть органом смысла. В пространстве жеста нет места обмену смыслами. В этом пространстве есть зов, повеление, призыв и обращение. С жеста начинается рождение любого осмысленного мира.

Жест руки ограничен визуальным пространством. Звуковой жест преодолевает эту ограниченность, ибо жест становится длительностью, чем-то протяженным во времени. Чистым звуковым жестом является крик.

## 4.2 Крик

Между звуковой речью и звуками животных лежит непреодолимый барьер, в качестве которого выступает немая речь жеста. Именно существование жеста запрещает понимать звуки животных в качестве той материи, которая мало-помалу могла быть преобразована в звуковую речь человека.

Животный звук нельзя переделать в членораздельную речь человека, потому что ему не хватает для этого жеста указания. Поэтому-то жест выступает основанием метафизического разрыва

между человеком и животным.

Онтологическое доминирование жеста перед звуком заставляет философию заговорить о первичности протописьма перед речью, о первичности руки перед ртом, указания перед голосом. Письмо — это не запись на бумаге фонетической речи, не восполнение речи, а смыслы, переданные посредством движений, поз и, прежде всего, указательных движений руки. Эмоциональный взрыв, направленный вовне, не помещается в пространстве жеста и захватывает звук. Немую речь жеста прерывает крик. Крик — это чистая форма звукового жеста. В нем мы находим гласные, которые не оставляют места согласным. Роль согласных, видимо, играли жесты руки. Если эмоция не локализуется в пространстве жеста, то она может быть упорядочена в пространстве звука, в его ритмах, тоне и мелодии. Жестовые смыслы и значения накладываются на звуковую материю голоса, при этом звук, связанный с эмоцией, императивен по своему существу. Если речь руки находит свое применение в обиходе, то звуковая речь применяется в культе и, становясь речью жрецов, начинает носить мистериальный характер. Встреча звука и жеста приводит, видимо, к образованию фонем и значений звукового языка, к возникновению членораздельной речи.

### 4.3 Символ

Современная культура философствования такова, что она не видит большой разницы между знаком и символом, а если и видит, то как-то странно, теоретико-познавательно. Поскольку для меня символ менее всего связан с познанием, постольку идти к его таинственности лучше всего со стороны наименее темной, то есть со стороны познания.

В познании наиболее интересен момент приближения к пределу познания. В этот момент возникают всякие антиномии, и познание начинает исследовать само себя. А это очень увлекательно. Но это увлечение губительно для философии, ибо оно позволяет языку заниматься самим собой, а не тем, что вне языка. Занимаясь собой, язык обнаруживает в себе нечто неязыковое. Откуда в языке взялось неязыковое? На этот вопрос нельзя ответить в терминах

самоописания языка. Почему на одну фонему приходится несколько звуков, отчего в языке так важны ударения? Почему язык выражает больше того, что он означает? Откуда это различие? Неязыковая материя в языке, на мой взгляд, происходит из культа, ритуала, игры. Об этом происхождении свидетельствует символ, ибо он тоже из ритуала. Что, в свою очередь, не могло не сказаться на его природе. В языке всегда есть два языка. И в символе есть всегда два символа. Символ относится к двоичным, кентаврическим образованиям, к которым относятся также человек, образ, химера, андрогин, трансцендентальный схематизм. В нем есть чувственное и сверхчувственное. Как чувственное он есть знак. Как сверхчувственное он отменяет свою знаковость и, обнаружив в себе неполноту, обращается к тому, что может восполнить эту неполноту.

Конечно, если я могу познать предмет непосредственно, то символ мне не нужен. Зачем же мне самому себе создавать трудности. А если не могу? Вот мозг я могу изучать непосредственно, вещественно, используя всякие электроды. А сознание я не могу изучать прямо, не могу объективировать его содержания, не могу поместить его в пространство представления как предмет. В этом случае мне нужен какой-то посредник, который бы намекал, наводил на сознание. Не являясь сознанием, он мне что-нибудь да рассказал бы о сознании.

Значит, в мире есть такая сторона, которая передается не понятиями, а символами. Символ — это след, знак сверхреального, напоминание о встрече абсолютного и относительного, произошедшей в мистериальном действии. Понятие рассказывает о том, что дано чувственно, опытно, оно говорит о наличном. Символы уводят к тому, что сверх опыта. Например, слово «стул» — это эмпирическое понятие. Я могу посмотреть на стул, минуя слово. Он мне дан в пространстве. Я могу обнаружить причинные и иные зависимости, в которые встроены вещи. Эти зависимости тоже относятся к опыту, хотя я их не вижу в ряду вещей.

Так вот символ — для того, что линейно не упорядочено, что в

пространстве не созерцается. Он, как говорит Кант, для мира в целом, для Бога и для души. Если стул я могу увидеть, минуя слово «стул», то могу ли я посмотреть на свободу, минуя слово «свобода»? Дана ли она мне непосредственно, как стул? На мой взгляд, свобода нам не дана, а предзадана. Вот эта предрасположенность человека к свободе символична, ибо она освобождает свободу от речевого знака, предавая забвению реальность. Символ существует не в языке, а в поступке, в действии, в котором еще нет ни субъекта, ни объекта.

Можно ли в терминах пространства и времени отличить один поступок от другого и сказать, что в одном из них была свобода, а в другом ее не было? Конечно, нельзя. Взглядом извне свобода не фиксируется. Можно ли в терминах языка отличить одну фразу от другой и сказать, что в одной фразе есть мысль, а в другой — нет мысли? Что одна фраза говорит о понимании, а другая — нет? Этого сделать тоже нельзя. Потому что мысль — не дело логика или лингвиста. Для того чтобы ее узнать, ее уже нужно знать, нужно, чтобы она уже была у тебя. То есть мысль в языке не от языка. Но откуда она у меня? Она у меня появляется при условии эмоционального разрыва с реальностью. А это значит, что язык у меня предварен опытом моего воздействия на себя. И это воздействие на себя является условием появления мысли в языке, условием вербального опыта. Мысль — это свободный поступок, то есть поступок, в котором на тебя перестают действовать вещи наличного, схематизмы фактического, возможного и открывается возможность произвольного действия себя на самого себя.

Никто не может быть свободным в пространстве и времени, но эмоционально мы свободны в них. Никто не может быть свободным от языка, но в мысли мы свободны от него. Мы действуем на самих себя во времени и этим действием отсрочиваем время, откладываем его, противостояим его рассеивающему действию. Помыслить — это значит еще раз повторить архаический жест депривации, с одной стороны, освободив себя от фактического, возможного, в том числе и языкового, а с другой — предоставив в себе место для сверхреального, слабым напоминанием о котором

является сегодня интуиция. Удивление, равно как и сомнение, только лишь воспроизводят первобытный зазор между человеком и миром. В этом зазоре между реальным и сверхреальным возможна свобода и, следовательно, становится возможен язык. Но в языке как плата за его свободу всегда теперь будет существовать неязыковое. И неязыковое всегда будет играть языком, полагая в нем, в одном случае, мысль, а в другом — отсутствие мысли. Хотя синтаксис фразы, ее лексическая часть могут быть при этом теми же самыми.

Символ — это не недоделанный знак, как думал Гегель. Как говорил Флоренский, это тождество символа и символизируемого. Символ — это, скорее, фиксированный ритуальный жест, в котором сливаются противоположности, чтобы обрести полный смысл. Например, левое всегда проясняет правое, а правое — левое. На Западе правая сторона активна, плодотворна, левая сторона рассматривается как нечто пассивное и угрожающее. Слияние левого и правого в любой картине задает ее смысл и образ. В Китае же правая рука — женская, она делает низшую работу, поднося пищу ко рту, левая рука — мужская, бездеятельная, праздная. Слияние левого и правого, инь и ян создает полный смысл человека.

#### **4.4 Бунт тела против организма**

Появление жеста означает одно, а именно — бунт тела против организма. Различие между телом и организмом составляет тот опыт, который позволяет отличать подражание от превращения. Без этого различия трудно создать социальный мир, трудно построить взаимодействие с такими же, как ты. Актуализация невозможного структурирует тело через навязывание ему определенных практик. Любой мистериальный танец или хоровод снимает с тела сковывающие его аполлонические обручи и обнаруживает в нем дионисийское начало.

Невротический бунт против реальности — это бунт тела против организма. Воображаемое заставляет тело страдать от того, что оно не подготовлено к новой роли, к возможности быть телом без свойств, телом грезы. Свойства опредмечивают тело. Органы

структурируют организм. И эта структурность необходима для движения сил реального. Абсурд обессиливает силу реального и превращает структурность в организменные пути для тела. У каждой структуры есть своя функция. Например, глаз существует для того, чтобы видеть. Рука существует для того, чтобы хватать. Но не нужны глаза, для того чтобы видеть то, чего нет. Бунт против реальности освободил нестабильность воображаемого, открыл отсутствие реального, к встрече с которым организм был не готов. Ведь глаза должны были видеть невидимое, а руки должны были хватать пустоту. Организм столкнулся с тем, для чего у него не было структурности. Тело человека самоопределилось для того, чтоб быть не организмом, а телом того, что само действует на себя и является телом грезы.

Бушмен чувствует приближение человека, хотя органы тела не могут ни видеть его, ни слышать. Бушмен может показать на своем теле те места, которыми он чувствует и которые одновременно не являются органами тела. Например, место старой раны своего отца. Текучесть воображаемого позволяло человеку превращать свое тело во что угодно. Но телесность человека перестает быть телом без свойств и становится организмом, который не превращается, а подражает. Поэтому у современного человека такой же организм, как и у бушмена, но тела у них разные.

Социуму не нужны превращения, ему достаточно подражаний образцам, и это подражание образцам он использует для формирования социально приемлемого тела. Например, социум тебе говорит, что иметь ногу большого размера не очень красиво. И поэтому тебе приходится, чтобы быть красивым, иметь ногу маленького размера. Для этого ты заключаешь ее в колодку. Нога в колодке — это уже не организм, а тело. Если девушке хочется быть бледной и не хочется быть розовощекой, то есть деревенской, то ей нужно пить уксус. Таким образом, она приобретает социально приемлемое тело. Предпочитающие длинную шею надевают на нее кольца и тем самым усваивают различия между организмом и телом. Даже рыцари средневековой Европы, несмотря на их рыцарство, вели себя естественно, то есть неприлично. Они могли

есть и справлять нужду в одном и том же месте. Потом культура ограничила привычки их организма и создала телесность культурного человека. У организма нет интимных мест, а у тела они есть. Племя, которое предпочитало ходить обнаженным, сфера интимного была сужена и объективирована в коже, на затылке, под волосами человека. Прикасаться к ней было запрещено. В XVIII веке в Европе неприлично было кашлять и сморкаться, а также не принято было говорить о том, что касалось нижней части тела. Последствием этого квазивосстания против организменности стала драпировка ножек стола.

## 5. Кант и самость

В «Критике способности суждений» Кант поясняет странную вещь, а именно: способность людей желать невозможного. Какой же смысл желать того, чего мы никогда не встретим в составе наличного и даже возможного? Это невозможное, по словам Канта, напрягает силы человека, подсовывая ему представления, чтобы сделать действительным их объект. То есть человек обладает способностью «через свои представления быть причиной действительности предметов этих представлений»<sup>128</sup>.

Кант говорит о способности, которую трудно найти у животных или в каком-либо техническом устройстве, — способности быть причиной реальности. Реальности чего? Объектов представлений, то есть объектов галлюцинаторного восприятия, ибо неважно, подтверждено существование этих объектов внешними чувствами или нет. Созданы они по нашему произволу или нет. Эта способность позволяет иллюзию воспринимать как реальность, а реальность — как иллюзию. А поскольку в точке восприятия таких объектов нет извлечения «я» из восприятия, постольку мы можем говорить о действии самости без «я» и ее пассивных синтезах.

## 6. Хайдеггер и самость

Хайдеггер так организует свое вопрошание, что ему не приходится отвечать на вопрос об истине бытия сознания.

Создается впечатление, что он когда-то увидел в феноменологии Гуссерля принципиальные недостатки и решил их преодолеть, отказавшись от того, чтобы идти в глубь субъективности человека, полагая, что он не сможет там обнаружить никакого бытия. Хайдеггер решил выйти за пределы субъективности, чтобы затем вывести ее из объективности.

Он не занимается философией сознания. Для него это — региональная онтология. А это значит, что Хайдеггер не хочет рассматривать вещь как совокупность взглядов на вещь. В «Истоке художественного произведения» его, например, интересует вещь в ее вещности. Тогда как для Гуссерля вещь — это то, что мы можем удержать в сознании в качестве вещи, и поэтому всегда можем выбрать один из способов рассмотрения и сказать: «У меня есть сознание того, что вещь есть как нечто круглое».

Хайдеггер зачеркивает сознание и на освободившееся место ставит бытие. Его не интересует «пра-сознание» Гуссерля. Его интересует бытие сущего. Если русский язык указывает на неправомерную двусмысленность противопоставления бытия и сущего, то немецкий язык придает различию между онтологическим и онтическим языковую основательность. Для Хайдеггера бытие составляет содержание философии, а сущее — содержание науки. Возникает вопрос: а куда деть человека? Ведь человек — это сущее, а не бытие. Как сущее его нужно отнести к ведению науки, но тогда философия как наука о бытии ничего не может сказать о человеке. А без человека она ничего не может сказать и о бытии, кроме того, что уже сказал Гегель.

Еще Кант полагал, что всякая философия сводится к вопросу о человеке, и, следовательно, в качестве первой философии должна утвердиться философская антропология. Хайдеггер с Кантом не согласился и написал книгу «Кант и проблемы метафизики».

Вопрос о бытии как будто бы вывел Хайдеггера на путь объективной дедукции категорий философии. Но проблема состоит в том, что бытие само по себе, без сущего, ничего не значит. Без сущего бытие становится пустым словом. Хайдеггеру пришлось

смириться с тем, что бытие всегда есть только как бытие сущего. И сколько бы мы не пытались их разделить, они не отделяются друг от друга, как скрип сапог неотделим от сапога. Бытие Хайдеггера — это скрип сущего. А если бытие — всегда бытие сущего, то фундаментальная онтология — эта такая же региональная онтология, как и философия человека, философия природы и т. д. Сущее не выводится из бытия, бытие ничего не добавляет к сущему. Сущее не нуждается в бытии. Напротив, бытие нуждается в сущем, оно зависит от него. По замечанию самого Хайдеггера, бытие состоит не в том, что мы рассматриваем сущее. Мы и без бытия рассматриваем то, что есть. Здание стоит на своем месте, если даже мы его не рассматриваем. Мы можем его обнаружить только потому, что оно есть.

Но вот если мы поставим вопрос о бытии здания как здания, то мы посмотрим на него философски, то есть слово «бытие» нужно для философа, который хочет быть философом. Здание же и без фундаментальной онтологии будет нести в себе свое бытие. Но это бытие будет немым. Для того чтобы у него появился голос, нужен человек, то есть не человек нуждается в бытии, а бытие нуждается в человеке. Хайдеггер называет человека особым сущим, равно как у Карла Маркса все товары — это просто товары, но есть еще и особый товар, а именно — рабочая сила. Человек для Хайдеггера — это рабочая сила бытия.

Человек сводится Хайдеггером к унижительной роли швейцара при бытии, который то замыкает, то размыкает бытие. Человек выявляет бытие, создавая для него просвет. Человек, называемый Хайдеггером *Dasein*, выполняет всю черную работу, то есть делает то, что никакое бытие сделать не сможет, даже если и захочет. Он выходит за пределы сущего, выдвигаясь в ничто. Тем самым Хайдеггер повторяет тот же ход мысли, который предложил еще Шелер, определив человека как протестанта, который говорит «нет» жизни.

В «Бытии и времени» Хайдеггер говорит о том, что «я» и самость скрепляют сущее, являясь его опорными основаниями<sup>129</sup>. В

качестве примера он приводит такое выражение, как «забота о себе самом». Согласно Хайдеггеру, самость принадлежит к сущностному определению человека. Сущность самости — в существовании.

Но если «я» и самость являются опорными пунктами сущего, то, следовательно, само сущее не является субстанцией. Оно является производным от «я» и самости. Или, что то же самое, если «я» и самость связаны, то тогда ни одно присутствие не есть оно само: «Присутствие не есть оно само, но потеряно в человеко-самости»<sup>130</sup>. И даже «я» есть, как говорит Хайдеггер, «кажущаяся самость»<sup>131</sup>. Но кажущаяся самость — это не показывающая себя самость, а то, что выдает себя за самость, самостью не являясь.

Все это означает одно: вопрос об онтологическом устройстве самости остался без ответа. Если присутствие — это бытие, то тогда оно потеряно, растворено в самости, которую почему-то Хайдеггер связывает с «я». Хотя «Я» скорее связано с языком. Поэтому у Хайдеггера, на мой взгляд, нет никакой самости, а есть только язык.

В «Основных проблемах феноменологии» Хайдеггер вновь возвращается к поискам ответа на вопрос о самости. На этот раз он называет самость рефлексией: «Только это выражение нельзя понимать так, как мы его обычно понимаем, — я, склонившись к самому себе, изогнувшись назад, на себя уставилось. Дазайн находит себя искони и постоянно в вещах, поскольку в понятии о вещах, обремененное вещами, оно неким образом в вещах покоится. Каждый есть то, о чем он хлопочет и о чем печется»<sup>132</sup>.

Почему мне не нравится трактовка самости у Хайдеггера? Тем, что она у него выявляет себя. Но если она выявляет себя, то она была не явлена себе, и, чтобы быть явленной себе, ей нужно опираться на другого. Ей нужен другой, который ее выявит. Во всяком случае, если она дана себе непосредственно, то ей не надо себя выявлять ни в каком «я». Если она не дана себе непосредственно, то это значит, что в ней уже был другой.

Хайдеггер говорит, что рефлексия — это способ, которым самость

выявляет себя для себя. Но рефлексия — это удвоение. И даже тогда, когда я говорю, что «я» — это «я», я себя уже удвоил. У меня появилось два «я», и какое из них настоящее, я не знаю.

Хайдеггер полагает, что не надо рефлексии изображать в качестве того, что склонилось к самому себе, что на себя уставилось. Но рефлексия, в отличие от самости, — это и есть то, что на себя уставилось. Что может помешать этой рефлексии? Только отказ от удвоения.

Бытие, или Дазайн, по словам Хайдеггера, находит себя в вещах, искони и постоянно. Но это-то и значит, что оно себя находит не в себе, а в чем-то другом, в вещах. Но самость — это не вещи, и находит она себя не в вещах, она покоится не в них, а в тоске по покою, в бесконечном ускользании от того, что не есть она сама. А значит самость — это движение ускользания от вещей. Самость находит себя в грезах и галлюцинациях. На мой взгляд, самость не выводима ни из «я», которое чем-то озабочено, ни из реальности. Поэтому связывать заботу и самость — значит привязывать самость к «я», то есть к языку. Привязанная к «я» самость гибнет.

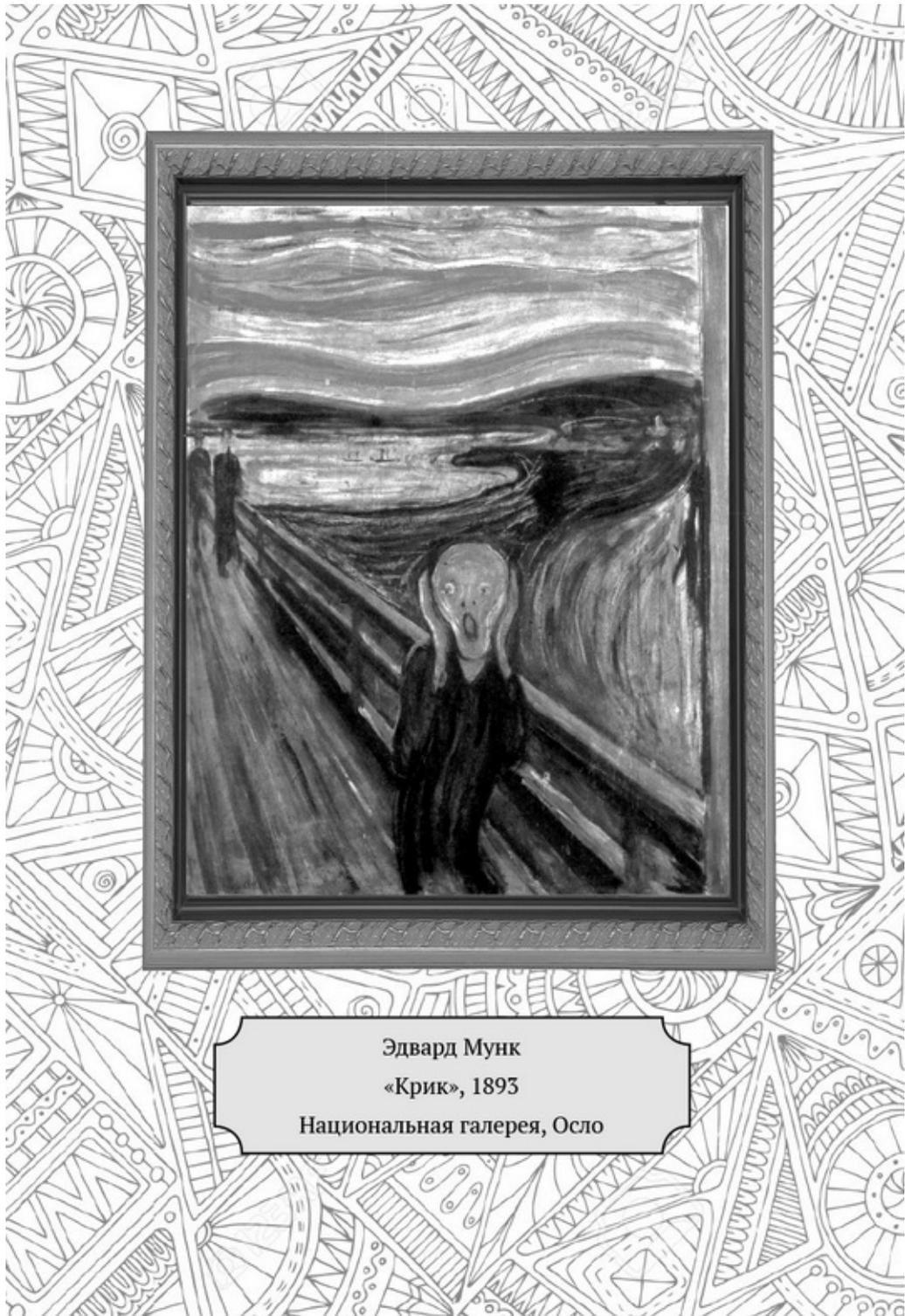
## 7. Самоограничение

Быть самому — значит стоять на своих ногах, хотя в мире все устроено так, чтобы никто не мог быть сам. Проблема состоит не в решимости сказать миру «нет», а в том, чтобы сказать «нет» самому себе. Важнейшее свойство самости состоит в умении самой себе говорить «нет», ограничивать себя. Бог является первичным самоограничением самости, а стыд и совесть предстают как ближайшая причина самоограничения.

Между тем, в литературе высказывается такая точка зрения, согласно которой стыд и совесть являются как раз тем, что мешает человеку быть самому. Так, Эриксон считает, что стыд и сомнение превращают ограничения в самоагрессию. Если ребенка часто стыдить, то «он будет сверх всякой меры воздействовать на самого себя и разовьет не по годам требовательную совесть»<sup>133</sup>. Чем же

нехороша требовательная совесть? Тем, что вместо овладения вещами человек будет овладевать самим собой. Тогда как ему нужно получить подтверждение социального порядка на существование своей воли и соразмерить ее с волей других.

Итак, самоограничение создает следующую дилемму: с одной стороны, совесть способствует уходу человека из внешнего мира в свой внутренний мир. С другой стороны, отсутствие совести сводит границы человека до границ его работы, в которой он является придатком социума или техники.



Эдвард Мунк  
«Крик», 1893  
Национальная галерея, Осло

**Глава 9.**  
**Эмоция как сознание, которое не знает, что оно**

## СОЗНАНИЕ

Эмоция при ближайшем рассмотрении оказывается немой речью, обращенной к самому себе. Почему эта речь немая? Потому что она не означена и не выходит за пределы самоаффектации человека. Аффект обращен к иному, он отличается от эмоции тем, что выходит за пределы самоаффектации. Эмоции возможны не в мире явлений, не в мире предсказуемых событий, а в мире неопределенном, непредсказуемом. Мир эмоций — это мир без значений, а значит, и без знаков.

### 1. Почему люди несчастны?

Люди несчастны, потому что их эмоции синкретичны, амбивалентны. Что это значит? Разберем вопрос о счастье. Счастье реалиста очень простое, организменное, приспособительное. Счастье человека с аутистическим мышлением строится сложнее, ибо этот человек ищет свое счастье за пределами приспособительных функций, и хотя он может галлюцинаторно удовлетворять свои желания, то есть для счастья ему достаточно самого себя, он все равно остается несчастливым. Вернее, самые счастливые все равно несчастны. Почему?

Ответ на этот вопрос состоит в указании на то, что у всех нас есть какой-то изначальный беспредметный страх. А страх есть потому, что для нашего существования нет оснований. Наша вина состоит в том, что мы как бы прокрались в мир, не имея с ним никакого родства. Мы родились существами без сущности, без инстинктов, и поэтому мы слишком пластичны, текучи. Человек — это его эмоции, его замыслы, которые всегда амбивалентны, то есть первая половина в них ведет к счастью, а вторая — к страшной расплате за эту первую половину. Пластичность означает, что между ними нет никаких преград. Это как бы сообщающиеся сосуды. Так вот изначальный страх — это страх, диктуемый пластикой архаической эмоции. В чем ее суть? В том, что она всегда несет в себе свое отрицание. А это значит, что удовольствие обязательно закончится какими-то непереносимыми страданиями. Поскольку никто не

может отказаться от удовольствий, ибо это наши базисные ориентации, постольку никто не может избежать страданий. Вот если бы можно было каким-то образом разъять полюса эмоции, то тогда у нас появились бы твердые основания и можно было бы жить счастливыми. А так счастье становится для нас вестником грядущего несчастья. Ибо мы существа безосновные. И поскольку не все умеют жить мгновением, постольку многие испытывают страдания от беспредметной вины.

На эмоцию можно воздействовать только эмоцией, а не разумом. Клин вышибают клином, страх — страхом. Изначальный страх — это страх перед этой противоположностью. Этот страх мучает тяжело, потому что он не покидает нас ни на секунду, и нам лучше бы было, как говорил Кириллов в «Бесах» Достоевского, себя убить, а мы все что-то ждем, тянем время и как-то выкручиваемся из этой ситуации. Как? Что мы делаем? Мы начинаем вести себя асоциально, плохо. Нет причин для того, чтобы мы бросали вызов социуму, но мы его бросаем. Мы безобразничаем, и нас, конечно, наказывают. Но это наказание все-таки лучше того, что мы сами уготовили для себя. Потому что это наказание за дело. А еще оно менее страшное, ведь нет ничего страшнее Горгоны с ядовитыми змеями вместо волос, которые тебя жалят. Иными словами, страшнее всего самонаказание, на которое обречен пластичный человек. Когда нас наказывают, мы довольны, ибо для нас есть твердые правила, и мы избавлены от самонаказания. Заветная мечта человека состоит в избавлении от эмоций и от самонаказания, в замене их правом.

Поэтому люди совершают проступки только из-за того, что они непозволительны. Нарушив норму, мы можем пристроить свое чувство страха или свое чувство вины. Интеллект нами используется для того, чтобы замаскировать наши иррациональные желания и даже оправдать их задним числом. Если убивают, чтобы ограбить, то в этом поступке, говорил Ницше, наверняка хотели скрыть жажду убийства. Поскольку все делается с какой-то целью, а бесцельность неприемлема, постольку к бесцельному прибавляется цель. Лучше совершить преступление, чем чувствовать себя без

ВИНЫ ВИНОВАТЫМ.

Итак, амбивалентность, пластичность не делают людей даже с аутистическим мышлением счастливыми потому, что им грозит вечное самонаказание. Во всех нас чувство вины появляется до того, как мы что-то совершили, и Эринии настигают нас в момент нашего торжества, в момент, когда цель достигнута. Поэтому лучше не торжествовать и не достигать цели.

## 2. Крик бушмена

Эмоция — это моя речь, обращенная к самому себе, без присутствия в ней речи другого. Одним из способов существования этой речи является крик. Описание архаического способа существования этой речи можно найти у Юнга в рассказе о бушмене.

У одного бушмена была большая семья. Утром бушмен взял своего любимого сына и пошел на рыбалку. Бушмен бесстрастно просидел у озера весь день. Клева не было. А вечером нужно было возвращаться к голодной семье, ждущей его с добычей. Когда бушмен понял это, он в отчаянии вышел из себя, схватил своего любимого сына и в приступе гнева придушил его. Потом, вернувшись к себе и увидев, что он сделал, он закричал. Вот этот крик и есть первая форма мысли-эмоции. Визуально она изображена в «Крике» Мунка.

В крике соединяется смысл и голос. Из их соединения получаются переживания, соотнесенные с самостью. Обычно под переживаниями понимается способность ставить себя на место другого. Но такая перестановка — это пародия на переживание своего собственного существования, своей новой телесности, которая становится органом реализации фантазмов субъективности. Вот пример. Я съел яблоко и пошел сыт и доволен. Здесь нет никакого переживания. А если я украдкой съел яблоко, которое было предназначено для моей сестры, то тогда я отношусь к этому действию, я хочу сделать бывшее небывшим, мне стыдно, я переживаю, ибо во мне появляется галлюцинация переживаний

моей сестры. То есть переживание возникает не из самого действия, а из самовоздействия, из моего самовозбуждения. Переживаю я, а не сестра. Беспредметность самовозбуждения позволяет обнаружить силу эмоции, которая своим сгущением создает предмет сознания.

В крике бушмена переживание дано вместе с языком своего понимания. Крик не нуждается в герменевтике. Отделить язык от переживания — значит убить эмоцию, заменить ее сущностным действием. Другими словами, убивает субъективную эмоцию объективный знак. Но убивает ее он медленно, сначала в пространстве пустого «я», затем в пространстве представления, в конце концов, в пространстве означающего. Эмоция, видимо, умерла недавно на театральных подмостках. Режиссер и актеры ее добились тем, что перестали слышать раздирающий крик бушмена, которым рождается всякое сознание.

Почему культура враждебно относится к эмоциям, чувствам и страстям? Потому что в пространстве эмоции требуется превращение, а не мысль, выражаемая словами. Если действие нельзя отделить от смысла, а переживание — от языка его понимания, то это значит, что в языке нет места для «я». То есть прагматика самости и состоит в том, чтобы не давать место «я». Тогда как культура — это забота о «я», а не о самости. Язык вообще создавался не для мыслей, а для эмоций и чувств. Чтобы появилась мысль, чтобы ее можно было поселить в языке, язык нужно было переделать. Для этого в языке нужно было освободить место для пустого слова «я».

### **3. Ланге и Джемс**

Внешнему наблюдателю видны не эмоции, а их телесное выражение, физическое проявление. Например, мне страшно, я боюсь. А в поле внешнего наблюдения видно, что я бледен, что я дрожу. Бледность и дрожь относятся к физиологии. Страх — к психологии. Где же искать причину: дрожу ли я потому, что мне страшно, или мне страшно, потому что я дрожу?

Вот ответ Г. К. Ланге: «Уничтожьте у испуганного человека все физические симптомы страха, заставьте его пульс спокойно биться, верните ему твердый взгляд, здоровый цвет лица, сделайте его движения быстрыми и уверенными, его речь сильной, а мысли ясными, — что тогда останется от его страха? Ничего»<sup>134</sup>.

А вот ответ Джемса: «В остатке получится холодное, безразличное состояние чисто интеллектуального восприятия». И далее: «Я совершенно не могу представить себе, что за эмоция страха останется в нашем сознании, если устранить из него чувства, связанные с усиленным сердцебиением, с коротким дыханием, дрожанием губ, с расслаблением членов, с «гусиной кожей» и с возбуждениями во внутренностях. Может ли кто-нибудь представить себе состояние гнева и вообразить при этом тотчас же не волнение в груди, прилив крови к лицу, расширение ноздрей, стискивание зубов... а наоборот, мышцы в ненапряженном состоянии, ровное дыхание и спокойное лицо? То же рассуждение применимо и к эмоции печали: что такое была бы печаль без слез, рыданий, задержки сердцебиения, тоски под ложечкой?»<sup>135</sup>

В органической теории эмоций Ланге и Джемса эмоция представлена как телесный эффект, имеющий ясные, приспособительные функции, но эмоция смущения не имеет приспособительного значения, это не телесный эффект самовоздействия человека. Для Джемса эмоция — это эпифеномен. Свисток паровоза. В рамках этой теории я не могу сказать: я плачу, потому что мне грустно. Наоборот, мне грустно потому, что я плачу. Я боюсь потому, что я дрожу<sup>136</sup>.

Критика органической теории базируется на различии тела и самости. Если ты дрожишь от холода, то тебе холодно, но страха у тебя нет. Причина страха не вовне, не в объекте, а в самом человеке, в тех образах, которыми человек воздействует на себя, пугает себя. Этими воздействиями создается энергия страха, печали. Поэтому ты плачешь из-за того, что печален.

Но если эмоция — это эпифеномен, то я не могу сказать, что я

плачу, потому что я в печали или в радости. Тогда правы Ланге и Джемс в том, что существует зависимость между эмоцией радости и работой твоего желудка. У тебя хороший аппетит — и ты весел. У тебя обнаружилось чувство голода — и у тебя возбудилась к кому-то ненависть. На мой взгляд, глупо думать, что эмоции выделяются желудком.

#### **4. Сартр против Джемса**

Сартр критикует Джемса за то, что у него эмоция понимается как сознание, в основе которого лежат физиологические проявления. Джемсу нравится физиология. Она понятна, ее можно наблюдать извне. И вот Джемс привязывает эфемерную эмоцию к надежной физиологии, понимая эмоцию как проекцию физиологии в сознание. Что такое эмоция? Согласно Джемсу, это тень, отбрасываемая физиологией.

Сартр возражает Джемсу по двум пунктам. Во-первых, нельзя телесные изменения последовательно довести до крайности, до той точки, в которой эти изменения становятся, например, ужасом сознания. Это превращение необъяснимо и нелогично. Во-вторых, эмоция для внешнего наблюдателя действительно может предстать как некое расстройство физиологических функций. Но как факт сознания эмоция имеет смысл. Вот этого смысла, делает вывод Сартр, в ней и не видит Джемс.

#### **5. Сартр против Жане**

Для Жане эмоция — это не физиология, а психология. Это поведение, в котором всегда есть низший уровень и высший. Если, говорит Жане, нам попалась трудная задача, то мы не удерживаем себя в высших формах поведения. Мы соскакиваем с них и попадаем в объятие низших форм поведения. Низшим формам поведения нужно меньше психической энергии. Излишек энергии уходит в эмоцию.

Жане приводит пример из своей практики. Отец говорит девушке, что он опасается паралича. Девушка впадает в истерику,

катается по полу. Через несколько дней все повторяется. Она идет к врачу, то есть к Жане, которому признается в том, что мысль быть сиделкой своего отца ей невыносима. Жане делает вывод о том, что девушка, не принимая высшие формы поведения, прибегает к низшим. Процесс перехода сопровождается эмоцией.

Еще пример. Больная приходит к врачу и рыдает. Она ничего не может сказать. Рыдания вытесняют речь. Жане делает вывод: больная стремится вызвать сочувствие врача, она не может высказать какую-то истину до конца. Для нее это слишком трудное социальное поведение. Она рыдает, потому что не может сказать правду.

С точки зрения Сартра, недостаток психоаналитиков состоит в постулировании жестких причинных связей. Например, одна женщина, увидев лавровое дерево, сразу падает в обморок. Почему? Потому что в детстве у нее был тяжелый сексуальный случай под лавровым деревом. Эмоция — это отказ не столько от дерева, сколько от переживания, отказ от того, чтобы вновь его переживать.

Для Сартра такое объяснение неприемлемо, оно слишком грубое. Согласно Сартру, психоаналитики слишком примитивны. Так, болезни девушек они часто объясняют бегством от замужества. Для них подушечка для булавок, увиденная во сне, всегда означает женские груди. А войти во сне в вагон — значит для психоаналитика хотеть совершить сексуальный акт. Сартр делает вывод: то, что происходит в сознании, нужно объяснять из сознания, а не из бессознательного.

## 6. Критика Сартра

Сартр пишет: «Эмоциональное сознание есть с самого начала сознание мира»<sup>137</sup>. Но если эмоция есть сознание мира, то в ней должно быть знание предмета. А знающая предмет эмоция — это не эмоция, а интеллект. В эмоции осознают не мир, который требует знания, а свою самость, которая не требует знания. Поэтому Сартр ищет для эмоции предметность. Например, человек боится, ему

страшно. Согласно Сартру, если человек боится, то это значит, что он боится чего-то. Он боится тьмы, пустынного перехода, ночи, рожи, которая смотрит в окно из тьмы.

Но ведь можно бояться и самого себя. Убегают не только от объекта, но и от самого себя. И эта боязнь себя является более фундаментальной, чем боязнь объекта.

Для Сартра эмоция — это способ превращения мира, а не человека. Это способ сообщить ему какие-то качества. Например, говорит Сартр, я протягиваю руку, чтобы взять виноград, и не могу. И тогда я говорю: «Он неспелый». И ухожу, дав миру качество.

Или вот идет ко мне хищник, я падаю в обморок. Обморок — укрытие от опасности. Он уничтожает мир как объект сознания, уничтожая само сознание.

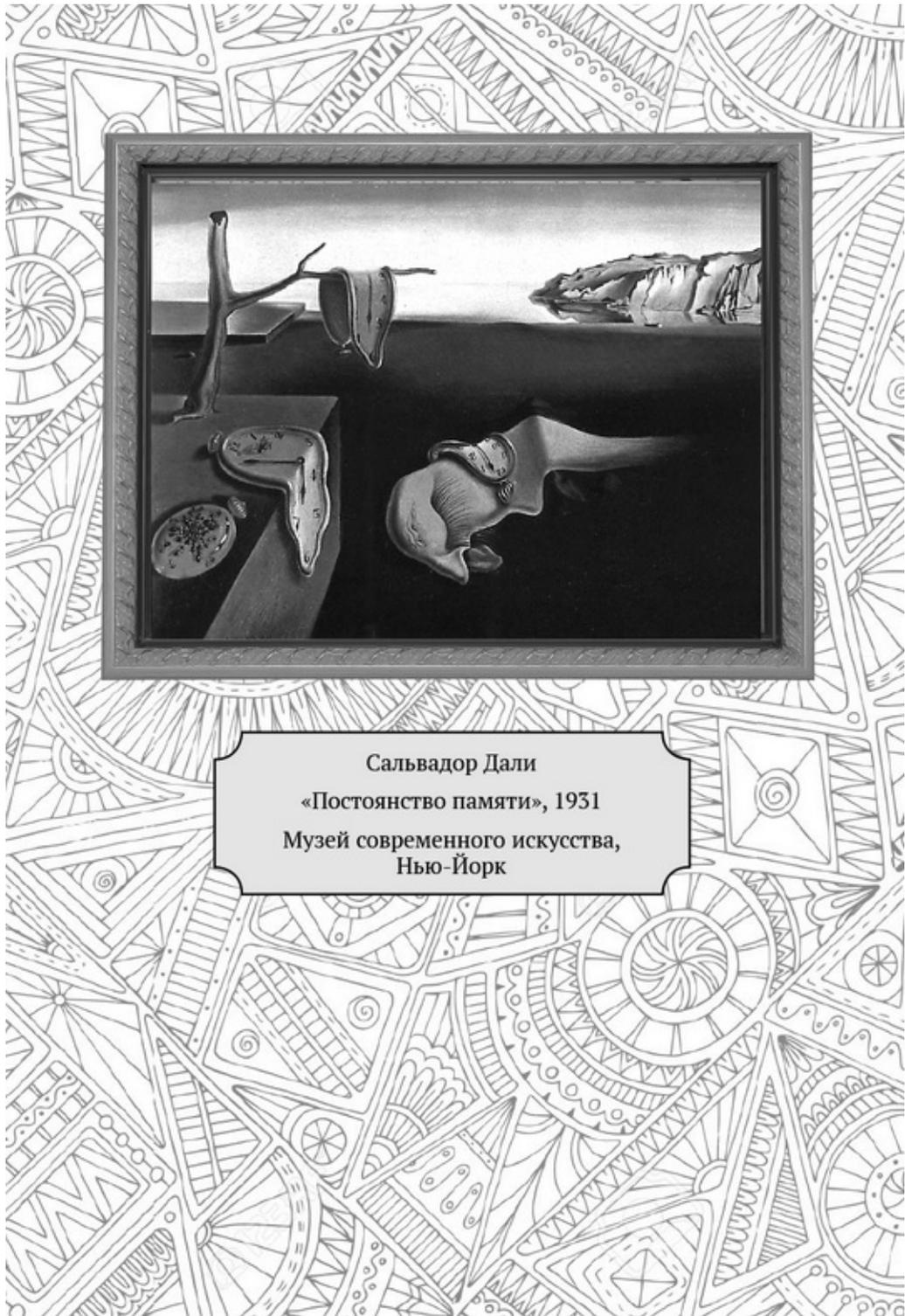
На мой взгляд, эмоция — это не орган переделки мира, это один из модусов самовоздействия, способ структурирования самости. И в этом смысле эмоцию можно назвать «внезапным падением сознания в магическое»<sup>138</sup>, ибо магическое — это не просто катастрофа, исчезновение причинных связей мира, а обращение к мысли, которой правят наши грезы, это падение в мир абсолютной спонтанности.

## 7. Критика Симонова

П. Симонов изобрел формулу эмоции:  $\mathcal{E} = -\Pi (N - C)$ , где  $\mathcal{E}$  — эмоция,  $\Pi$  — потребность,  $N$  — знание, необходимое для удовлетворения потребности, и  $C$  — имеющееся знание. Согласно этой формуле, эмоции нет в двух случаях: либо если нет потребности, либо в случае равенства необходимого знания и фактического. Эмоциональный максимум возможен при нулевом фактическом знании и огромных потребностях. Но знания применимы в предсказуемом мире, а эмоции существуют только в мире непредсказуемом.

Формула, предложенная Симоновым, ориентирована на знание и

материальные потребности. Никаких потребностей в грезах она в себя не вмещает. Информация или знания обращены в ней только в сторону окружающей среды. Но эти знания уже отдифференцированы в инстинктах. Формула Симонова не предполагает самой возможности существования самовозбуждений и самоаффектаций человека. То есть эту формулу нельзя отнести ни к человеку, ни к животному. В ней не прояснен вопрос о самоограничении человека.



Сальвадор Дали  
«Постоянство памяти», 1931  
Музей современного искусства,  
Нью-Йорк

## Глава 10. Сознание

В момент, когда сознание перестает быть тем, что оно есть, оно открывает свою истину. Оно открыло свою истину художнику палеолита. Ни психологи, ни лингвисты не могут говорить на языке этой истины, ибо они объективируют сознание, делая его чужим по отношению к самому себе. Сознание погибает в мире любых объективаций, прежде всего предметных и языковых. Поэтому нам нужно поймать сознание в глубине его имманенции, в момент, когда оно находится у себя дома. Нам нужно живое сознание, не отчужденное от самого себя в языке и, следовательно, в знании.

## 1. Смущение

Краснеть от смущения — значит находиться у себя дома, в глубине имманенции своего сознания. В смущении сознание присутствует по отношению к самому себе. И это присутствие нельзя получить никаким внешним образом. Равно как в терминах этого присутствия нельзя построить знание, приспособляющее нас к миру. Присутствие по отношению к самому себе является первым внутренним движением свободы. У сознания нет истоков вне свободы. Поэтому сознание нельзя восстановить как факт, до которого не было сознания. Нельзя учредить сознание в мире наличного. Силы, конституирующие порядок в этом мире, находятся за пределами воображаемого. Это не те силы, которые ведут к смущению. В мире наличного возможна некая мудрость случая, посланного необходимостью. Субъективность смущающегося, бросившая вызов наличному, всегда будет находиться в опасности, ибо случай может лишить ее своей милости, и она перестанет быть. Учреждение мира в пространстве субъективности есть чудо спасения от милости случая. Это чудо ближайшим образом выглядит как самоактуализация нашего сознания в смущении. Смущаться — значит испытывать игру своих грез.

## 2. Сознание «о»

Обычно сознание понимается как сознание «о», как нечто такое, что направлено на предмет. Откуда же у сознания появляется это

«о»? Не направляет ли оно, появившись, сознание вовне, в мир, заставляя его забывать о себе самом? Истоки сознания коренятся в эмоциональной беспризорности человека, в ее импульсах, в пассивных синтезах материи чувств, геометрических форм и переживаний. Например, в первичных восприятиях мир есть беспокойство, а вещь есть цвет. Черный цвет — это опасность, белый — это покой. Вещь при ощупывании может быть чем-то скользким, отвратительным. Мир сам по себе есть нечто изменчивое, а всякое изменение смертельно опасно, ибо может исключить условия нашего существования в мире. Все эти эмоциональные склеивания являются тем способом, которым субъективность принимает мир и одновременно сохраняет имманентный план своей самости, ее замороженный покой и коридоры ее безопасности.

Порядок идей сознания не отражает порядок вещей реального, а вещи реального — не копии идей сознания. Это «о» в сознании от языка, который по существу своему является пространственным и предметным. «О» сознания — это результат трения сознания об язык, это мозоль сознания. Для того чтобы понять сознание, нужно срезать его языковой нарост.

Сознание без «о» становится неозначенным и беспредметным, оно не управляется знаками и органами чувств, направленными вовне. Вещи перестают дергать сознание за ниточки отдельных восприятий и ощущений. В сознании больше нет знаний о предмете, ибо само оно уже не находится в познавательном отношении к миру. Тем самым выясняется, что знание в сознании не от сознания, а от языка.

Редуцируя «о», мы избавляемся от идеи о том, что сознание учреждается в пространстве встречи с предметом. Нет таких предметов, которые могли бы учредить сознание. Тем самым мы уходим от проблемы удвоения вещей, мир перестает двоиться, ни один предмет не существует сначала где-то там, в пространстве, а затем у тебя в голове, то есть в сознании. Всякий предмет существует только один раз. Например, этот стол стоит там, у окна.

Знание о том, что он стоит у окна, не относится к сознанию. Но вот то, что он значит для меня, относится к сознанию. Например, стол мне напоминает о моем невыполненном обещании отвезти его в деревню. В сознании без знания остается лишь префикс «со», который, как аттрактор, притягивает, собирает и соединяет разрозненные восприятия. Язык тем самым дает нам понять, что сознания уже нет, что от него остался жалкий осколок. Но язык лукавит, он вводит нас в заблуждение, и это понял Деррида, который придумал один из способов борьбы с языком. В сознании вычеркивается знание, но сознание остается как сознание. И это будет само сознание, для которого знать совсем не значит знать, что знаешь. Я люблю сок из брусники, но я не знаю, почему я его люблю. Я пишу текст, но я не знаю себя, пишушим текст.

Сознание указывает на множество, а не на индивида, поэтому проблема сознания не решается на пути изучения устройства какого-либо тела. Сознание приурочено к множеству, а не к дискретно выделенному телу одного элемента из множества. Первичный опыт сознания — это опыт собирания раздробленного множества в одно целое, и, следовательно, это опыт наложения запрета на то, чтобы нарушалось искомое единство.

Слово «знание» искушает нас тем, что за ним как будто бы прячется предмет, к которому оно относится. «Знание предметно», — так наставляет язык перед тем, как мы заговорим. «Беспредметного знания не существует», — уверяет он нас. И мы ему верим.

Но знание в сознании относится не к предмету, который уводит нас за пределы сознания, а к самости множества знающих. Знание — это то, что мы совместно знаем. А совместно мы знаем свое имя, свой тотем. Хотя наша совместность неочевидна. Это не множество самодостаточных монад Лейбница, а кооперация самих по себе нестабильных неустойчивых грезящих существ, ощупывающих мир своими галлюцинациями. Сознание — это видимые вместе иллюзии.

## Резюме

Любому сознанию «о» всегда противостоят довербальные смыслы уже-сознания. Сознание «о» — предметно, его характеризует внешнее знание. Уже-сознание беспредметно. Его характеризует внутреннее знание, которое не является в прямом смысле слова знанием. Внешнее знание — это знание без эмоций. Внутреннее знание — это переживания. Из внешнего нельзя получить внутреннее. Между ними всегда будет находиться пропасть, которую невозможно перепрыгнуть. Этой пропастью является произвол воображения. Внешнее знание приспособливает к миру, внутреннее знание приспособливает к самости. В мире доминирует необходимость. Самость основана на законах свободы.

### **3. Сознание как первичное самоограничение**

Сознание — это переживание со-бытия среди грез и галлюцинаций, в которых всегда есть что-то, что ведают все и каждый. Сознание ближайшим образом оказывается сведением, совестью. Вестью о том, что не все можно. И эта невозможность является не чем-то внешним, не извне навязанной границей и пределом, а изнутри положенным ограничением. Существование среди вещей не нуждается в совести, ибо это существование обременено пределами фактичности.

Сознание, будучи серией самоограничений, может привести к эмоциональному взрыву, направленному не вовне, а на самого себя. Сознать — значит всегда страдать, причинять себе вред, ущерб, стеснение. В результате самоограничения возникает чувство вины и совести. То есть дело не в том, чтобы сыновья сначала съели своего отца, а потом у них проснулась совесть, растворяющаяся в чувстве вины. Совесть не выводима из акта поедания. Она предшествует ему. Нуминозное переживание голоса совести, того, что есть в нас и от нас не зависит, открывает перед человеком перспективу трансцендирования, галлюцинаторной практики, расширяющей возможности совместного бытия в мире грез. В этом бытии переживания соединяются не со словом, а с материей случайного, в которую они упаковывают свои смыслы. Пустота фактического заполняется тем, что осмыслено, а осмыслено то, что пережито. К

составу первых осмысленных действий относятся не сцены охоты на животных, не изготовления орудий труда, а галлюцинаторные практики, которые реализуются в танцах, хоре и жертвоприношениях. Из них, а не из действий с предметами, извлекаются первичные смыслы, поэтому сознание — это всегда знание символов. Не сосуществование с другим в пустом мире фактического требует понимания, а пребывание самости в горизонте самоактуализации.

#### 4. Как рождается предметный мир сознания?

Сознательный опыт не выводим из какого-либо предшествующего ему опыта. В сознании нет ничего такого, что бы отсылало его к тому, что вне его. Сознание отсылает к самому себе, а само по себе оно есть воздействие на себя, которое всегда эмоционально. Следовательно, начинать движение к предметности нужно с беспредметной эмоции. А поскольку сознание не совпадает с содержанием сознания, постольку нужно начинать с эмоции, которая исключает это несовпадение и является ничем иным, как собственным содержанием. Из материи эмоции рождается предмет и мысль о предмете. Выготский писал: тот, кто оторвал мышление от эмоции, «навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причины самого мышления»<sup>139</sup>. А это значит, чтобы дойти до корней мысли, нужно забыть то, что мы знали. Например, можно радоваться радости. Содержание радости — сама радость, а не ее предмет. Радость — это поток энергии в телах дословного, некая самоаффектация. Радостно быть в потоке, радостно быть потоком, радостно встречать весну и солнце. Во всех этих случаях мы имеем дело с феноменом эмоции. Эмоция сопряжена с желанием. «О, как мы хотим, чтобы пришла весна». В этом эмоциональном желании появляется новое качество, а именно: «пришла весна». Но субъект желания еще не весна. Она все еще является предикатом скрытой эмоции.

Следующим шагом к предметности является предметное чувство радости: «Все рады, что пришла весна». Я мог бы и не радоваться, мог бы ее и не заметить, но все заметили, и я вместе со всеми. Здесь

мое чувство предметно.

И вот наконец эмоциональное облако пробито, радость и весна отделены друг от друга. «Пришла весна» — это суждение, касающееся предметности. Оно закреплено в формах языка и подлежит проверке в терминах истины и лжи. Я, конечно, рад, что она пришла, но весна пришла не потому, что я рад. Моя радость не имеет к ней никакого отношения. Причина радости во мне, а не в весне. А причина того, что пришла весна, лежит вне меня, в области фактического. Появление фактического сопровождается мыслью о фактическом. Так из эмоционального облака проливается предметный и, вместе с тем, мыслительный дождь.

Если эмоция — это сознание без знания, которое можно назвать мы-сознание, то язык — это знание без сознания. Говорить — это не значит сознавать, это значит быть в порядке другого. А молчать — это не значит утаивать сказанное, это значит быть в порядке смысла. Переживать и осмысливать — одно и то же. Расширение смысла возможно только как расширение позиций эмоции. Смысл и эмоция составляют одно целое. Например, при встрече со львом у тебя возникает чувство страха. И это чувство осмысленное. Если бы оно не было осмысленным, то оно не послужило бы причиной бегства. В суждении «пришла весна» нет переживания, это мысль. Причина бегства лежит не в мысли о льве, а в чувстве, поэтому мысль может пониматься как чувство, убитое знаком, как результат отделения смысла от переживания знаковыми фильтрами. В результате лев становится словом «лев», в котором фиксируется не этот лев, от которого нужно убежать, а идеальный лев. В минуты опасности эмоция работает, по словам Платона, как взволнованное сознание, избавившееся от знаков.

## **5. Рефлексия по поводу сознания**

«Идеальное — это субъективное», — с таким тезисом в середине прошлого века выступил Д. Дубровский. Если усыпить, говорил он, всех людей на десять минут, то на нашей планете исчезнет идеальное. На его взгляд, идеальные вещи существуют только в

сознательных состояниях отдельных людей<sup>140</sup>.

Ему возражал Э. Ильенков, согласно которому идеальное существует не в голове человека, а за ее пределами, в предметно-практической деятельности, в отношениях между людьми. На его взгляд, в идеальной вещи нет ни грана вещества, но оно объективно. Спор между Дубровским и Ильенковым ничем не закончился. Чтобы его закончить, им нужно было в субъективности найти почву для объективности.

Серл в книге «Открывая сознание заново» не ищет объективное в субъективном. Он просто повторяет аргумент Дубровского. Серл пишет: «Когда я просыпаюсь, я вступаю в состояние сознания. Когда я засыпаю, мои состояния сознания прекращаются»<sup>141</sup>. По его мнению, сознание — это нередуцируемое свойство физической реальности. Например, говорит Серл, мне больно, но нет ни одного факта в мире, который бы этому факту соответствовал, тем не менее, мне больно. Субъективность является свойством утверждений от первого лица. Объективность является свойством утверждений от третьего лица. Их нужно просто отличать.

На мой взгляд, самое скверное — судить о сознании по телесности. Например, тебя укололи. Конечно, тебе сделали больно, но ведь уколом тебе не дали сознание. Укалывать — не значит прививать сознание. Боль — это не факт телесности, это пребывание в состоянии подлинного, в котором ты противостояшь миру, заявляя ему, что ты не часть мира.

Деннет утверждает: «Голое человеческое сознание без бумаги и карандаша, без речи... это нечто невиданное для нас»<sup>142</sup>. Согласно Деннету, робот в принципе может обладать сознанием, для этого ему нужно только дать карандаш и бумагу.

На мой взгляд, и Деннет, и Серл не хотят смириться с тем, что сознание — это первичное самоограничение, что это невроз. Различие между больным и нормальным сознанием, бодрствующим и дремлющим человеком состоит в тех образах и галлюцинациях, на

которые они реагируют, и в тех сигналах, на которые они не обращают никакого внимания.

Для П. Рикера решающим является следующее утверждение: «Гегель и Фрейд показали, что философия сознания невозможна»<sup>143</sup>. Она невозможна потому, что сознание и знание о сознании не совпадают. А поскольку они не совпадают, постольку сознание не может быть, согласно Рикеру, полностью актуальным. То есть Рикер вычеркивает сознание из списка самоактуализирующихся феноменов. Рикер перестает различать сознание и речь, хотя сознание — это образ, рождающий эмоцию, а речь — это действие, то, что коренится в образе, в реализованной галлюцинации. Эмоция запускает речь или тормозит ее. Речь внушает и повелевает.

Более точное высказывание о сознании можно найти у Деррида. Он пишет: «Слышать собственный голос (именно это, конечно, и называется сознанием) так близко от я, в котором означающее полностью стерто, — это чистое самовозбуждение. Оно необходимо принимает временную форму, а не ищет вне себя, в мире или реальности никакого означающего, никакой субстанции выражения, чуждой своей собственной стихии»<sup>144</sup>. Сознание — это возможность слышать самого себя, свой голос. Попросту говоря — это чистое самовозбуждение. Но для того чтобы появился свой голос, чтобы в «я» было полностью стерто означающее, требуется непрерывное самоограничение, которое доводит тебя до плазменного состояния, в котором ты слышишь свой голос. Свой голос — это голос стыда, совести и чувства вины. Поэтому наиболее точное определение сознания принадлежит Соловьеву, который говорит так: стыжусь — следовательно, существую.

## Резюме

Только в состоянии неистовства, только самоограничениями люди могут довести себя до плазменного состояния, в котором они могут услышать собственный голос. Этот голос и есть сознание.

## 6. Сознание и время

Существует проблема соотношения сознания и времени. Деррида полагает, что сознание необходимо принимает временную форму. Но если оно принимает временную форму, то тогда исчезает плазменное состояние, в котором человек слышит свой собственный голос, поскольку это плазменное состояние не имеет внутри себя смены состояний.

Деррида в этом вопросе следует за Хайдеггером, который думает, что не самость, а только «время действует на само себя». Поэтому сознание, взятое в способности к самосознанию, есть, согласно Хайдеггеру, не что иное, как время. А это значит, что оно не может быть собрано из последовательных состояний сознания. Иначе потребовалось бы еще одно сознание, которое бы осознавало последовательность состояний сознания. А поскольку и это сознание следует свести к последовательности, то тогда одна последовательность состояний осознавала бы другую последовательность, что абсурдно. Поэтому нужно признать существование такого состояния человека, которое не имеет внутри себя смены состояний, то есть времени. И это есть сознание. Сознание не имеет за собой никакого другого сознания, чтобы себя осознавать. Значит, оно есть и последовательность, и сознание последовательности. Не может быть так, чтобы было два сознания — одно, расположенное во времени, а другое — вне времени. Есть только одно сознание, которое находится во времени и вне времени и которое не имеет внутри себя смены состояний. Сознание являет себя чувственно-сверхчувственным феноменом. Видимость существования двух сознаний отсылает к речи, которая скрывает полноту сознания, предъявляя его как некую последовательность. Сознание, не структурируемое речью, является полным, оно не раскладывается в последовательности, ибо не имеет внутри себя смены состояний. Сознание, структурируемое речью, теряет полноту и раскладывается в последовательности своих состояний.

Если сознание — это время, то тогда эмоция — это не переживание, а представление о переживании. А чувства — это

всего лишь утрата или приобретение представления. На мой взгляд, в жесте и крике еще живет сознание, а в знаке его уже нет. Когда в речи появляется сознание, речь превращается в жест. Речь без жеста — это условие взаимозаменяемости людей, условие коммуникации между ними. Почему каждый человек может поставить себя на место другого? Потому что каждый — это событие языка, а не событие сознания. Бытие для себя, или самовозбуждение, это сознание. Бытие для другого — это язык, и вместе им не сойтись.

## **7. Сознание как эхо: критика Выготского**

Почему мы уверены, что сознание существует? Например, Джемс не был уверен в существовании сознания. Он полагал, что сознание — это еще не вполне доказанный факт. Выготский симпатизирует Джемсу, но существование сознания считает вполне доказанным. И приводит два факта.

### **7.1 Факты, подтверждающие существование сознания**

Существует закон внутреннего торможения, открытый Павловым. Он состоит в том, что у животных любой условный рефлекс угасает, если он не подкреплён безусловным рефлексом. Иными словами, если ты не будешь подкармливать животное, то оно быстро забудет выработанный у него рефлекс.

Было бы очень интересно узнать, что бы сказали феноменологи по этому поводу. Они, видимо, не обнаружили бы здесь любимые ими интенции. Либо интенциями они назвали бы то, что Павлов назвал безусловными рефлексам.

У человека сформированный рефлекс не угасает. А по мере повторения закрепляется до автоматизма, не требуя никакого подкрепления. Причина этого состоит в реакции сознания на слово.

Другой факт, подтверждающий существование сознания, связан с именем Ухтомского, который открыл закон доминанты. Этот закон гласит о том, что у животных есть такие возбуждения, которые заставляют работать на себя другие возбуждения. Например,

половое возбуждение кошки только усиливается за счет других возбуждений.

Внимание человека на чем-либо ослабляется посторонними возбуждениями. В ослаблении внимания следует, согласно Выготскому, видеть факт присутствия сознания.

## 7.2 Сознание как эхо

Выготский пишет: «Сознание всегда эхо, ответный аппарат»<sup>145</sup>. Что это значит? Это значит, что наше тело, согласно Выготскому, обладает способностью быть раздражителем для самого себя. Одни реакции тела выступают как раздражители для новых реакций тела. «Такова, — говорит Выготский, — основа сознания»<sup>146</sup>. Наше тело как бы гоняет себя по кругу.

Тем самым решение вопроса о сознании зависит от того, как мы будем понимать выражение «наше тело». Если в нем ключевым является слово «тело», то тогда не понятно, почему оно гоняет себя по кругу. Если же в нем главным является слово «наше», то тогда хотелось бы узнать, чем наше тело отличается от любого другого тела. Это во-первых. И во-вторых, если наше тело способно к самораздражению, то за счет чего? Если я правильно понимаю Выготского, то у него и собаки обладают механизмом самораздражения. Но значит ли это, что они переживают свои рефлексы сознательно? Конечно же, нет. Потому что переживание предмета не замещается у них переживанием переживания, то есть сознанием. А почему? Потому что у них нет, как скажет Выготский, внутреннего чувства.

## 7.3 Внутреннее чувство

Согласно Выготскому, внутреннее чувство представляет из себя эхо, отзвук на реакцию организма. Что же понимается под эхом? Выготский разъясняет так: только я сам и я один могу наблюдать мои вторичные реакции, мои реакции на реакции. Никакие зеркальные нейроны не помогают другому человеку видеть эхо

моих реакций. Движение моей руки вижу я и видит другой. Это движение — раздражитель для меня и для другого. В этом движении нет никакого сознания, и в восприятии нет сознания. А вот проприоцептивные возбуждения, например, сужение кровеносных сосудов, могу наблюдать только я один. Они есть только у меня. Они вызывают вторичную реакцию, которая является психической. «Психическое, — пишет Выготский, — потому именно и не похоже ни на что другое, что оно имеет дело с раздражениями, не встречающимися нигде более, кроме моего тела»<sup>147</sup>. Поскольку есть что-то, что есть только у меня, постольку важным становится вербальный отчет об этих состояниях. Но не слово, а изображение является первичным отчетом об этих состояниях.

Одним из философских следствий этого тезиса является положение о том, что мыслить и наблюдать за мыслью в один и тот же момент нельзя. Должны быть два момента, два шага. В одном ты мыслишь, в другом ты рефлексируешь. «Я сознаю, — говорит Выготский, — поскольку я новые рефлексы могу воспринимать как новые раздражители»<sup>148</sup>. То есть мои слова выступают для меня как новые раздражители.

#### **7.4 Критика Выготского**

Выготский полагает, что слово, сказанное мною молча, про себя, и слово, сказанное другим вслух, — одно и то же слово. Потому что и то, и другое я могу произнести вслух. На этой возможности строится представление о том, что индивидуальное, мое конструируется на основе социальности.

Возражение требует смены стратегии рассуждения. Другой существует не потому, что он другой, как думает Выготский, а потому, что я отношусь к нему как к другому. Другой не субстанция, а функция, учрежденная мной. Я же узнаю себя вне зависимости от того, узнает ли меня другой.

Отсюда следует, что я познаю другого постольку, поскольку я познаю себя, а не наоборот. Если бы я познавал себя постольку,

поскольку я сознаю другого, то я бы никогда не осознал себя, потому что некому было бы осознать другого.

Слово, рожденное в молчании, адресовано тебе самому, в нем то, что выражается, и то, что означается, совпадает. Это слово-изображение. В этом слове нет заднего плана, в нем нет иносказания. Слово, сказанное другим, имеет для меня заднюю мысль, в нем есть иносказание, несовпадение выраженного и означенного. Слово, сказанное вслух, может быть адресовано другому человеку. Это слово-знак.

Выготский не обращает внимания на то, что внешняя речь без внутренней речи является речью попугая, то есть автомата. И из этой речи никакой ее интериоризацией не удастся создать внутреннюю речь, ибо внутренняя речь — это не речь про себя, не обломки внешней речи, а речь, обусловленная существованием произвола воображения.

Из определяющей роли другого Выготский выводит принципиальную двойственность сознания: «Представление о двойнике — самое близкое к действительности представление о сознании»<sup>149</sup>. Но двойственность сознания обусловлена не другим, не социумом, ибо другой учреждается моим отношением к нему, а круговыми реакциями эмоции на эмоцию, то есть амбивалентностью, двоичностью строения самой эмоции. Согласно теории Выготского, у слепоглухонемых не может быть сознания. У них есть центры речи, но у них отсутствуют слух и зрение, а это значит, что их речь не возвращается к ним же самим как раздражитель, они себя не слышат, поэтому их речь бессознательна и асоциальна, она у них является скорее рефлексорным выкриком.

Но слепоглухонемые говорят, и сам Выготский позднее об этом скажет. Поэтому одно из двух — или сознание не эхо, или не существует говорящих слепоглухонемых. Ошибка Выготского состоит в том, что он сознание начал искать в устройстве тела, а не в устройстве тех множественных асоциальных бессознательных потоков дословного, которыми рождалось сознание как

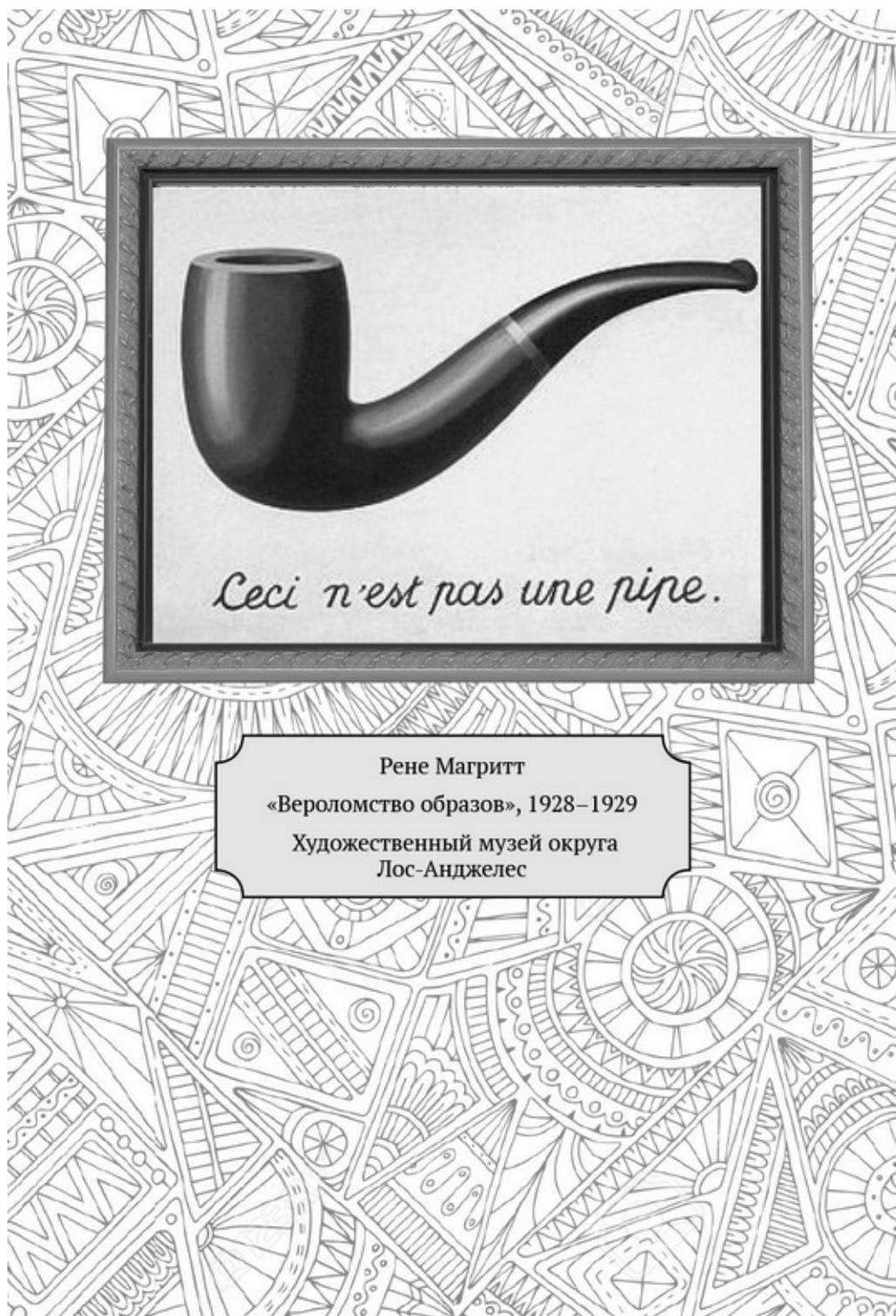
самоограничение. Человек всегда думает про себя, его мысль рождается в молчании, и мы никогда не узнаем о том, как эта мысль влияет на его поведение. Наша мысль двоится не потому, что мы шизофреники, наоборот, мы шизофреники потому, что наша мысль изначально раздвоилась в эмоции. Человек всегда находится в критическом состоянии. Он всегда одинок, хотя никогда не существует один. Люди «единоки». Их сознание кооперативно.

Что я точно знаю о сознании?

Я знаю, что мы сознательно делаем то, что иным образом сделать нельзя. Если бы можно было обойтись без сознания, то мы бы обошлись без него. Сознание необходимо, ибо оно дает нам свободу. Благодаря ему в нас есть спонтанность и произвол.

Я знаю: несчастье быть мыслящим, но неразумным. Мыслить — значит грезить. При этом наши фантазмы никогда не бывают индивидуальными, это всегда групповые фантазмы. Грезящий воспринимает предмет без предмета и не видит то, что видно.

Нельзя не знать, что сознание — это всегда уже-сознание. А уже-сознание — это исток, полнота которого не имеет внутри себя смены состояний. Уже-сознание не может быть временем, ибо время — это бесконечность, как в одну сторону, так и в другую. Время, которое полагает себя как время, это не время, а самость. Уже-сознание полагает жест. В жесте рождается указание, указательный жест. Указание ведет нас к значению. Вербальный жест есть клятва. Клятва — исток языка. Язык пытается задать сознание последовательностью знаков, поэтому сознание всегда не там, где оно есть. А там, где оно есть, язык ведет себя неуверенно. Предел языка — в пространстве крика, молчания и боли.



Рене Магритт  
«Вероломство образов», 1928–1929  
Художественный музей округа  
Лос-Анджелес

## Глава 11. Язык

Ранее я говорил о том, что жест является одним из основных элементов антиязыка, который обеспечивает работу сознания на уровне эмоций и чувства. То, что я называю антиязыком, Выготский называл автономным языком ребенка, полагая, что автономный язык — еще не язык, но скорее переходная форма, посредствующее звено между не языком и языком. То, что, в свою очередь, сменяется современным языком.

В жесте сознание впервые явило себя миру. Явить себя миру — это не значит стать видимым, выйдя из потаенности. В первую очередь это значит что-то сказать. Говорить — это значит указывать пальцем, поэтому указательный жест является жестом вообще. В наскальной живописи сознание уже вышло из потаенности, сделав себя видимым.

Что же придает жесту направление? Его направляет смысл. А. Валлон приводит пример отношений охотника и собаки. Когда охотник куда-то всматривается, в том же направлении смотрит и собака. Но стоит охотнику указать на что-то пальцем, как собака начинает прыгать вокруг охотника, пытаясь допрыгнуть до его руки. Ее движения становятся бессмысленными, встретившись с жестом сознания. Жест — это материя, не отделимая от реализованного на ней смысла, которым пузырится любое переживание.

Жест, лишенный смысла, теряет связь с сознанием, становясь знаком, тем, что связано не с переживанием, а с языком. Знак произволен, жест не произволен. Произвол делает возможным свободное перемещение знака по семантическим полям. Без этой свободы язык никогда бы не стал языком. Откуда же взялась свобода у языка? Произвольность знака означает, что он не собирается реагировать на то, что есть. На то, что существует в пределах видимости, реагирует жест. Свобода языка связана с произвольностью знака, с тем, что он позволяет сделать двойкий разрыв: с одной стороны, со смыслом, а с другой — с детерминирующим действием наличной ситуации. Произвольность блокирует сигнальное действие среды и открывает пространство

для знаковых отношений.

## 1. Язык, или Встреча с другим

Сигнал говорит о том, что дано в наличии. Язык не говорит о том, что есть, он не указывает на присутствие существующих вещей. Напротив, он лишает бытие присутствия, чтобы говорить о ничто. Язык столько же говорит, сколько и молчит. Он молчит о том, что есть, и говорит о том, чего нет, но еще только будет или уже было.

Роль знака может играть выразительное отсутствие знака: тебя спрашивают, а ты молчишь, не отвечаешь, то есть говоришь «нет». Хотя в иной ситуации молчание — знак согласия. Или вот ты ожидал увидеть на лице улыбку, а ее нет. Есть выразительное отсутствие этой улыбки, поэтому отсутствие знака в знаковой ситуации — это тоже знак.

Жест открыт, знак скрытен. Разговор о том, чего нет, нужен языку для того, чтобы скрыть наличное, то, что есть. Эмоции человека всегда искренни. Правдивость эмоций и чувств хороша в мистериальном действии, на карнавале, но она является препятствием для того, чтобы люди могли быть вместе. Язык знаков — это та уздечка, которая накидывается на эмоции с тем, чтобы их обуздать. Язык возникает для того, чтобы скрыть истину, о которой говорят чувства. Он ее прячет и хранит в забвении. Произвол языка служит социуму, скрывая истину чувств, потому что если эту истину не скрыть, то совместная жизнь людей станет невозможной.

Однако социум не желает зависеть от языка. Он противопоставляет свободе языка, произволу знаков необходимость нормы, власть одного и того же. Социум нормирует словоупотребление, накидывая узду на язык, который позволяет каждому пользоваться любым знаком для новых номинаций. Усмирение языка укрепляет общество. Конечно, в языке есть области, в которых связь с объектом произвольна, например, в слове «жужжать». Знак всегда может порвать эту связь и уйти гулять по полям прагматики и семантики. «Но только социум может определить, закрепятся ли такие индивидуальные вариации как

новшества, вносящие изменения в систему, или нет»[150](#).

Если язык скрывает истину, то социум скрывает произвольность языка. Язык ослабляет власть социума, освобождая место для неязыковой материи, для семантики неязыковых сигналов, через которые дает о себе знать наличное. Поскольку язык скрывает истину чувств, постольку информацию о наличном мы извлекаем не из слов, а из неязыковой материи языка, из антиязыка, из невербальных и паравербальных сигналов, сопровождающих слова.

Язык нужен социуму для того, чтобы автоматизировать действия людей, подчиняя грезы общему порядку. А это значит, что язык лишает людей сознания, проникая в каждого из нас без нашего на то согласия. Поэтому язык — это враг сознания, но друг мысли. В той мере, в какой язык использует человека, человек использует язык для защиты своего уже-сознания от другого. Поэтому в языке видны следы этой борьбы с человеком: язык является всегда двусмысленным и иносказательным. Поскольку язык находится между сознанием и социумом, постольку на него притязают обе стороны. Неязыковое в языке защищает семантическую свободу языка. Языковое в языке позволяет человеку построить вокруг себя барьер, защиту своей самости от другого.

Встреча с самим собой всегда рождает сознание, которое знает о себе, не выходя за пределы себя. Встреча с другим рождает язык и непонимание как защиту от другого. Если сознание переживает смыслы, утрата которых невыносима для жизни, то язык предаёт забвению эти переживания. Язык позволяет чувству скрыться, чтобы затем перевести его в план выражения. Уже-сознание — это внимание сознания к самому сознанию. Но когда появляется язык, внимание сознания обращено на то, что говорится языком, то есть на язык. Поэтому невысказанные чувства всегда существуют, а невысказанные мысли не существуют. Язык создает пространство для обмена мыслями, но мысли в языке не от языка, а от ума.

Ум нужен другому, который растит его, ухаживает за ним. Любая мать ждет, что ее ребенок поумнеет, станет послушным, что он

будет делать то, что она хочет, ведь быть умным — значит быть послушным. Поэтому она культивирует в ребенке ум. Но ум, культивируемый другим, оставляет нас в дураках. Поэтому человек отвечает безумием на ум, невысказанным на мыслимое в слове, находя опору в немой речи своей души. В горизонте другого возникают знание, знаки и обман. «Ложь, — по словам Витгенштейна, — это языковая игра, которой нужно обучаться, как и всякой другой»<sup>151</sup>.

В пространстве другого нужно все время говорить. Любая остановка речи показывает тебе твою пустоту. Говорить — значит, опустошаясь, все время ставить в центр другого и вступать с ним в коммуникацию. Мыслить — значит выпадать за пределы коммуникативного пространства, ибо мыслить — значит ставить в центр самого себя, выталкивая из каналов общения коммуникативные заглушки.

Нельзя одновременно говорить и мыслить. Ибо мысль смещает в сторону от языка, делая тебя косноязычным, а язык смещает тебя в сторону от мысли, давая повод для пустословия.

Когда человек говорит больше того, что он успел сказать, тогда возникает сверхсказанное, и поэтому в возникшей ситуации неважно, кто говорит. В любом случае сказанному с одной стороны требуется понимание с другой. Сверхсказанное можно только понимать.

Если человек говорит меньше того, что он хотел сказать, то решающее значение имеет недосказанное, и, следовательно, имеет значение не тот, кто говорит, а тот, кто договаривает недосказанное.

Если я говорю столько, сколько я сказал, то в данном случае возникает обмен пустыми знаками с другим. В этой ситуации нечего ни договаривать, ни понимать.

Если человек не реализует себя в коммуникации, то у него возникает чувство одиночества. Если он реализует себя в

коммуникации, то у него возникает чувство пустоты. Каждый человек прокладывает свой путь между одиночеством и пустотой.

## 2. Знак и имя

Гегель пишет в «Философской пропедевтике»: «Произвольное соединение какого-нибудь внешнего существования с некоторым не соответствующим ему и по содержанию отличным от него представлением, выражающееся в том, что это внешнее существование отождествляют с данным представлением или, лучше сказать, с его значением, превращает это существование в знак»<sup>152</sup>. Как же получается произвольное соединение вещи и значения?

### 2.1 Банки с ленточками

Знак всегда что-то обозначает, к чему-то отсылает. Знак, который ничего не обозначает, отсылая к самому себе, перестает быть знаком. То есть сам по себе знак — ничто. У знака нет своей сущности. Единственное свойство знака, по словам Деррида, не быть образом. Знак выполнен всегда в какой-нибудь материи. Знак — это предмет. Например, есть банки с ленточками и банки без ленточек. В банках с ленточками лежат конфеты, а банки без ленточек пусты. Так вот ленточки — это знаки. Но знаки чего? Они могут обозначать то, что в банке лежат конфеты, что в банке нет конфет, что в банке вообще ничего нет, что ее нельзя использовать и т. д. Знание вариативных значений открывает в знаке возможность означать что угодно. Знаковая связь — это связь между тем, что наблюдаемо, и тем, что не наблюдаемо.

### 2.2 Знак вообще

Речевой знак — это знак вообще. Либо не существует ни одного знака, либо их сразу два, и обозначают они один предмет. Если бы они обозначали разные предметы, то были бы именами. Поскольку их два и они обозначают один предмет, постольку они не тождественны. Поскольку они обозначают один предмет, постольку

они равны. И один знак всегда можно обменять на другой знак. Не имея содержательных отношений с предметом, они могут вступать между собой в отношения синонимии. Синонимия делает знак знаком<sup>153</sup>. Антонимы ограничивают обмен знаками. Не всякий знак можно обменять на знак, и поэтому можно что-то сказать.

Поскольку знак — это всегда два знака, постольку смысл не может быть приписан одному знаку. Он находится между двумя знаками, убегая по цепочке метафор от первого знака ко второму. Если бы смысл можно было приписать одному знаку, то он был бы всегда на месте, всегда уже здесь, и текст потерял бы смысл, речь стала бы невозможной, ибо стало бы невозможным переопределение смысла, переозначивание знака. Благодаря тому, что смысл всегда уже не здесь, люди могут разговаривать, можно читать и перечитывать заново любые тексты. Значение, равно как и смысл, где-то начинается и где-то заканчивается. Начинается с тождества, заканчивается на пределе. Между существованием в начале и существованием в конце находится весь объем значений и смыслов.

Пустой знак — это знак без значений, знак того, что было, но не знак того, что есть. Если бы не было пустых знаков, то не было бы и речи, то есть связи между воображаемым и языком.

Поскольку знак — это не калитка, ведущая к значению, а мяч, которым играют по правилам, постольку знак, как мяч, перекидывается от одного человека к другому по правилам языка. А это значит, что бы мы ни сказали, язык придает сказанному двусмысленность. Эта двусмысленность удерживает в себе свободу языка. Поэтому двусмысленность речи состоит не в том, что происходит обмен словами между двумя людьми, а в изначальной двусмысленности языка.

### 2.3 Значение

Значение в языке — из антиязыка, который на него указывал и держал его перед глазами. Язык стирает следы происхождения значения и делает его производным от обмена речевыми знаками.

Значения не принадлежат языку. Знак, прикрепленный к значению, становится именем, которое разрушает язык. Язык присваивает себе то, что ему не принадлежало. Он существует, если один знак всегда можно обменять на другой, одно слово — объяснить через другое, с одного языка перевести на другой. Значение язык понимает как инвариант синонимического обмена между знаками. Если не будет обмена знаками, то не будет и значения. Значение — это для языка уже не вещь. Значение слова «лошадь» — не вот эта данная лошадь, значение слова «яблоко» — не это яблоко. Мы едим яблоко, но не едим значение. Чтобы вернуться к первоначальным значениям, к наглядности смысла, языку нужно пойти на поклон к антиязыку, совершив падение в магические синтезы аутистического сознания.

## 2.4 Имя

Имя не относится к знакам, ибо оно привязано к значению. Имя — это жест, который отделяет именованное существование от неименованного существования. Именованное существование может быть множественным, а может быть индивидуальным. Например, племенное имя для его носителей было признаком принадлежности к определенному множеству. Затем появляется индивидуальное имя. Когда рождается ребенок, ему нужно дать имя. Но чтобы дать имя, его нужно у кого-то взять. Имена на дороге не валяются, нельзя взять имя напрокат, на время. Взять — это значит отнять, то есть убить кого-то, чтобы овладеть его именем. Имя — это самое ценное, что есть у человека. Это то, что делает тебя элементом символического порядка, то есть делает тебя нашим, в отличие от них, чужих. У людей своего племени нельзя отнимать имя, поэтому отнимают имена у чужого племени. Этим занимаются охотники за головами, которые отлавливают человека из чужого племени, заставляют его назвать имя, затем отрубают голову и хоронят ее в месте, о котором никто не должен знать. После этого ребенку дается имя убитого. Это имя, кроме родителей, никто не знает, его никому нельзя сообщать, потому что тот, кто знает настоящее имя человека, может сделать с ним все что угодно.

### 3. Деррида и присутствие

Деррида полагает, что с помощью понятия знака поколеблена метафизика присутствия<sup>154</sup>. Присутствие одним тем, что оно присутствует, не нуждается в знаках. Оно исключает их. Знаки всегда о прошлом и о будущем, о том, что отсутствует. Язык не говорит о настоящем, он репрезентирует, ибо трудно говорить о том, что есть, и легко говорить о том, чего нет. Знак, отсылая к тому, что отсутствует, ничего не означает. Поскольку нет означаемого, постольку не нужен и сам знак. «Но мы, — пишет Деррида, — не можем избавиться от понятия знака, не отказываясь от критической работы, которую против него ведем»<sup>155</sup>. От знака можно избавиться там, где нет дуальностей, а именно: в пространстве пассивных синтезов уже-сознания. То, что Деррида называет «мутным ядром в сети значений», говоря об инцесте, является продуктивным синтезом воображения, ускользящим от осмысления в бинарных терминах. Не вопрошание истории бинарных понятий, не сохранение старых орудий мысли, отделенных от истины, а «смелый подступ к тому, чтобы сделать шаг вне философии»<sup>156</sup> является плодотворным для философии.

### 4. Язык и поведение

Язык возникает в мистериальном действии как элемент ритуала, в котором соединяются звуки и вещи, на которые ранее мог указывать жест. Звук, употребленный на месте жеста, получал значение жеста и становился словом. При этом звук мог варьироваться. Он мог быть каким угодно. Значение его оставалось неизменным. Оно не зависело от обмена звуками. В ритуале предмет следует за смыслом, воплощает его, то есть подводится под звуковое слово. Вне ритуала в коммуникации слово следует за смыслом предмета. Поскольку сообщается о предмете тем, кто вне мистерии, постольку слово начинает иметь значение как нечто отделенное от предмета. Значение слова начинает существовать отдельно от предмета, оно перестает быть предметом. Поэтому, когда мы едим яблоко, мы уже не едим значение яблока. Значение

«поедается» в символическом жесте, в ритуальном действии. При этом безличные глаголы некоторые исследователи рассматривают как ритуальные свойства речи, в которой нет деления на субъект и объект действия, например, «вечереет», «смеркается». Тогда как сообщение для других говорит иначе: «рассвет настает», «вечер наступает».

Язык — это поведение человека, а не рассказ о поведении. Первичный слой языка — слова заклинающе-ритуальные (Топоров). Каждое такое слово — это слово-действие, жизненное событие. Сначала слова были аутистическими знаками желаний, повелениями, обращенными к самому себе, самоограничениями типа «клянусь», затем повелениями, обращенными вовне, после этого знаками представлений и, в конце концов, знаками предметов мысли. От перформативных знаков движение идет к императивным и далее к номинативным функциям.

Изначально речь могла сводиться к одному слову, к одному звуку. Звук по своей сути связан с эмоцией, он императивен по существу. Расширение языка — это расширение речи, стремление говорящего расширить ту однословную звуковую площадь проявления своей внутренней сущности, которую давала эмоция. А поскольку эта суть проявляется в эмоции, постольку расширить звуковое пространство — значит выйти за пределы эмоции. Первый шаг за пределы эмоции создает внешний взгляд на вещи. То есть внешний взгляд — это трансгрессировавшая эмоция, вынесенный вовне внутренний смысл.

Повторение одного и того же создает ритм, создает для человека новое пространство выражения его сути. Ритм заполняется тоновыми подъемами и падениями. Возникает мелодичность языка. Ритм умеряет эмоциональный порыв человека, успокаивает. Так язык сказывается на поведении человека.

#### **4.1 Дж. Остин**

Остин знаменит тем, что придумал оппозицию «перформатив —

констатив»<sup>157</sup>. Идея Остина проста: речь — это действие. Если речь — это действие, то цель языка — не сообщать о том, что является истинным и ложным, не передавать фактическую интерпретацию, не заниматься репрезентацией вещей. Цель речи — воздействие. Прежде всего императивное воздействие на самого себя. Речь — это инфлюативное действие, а не когнитивное. Если речь — это воздействие, то нельзя рассматривать языковые единицы — слова, предложения, пропозиции — как объекты, которые что-то обозначают и являются истинными или ложными. Камень, который бросают в собаку, ничего не обозначает. У него нет референта. Он не несет с собой истины или лжи. И ничего не сообщает. Камень повелевает собаке, передает ей приказ: уйди, сгинь. И собака понимает этот сигнал.

Слова — как камни. Они повелевают. Но не нужно думать так, что если речь — это действие, то оно помещается в пространство намерений и целей человека. Намерения и цели — не исходный пункт и не конечная объяснительная инстанция речи. Они не являются производными от действия, от речи. Мысль в действии не от действия, а от ума, в который вслушиваются в молчании речи. И если эта производность ума от тишины молчания скрыта, стерта в современном языке, то это указывает лишь на превращение формы, на то, что речь как действие выдает себя за немую речь мысли.

Витгенштейн пишет: «Язык — это инструмент»<sup>158</sup>. Если дело обстоит так, как говорит Витгенштейн, то нужно признать, что цели и замыслы действия — вне действия, вне языка. Воздействие предполагает то, что действует, и это «что» необъяснимо в терминах действия. Хотя любое действие предстает сегодня нормированным, подчиненным правилам, все же есть основания и в правиле видеть действие, которое ведет дальше целей и замыслов действия. Дело обстоит не так, что правило предшествует действию, формирует его и направляет, а напротив, действие предшествует правилу. Правила и нормы появляются вторым шагом, но в поле их функционирования все говорит о том, что они полагают себя как начало.

В статье Остина «Перформативы — констативы» не принимается в расчет превращение формы. Его перформативы заперты в пространстве субъективного. Они никого не касаются. Это не слова-камни. Они подчинены конвенции, искренности, обязательствам, то есть социуму. Вот пример перформативного высказывания. Остин говорит: «Я называю этот корабль “Свобода”», — и поясняет, что это высказывание не имеет силы, что он не может дать имя кораблю, если у него нет на то соответствующих официальных полномочий. Но «я» Остина — это не элемент социума, а его граница, предел. Остин обесмысливает силу возможного в речи-действии. Конечно, Остин не может совершить обряд крещения пингвинов. Но Остин может послать воздействие пингвинам, и они ему подчинятся вопреки всяким формальностям. Он может восстать против социума и аутистически назвать корабль «Свободой».

Остин лишает речь силы, обессиливает ее и тем самым оставляет от речи пустой звук. У Остина слова — как новогодняя хлопушка. Шум есть, а толку мало. Ведь пустой речью называется речь, которая не действует, не раздражает. Если тебе говорят «нажимай», а ты не нажимаешь, то «нажимай» является пустым словом. Десемантизация слова превращает его в первосигнальный раздражитель. Например, команда «кругом» является для солдата первосигнальной. Десемантизация слова достигается разделением высказывания на слова, слова — на слоги. Или изобретением последовательности, в которой материальный сигнал заменяется вербальным.

Депрагматизация слова превращает его в коммуникативную пустышку. Остин обессиливает силу своего самоограничения. Он может назвать корабль «Свободой», но его перформатив пустой, он лишен воли к власти. Если речь — это действие, то в речи важна суггестия, прескрипция, повеление. А к этой речи относится то, что Остин называет перлокутивными высказываниями, типа «беги», и локутивными, то есть аутистическими, типа «клянусь».

Тогда как иллюкутивные, или нарративные высказывания возникают на основе суггестивных гораздо позже. Всякое слово, на

мой взгляд, несет в себе суггестию. Всякая речь императивна. Первым императивом является самоограничение.

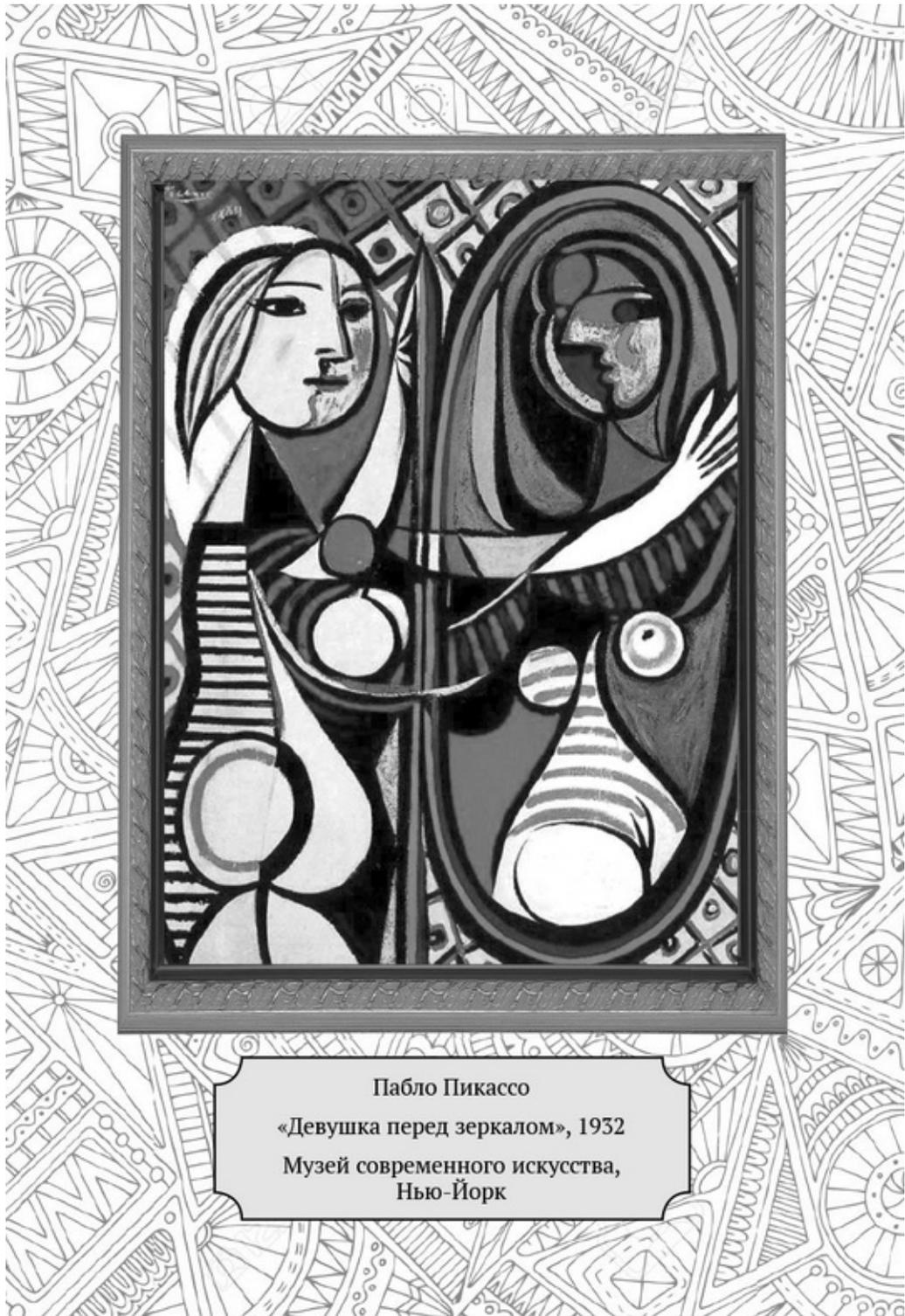
## 4.2 Границы языка

Онтология языка состоит из простых утверждений: то, что не выражено в языке, полагается несуществующим. То, что выражено, — существующим. Но тогда возникает вопрос: что значит молчать? О чем говорит молчание в присутствии языка? Есть две попытки ответить на этот вопрос. Первая попытка принадлежит Витгенштейну. В «Логико-философском трактате» мы читаем: «Границы моего языка означают границы моего мира». Но если это так, то тогда внутри моего мира нет ничего, что нельзя было бы сказать. А это значит, что мой мир всегда уже высказан. Следовательно, молчание нужно понимать как молчание опустошенного, высказанного человека. Молчит тот, кому нечего больше сказать. Но тогда нам нужно признать, что молчание является фигурой речи.

Вторая попытка принадлежит тем, кто пытается показать, что, наоборот, сознание устанавливает границы языка, границы того, о чем он может говорить. Он не может говорить о том, что существует, он может говорить о том, чего нет. Он не переживает чувства и эмоции, он представляет их, он замещает их репрезентациями. Но репрезентация чувства — это не чувство, это представление о чувстве. Язык ведет нас в мир представлений и там губит нас. Сам по себе язык — это немой, у которого нет ни мысли, ни сознания. Язык — пространство для обмена мыслями, это рынок, площадь для обмена и больше ничего.

Человек — это, по выражению Бибихина, первое молчащее существо. Почему человек молчит? Потому что ему всегда есть что сказать. Сказать — это значит соединить воображение и язык. Молчание — это ответ человека на призыв вещей что-либо им ответить. Ответить на зов вещей — значит самому быть вещью. Но на стимул мира человек отвечает не реакцией, а молчанием. Молчание — способ существования уже-сознания человека. И в этом смысле молчание — это не акт речи. Оно к речи не имеет никакого

отношения. Поэтому Хайдеггер в своей работе «Бытие и время» ошибается, когда говорит о том, что молчание является формой речи, что мы говорим наяву и в мечтах. Согласно Хайдеггеру, кто может говорить, тот может и молчать: «Только в настоящей речи возможно собственное молчание»<sup>159</sup>. Позднее Хайдеггер скажет иное: нет, все-таки «язык основывается внутри молчания»<sup>160</sup>, — что, на мой взгляд, более похоже на правду. Язык открывается в молчании. Мы не выбираем, молчать нам или не молчать, но мы выбираем, говорить нам или нет. Язык начинается с произвола, выбора. «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Хотя эти слова Витгенштейна следует, на мой взгляд, понимать наоборот: говорить можно только о том, о чем невозможно молчать.



Пабло Пикассо  
«Девушка перед зеркалом», 1932  
Музей современного искусства,  
Нью-Йорк

## Глава 12. Речь

Речь — это непрерывно возобновляемая попытка человека придать смысл бессмысленному. Если бы смыслы предшествовали бессмыслице, то тогда речь была бы невозможна, ибо было бы невозможно соединение языка и воображаемого.

Всякая речь состоит из двух частей: из говорения и слушания. Говорение задается звуками, слушание — молчанием тишины. Речь — это звуки, которые приняты тишиной молчащего. Жест изначально соперничал со звуками, стараясь овладеть молчанием. В итоге он овладел не молчанием, а звуком. Речь без молчания слушающего — это гул. Молчание человека без вслушивания в говорящего является глухотой. Поэтому всякая речь пульсирует между гулом и глухотой. Вот эта пульсация заставляет заново поставить вопрос о границе речи и слова, чтобы дать возможность проявиться воображению в пластике тела и в рисунке.

Не в звуковой речи, а в молчании лежат корни слова. В речи освобождаются силы воображаемого и создается пространство для символического действия.

## 1. Прагматика речи

Тот, кто говорит, нуждается в игре, ибо речь — это игра, в которой нет правил подбора слов, нет логики следования одного предложения за другим. Тот, кто слушает, нуждается в ритуале, в правилах, без которых невозможно понять говорящего человека. Ч. Моррис выделил три аспекта знаков человеческой речи: семантику, синтаксис и прагматику. Следуя за Поршневым, я полагаю, что важнейшим среди этих аспектов следует считать прагматику.

По Моррису, существует четыре типа знаков: знаки-десигнаторы, аппрайзеры, прескрипторы, форматоры. Десигнаторы информируют, называя или описывая. Аппрайзеры оценивают. Прескрипторы предписывают. Форматоры помогают разъяснить. Согласно Поршневу, все эти знаки можно свести к одному — прескриптору, предписанию, ибо, с антропологической точки зрения, первичным речевым актом является акт суггестии. Но первичная суггестия направлена человеком на самого себя, а не на

другого, как считает Поршнеv. Сначала человек клянeтся, а потом уже он проклинает.

В последнем случае речь-предписание связывает воедино все эти разные речи: речь-оценку, речь-информацию и речь-разъяснение. Речь внушает, а потом уже информирует. Поэтому речь стоит изучать со слов-предписаний. Среди слов-предписаний, на мой взгляд, нужно начинать с обращений к себе, к самости. В таких аутистических словах, как «клянусь», «обещаю», действие неотделимо от сообщений о действии. А в таких словах, как «стыд», мы имеем уже чистое действие, обращенное к себе. В этом действии упаковано предписание самости, ее самоограничение.

На суггестивное действие речи обратили внимание психологи. Так, Лурия в «Лекциях по общей психологии» говорил о том, что ему с животными работать тяжело. Чтобы выработать условный рефлекс у животного, его нужно было многократно повторять, все время подкрепляя. А вот с человеком работать легко. Ему достаточно было дать речевую инструкцию, и человек начинал сам себя программировать. И исследователю не нужно было ничего подкреплять и повторять. Лурия пишет: «Все это говорит об огромной пластичности и управляемости процессов сознательной деятельности человека, резко отличающей его поведение от поведения животных»[161](#).

Когда человек управляет? Когда у него сознание пересекается с языком и возникает речевое мышление. Сознание требует напряжения мысли. Язык заменяет это напряжение готовыми смыслами и значениями. Труднее всего управлять сознанием человека тогда, когда он отказывается от языка, когда его внутренняя речь переполнена уже-смыслами и реализует внутреннее движение его самости. Аутистически настроенный человек не вступает в диалог, в обмен контекстами, ибо его внетелесный опыт обесмысливает опыт тела, который является вербальным опытом. Он не может быть поименованным другим, потому что он ускользает от другого, реализуя имманентную логику своих видений даже ценой нанесения себе вреда. Если внешнее

предписание встречает сопротивление сознания, если на речь отвечают молчанием, то это значит, что ей противостоит уже не то же самое. Речь встречается не с речью, а с опытом первичного самовоздействия. Например, она может наткнуться на пассивные синтезы синестезии, на что-то дословное, на внетелесный опыт мистериального порядка.

Если на речь отвечают контрречью, то этот ответ является уже не событием сознания, а событием языка, некоей языковой игрой. Если тебе противостоит сознание другого, то нужно это сознание подчинить языку. Если сопротивление идет со стороны своего уже-сознания, то нужно к нему прислушаться и делать то, что оно говорит, то есть доверять своему первому впечатлению, ибо это будет предписание твоей интуиции, повеление твоего неозначенного.

Преградой на пути реализации слов-предписаний может стать непонимание, благодаря которому ты уклоняешься от суггестии, то есть фактически ты говоришь «нет», «я не согласен», потому что сопротивляются первичные синтезы твоего самоограничения. Преградой на пути речи-предписания может быть также отказ от «я», и тогда предписание есть, но адресата нет. Неясно, кому адресовано предписание. Преградой может быть контрречь. В свою очередь, отказ может быть сформулирован в виде вопроса. Вопросы — это языковая форма защиты самости от агрессии знакового сознания. Так обычно защищаются дети и студенты.

В коммуникации слова-предписания усиливаются словами-оценками, речью-информацией, речью-разъяснением. Но лучше всего прескрипцию перенести в систему умственных операций того, кто сопротивляется, сделать так, чтобы предписание поступало изнутри, а не извне. Тогда предписание становится самовнушением, аутоинструкцией. Для этого нужно: повторять постоянно одно и то же слово-описание, например, назывное «дурак» или «ты красива», «я люблю тебя». Нужно также следить за собеседником, чтобы вовремя зафиксировать момент, когда твои слова становятся языком описания опыта собеседника. Для этого

необходимо подстроить к нему свой голос, ритм, позу, дыхание, мимику, синтаксис. Тогда сработает эффект двойника. Ты — это он. А если сработает эффект двойника, то станет возможным и отделение сознания от тела, на котором оно реализовано. Возникнет парализующая ум возможность видеть свое тело со стороны. Защищая свое уже сознание, необходимо говорить неопределенно, двусмысленными предложениями, создавая промежутки, паузы, которые сознанию необходимо будет заполнить, прежде чем начнется языковая игра. Неопределенность никто не любит, особенно ее не любит тот аутист, который в нас сидит. Он вынужден будет достраивать неопределенность до определенности. И тогда он доопределит твой образ мира, а не «я», которое к тебе прилипло.

Если мы будем говорить слова без референта, то благодаря активному синтезу аутиста, который сидит в собеседнике, он сам создаст этот референт. Чтобы дать возможность для вербального синтеза, необходимо говорить такие слова, у которых есть свободные предикаты. Не нужно говорить «я бегу домой», следует сказать «нужно бежать» неизвестно кому и неизвестно куда. Нужно как можно чаще использовать пресуппозиции, например, ты говоришь «студент глупый», а предполагается, что «студент есть». В речи необходимо оставлять пустыми ячейки смыслов, тем более что в ней не имеют презентации уже-смыслы и собеседник вынужден будет дополнить отсутствующие смыслы в поверхностной структуре предложений. Можно отказаться от слов-предписаний, заменив их вопросами и просьбой «не могли бы вы...». Необходимо оставлять собеседнику как можно больше свободы, для того чтобы занять его сознание, загрузить его и тем самым снизить его сопротивление, открыв в него вход словам-суггесторам.

Перевод повеления в форму самовнушения возможен в ситуации, в которой человек лишен тишины молчания. Нельзя оставлять человека наедине с собой. С ним всегда должен быть другой в виде радио, телевидения, сети Интернет и т. д. В ситуации, в которой никто себя не слышит, никто не может быть сообщен со своим сознанием, с тем, что продуцирует немислимое мысли. Разложение

субъектности, смена ее знаков возможна в человеке, погруженном в ничем не прерываемый гул. Всякий суггестор заинтересован в том, чтобы лишить человека речи, обращенной к самому себе. Лишить человека этой речи — значит лишить его мысли. Для этого у него нужно лишь отобрать молчание. Тот, кто готов подчиниться предписанию, кто готов стать агентом языка, но не понимает его знаков, тот должен обратиться к вспомогательным словам, разъясняющим речь того, кто предписывает. Чтобы знак действовал на человека, последний должен его понимать. Понимание знака — условие превращения человека в знаковое тело. Непонятный знак — это не знак, а условный раздражитель, на который отвечают нервной реакцией. Человек реагирует на вербальную команду как на условный раздражитель. Следовательно, ему не нужно ее понимать. Люди понимают не потому, что есть знаки, наоборот, знаки существуют потому, что люди понимают. И это понимание носит символический характер, а не знаковый. Понимать можно, когда то, что ты пытаешься понять, ты уже понимаешь. Поэтому понимание мыслимо как понимание сверхсказанного, того, что сказано вне связи с познанием. Понимать и знать — это онтологически разные стратегии. Одно дело — испытывать мир собой, то есть понимать его, а другое дело — знать. Любое высказывание становится понятным тогда, когда сказанное совмещается с несказанным. Слова понятны всегда, не понятна мысль. Непонимание разрушает языковое тождество, понимание его создает. Вот, например, солдат. Ему дают вербальную команду, он ее выполняет. А вот дрессируют собаку, ей тоже дают вербальную команду, она ее тоже выполняет. Но из этого факта не следует, что собака поняла, для нее слово — физический сигнал, ей дали стимул, она ответила реакцией. Чем солдат отличается от собаки? Ничем. Ведь ему тоже дают вербальную команду, и он ее выполняет. Для него слово — это тоже сигнал. Поэтому ему тоже не нужно понимать, для того чтобы выполнять. Понимаем ли мы тогда, когда повторяем чьи-то слова? Понимаем, если в них есть семема.

## 2. Семема

То, что ты говоришь, всегда меньше того, что тебе удалось сказать, поэтому язык сам по себе ничего не говорит. Он говорит, если мне нечего сказать, чтобы скрыть пустоту говорящего. Непрерывно также говорит тот, кто не может высказать свою боль.

Согласно Флоренскому, мы говорим ради семемы, ради того, что в слове интимно, лично. В семеме слова есть место для меня, и я хочу занять это место, я хочу говорить. Без меня, без моего высказывания слово не оживет, оно будет мертвым. А это значит, что суть дела не в употреблении слова, не оно делает его живым, как думал Витгенштейн. Этого мало. В слове должна быть семема. Речь, в которой место для моих смыслов сужено, называется внешней.

### **3. Внешняя речь**

Никому не дано знать, что ему удалось сказать. А это значит, что устная речь является неточной, приблизительной. В ней, по словам Делеза, много грязи. Внешняя речь делает тебя артистом, тем, кто очаровывает, а не сообщает. Всякая речь случается на фоне невысказанных смыслов. Внешняя речь — это речь другого и для другого. Она выражена в голосе и состоит из знаков. Внешняя речь вовлекает тебя в поле готовых смыслов сознания другого. От влияния другого можно укрыться только во внутренней речи. И тогда внешняя речь может стать защитой твоего сознания от другого.

### **4. Внутренняя речь**

Внутренняя речь — это речь для себя. То, что заставляет меня действовать не в соответствии с умом другого, а в соответствии со своим умом. Согласно Выготскому, внешняя речь предшествует внутренней. Она сначала превращается в шепот, а затем уходит внутрь языкового сознания. Внутренняя речь — это, на его взгляд, ослабленная внешняя речь. Все, что у нас внутри, мы взяли извне. Ничего своего у человека нет. Человек — существо социальное. Внутренняя речь — это результат интериоризации. Вот пример. Ребенку говорят «дай», и ему дают мяч. Ребенок повторяет слово

«дай» и возвращает мяч. Затем ему снова говорят «дай». Он уже не повторяет слово, а просто дает мяч. На этом уровне, если верить психологам, формируется внутренняя речь. Затем ребенку уже никто не говорит «дай», он сам дает. На этом уровне суггестор добивается смены знаков субъектности. Ребенок, не оказывая сопротивления, занимается самовнушением, что позволяет отнести его поведение к приемлемому культурой.

Возражение Выготскому состоит в следующем: если знаки перенести извне внутрь, то они станут умственными, то есть выполняемыми в уме, но не психическими действиями. Такой перенос не ведет к формированию внутреннего плана, замыслов действия.

Объяснение внутреннего плана человека в терминах деятельности таково: от действия с предметом (например, с ложкой) нужно перейти к обмену знаками. В результате обмена знаками возникает коллектив. Коллектив больше любого индивида. Индивид присваивает содержание, персонифицированное в другом, и расширяет горизонт своего существования. Индивид расширяется, в нем развивается внутренний план, и этим внутренним планом он будет обязан другому (коллективу). Все это и будет называться интериоризацией.

На мой взгляд, индивид выступает в этой теории в качестве того, что лишено самости, а значит, и произвола. На него действуют знаками так же, как на собаку, которую дрессируют. Следовательно, у него, как и у собаки, не может возникнуть внутренний план. Этот план нуждается в самовоздействии. В основе внутреннего плана человека всегда лежит свобода.

## 5. Голос

Среди невербальных элементов речи привлекают внимание голос, интонация, которые могут породить как крик, так и пение. Речь вообще нуждается в голосе, но голос не нуждается в речи. Для того чтобы быть, ему достаточно быть самим собой. Интонации голоса говорят не меньше, чем слова, выражая смысл речи. Голос

противостоит опосредованной косности знаков устной и письменной речи, являясь непосредственным языком уже-сознания. Устную речь можно использовать как для мысли, так и для коммуникации. В первом случае мыслят вслух, и это мышление монологично, то есть устремлено к молчанию. Во втором случае перебрасываются словами в диалоге с другим. Устная речь соединяет с другим, являясь дополнением к тем взглядам, которые бросаются друг на друга. Она диалогична по своему существу и сопровождается фигурами из языка тела. Диалог — не более архаическая форма, чем монолог. Диалог всегда не досказывает. Монолог говорит все. В устной речи сочетаются вербальные и невербальные элементы. Звуковой язык сопровождается визуально-графическим изображением.

## 6. Письмо

Письмо — это речь без собеседника. Речь-монолог. Письмо намного чище устной речи. Оно ближе к внутренним смыслам и дальше отстоит от социума. Письмо сопряжено с молчанием. С письма начинается история человека воображающего. Поскольку письмо обращено к тому, кто отсутствует, постольку оно обходится без эмоций, интонаций и звуков. Внимание к письму вызвано тем, что Деррида называет «смертью книги». Без сомнения, книга умерла. Вернее, умирает. Но если умирает книжный язык, то означает ли это, что умирает речь? Отношения речи к письму строились по модели «раба и господина». Смерть раба меняет положение хозяйки, то есть речи. Речь теряет свой литературный характер, и возможно, она попытается найти место прислуги в современном мире, понимаемом как текст. В этом мире все становится языком. А это значит, что язык покидает пределы языка и, совершив трансгрессию, теряет свой смысл.

Смерть книги, вернее, книжного человека, то есть интеллигенции, сдвинула какую-то культурную плиту, за которой обнаруживается неизвестное письмо, которое лучше всего назвать дословным, а не фонетическим. Это письмо как таковое, то есть чистое письмо, примером которого является ручная речь (Март), наскальная

живопись, ибо этой живописи не нужен язык, не нужна речь. В ней важно доречевое содержание. К чистому письму Деррида не без основания относит и речь, состоящую из одних согласных.

## 7. Мышление и речь

Всякая мысль есть движение языка, замена одного знака другим, отталкивание от содержаний и падение в пустоту. Но не всякое движение языка есть мысль. Движение знаков может происходить и безотносительно к мысли. Движение можно понимать как метафору, как перенос значений. Поэтому в метафоре мысль у себя дома. Если бы в языке не было пустых слов, то не было бы и переноса значений.

Мыслить — значит приводить слова в замешательство, делать между ними выбор. Если нет выбора, то нет и мышления. Никто не знает, как мысль находит слово. Симптомом однажды случившегося вербального замешательства является различие между грамматической структурой и логической структурой мысли, между речью и ситуацией. Одна и та же фраза, произнесенная в разных ситуациях, будет выражать разные мысли. Например, я говорю своему гостю: «Дождь закончился». Это значит, что ему пора уходить. В другой ситуации это будет означать «хватит отдыхать, пора работать». Мысль подчинена логике. Язык подчинен грамматике. Из грамматики языка, как из скорлупы, нужно учиться извлекать мысль, если она в нем есть. Мысль не зависит от языка. Если бы она зависела от него, то тогда с изменением языка менялась бы и мысль. Но языком измененная мысль перестает быть мыслью, ибо она теряет тождество с бытием, приобретая тождество с языком. Слова и язык не играют никакой роли в механизме мышления. Элементами мышления являются не знаки, предназначенные для сообщения другим, а произвольно комбинируемые образы.

Бытие — не в грамматике языка, а в мысли. Поэтому мыслят в одиночестве, а живут социально. Если кто-то говорит: «жарко», то это еще не мысль, а выражение состояния. Но если я этому слову

придам смысл предложения «пойти искупаться», то это будет уже мысль. Но и предложение «пойти искупаться» может означать всего лишь попытку уклониться от встречи, и так до бесконечности чередования означающих.

## 8. Текст

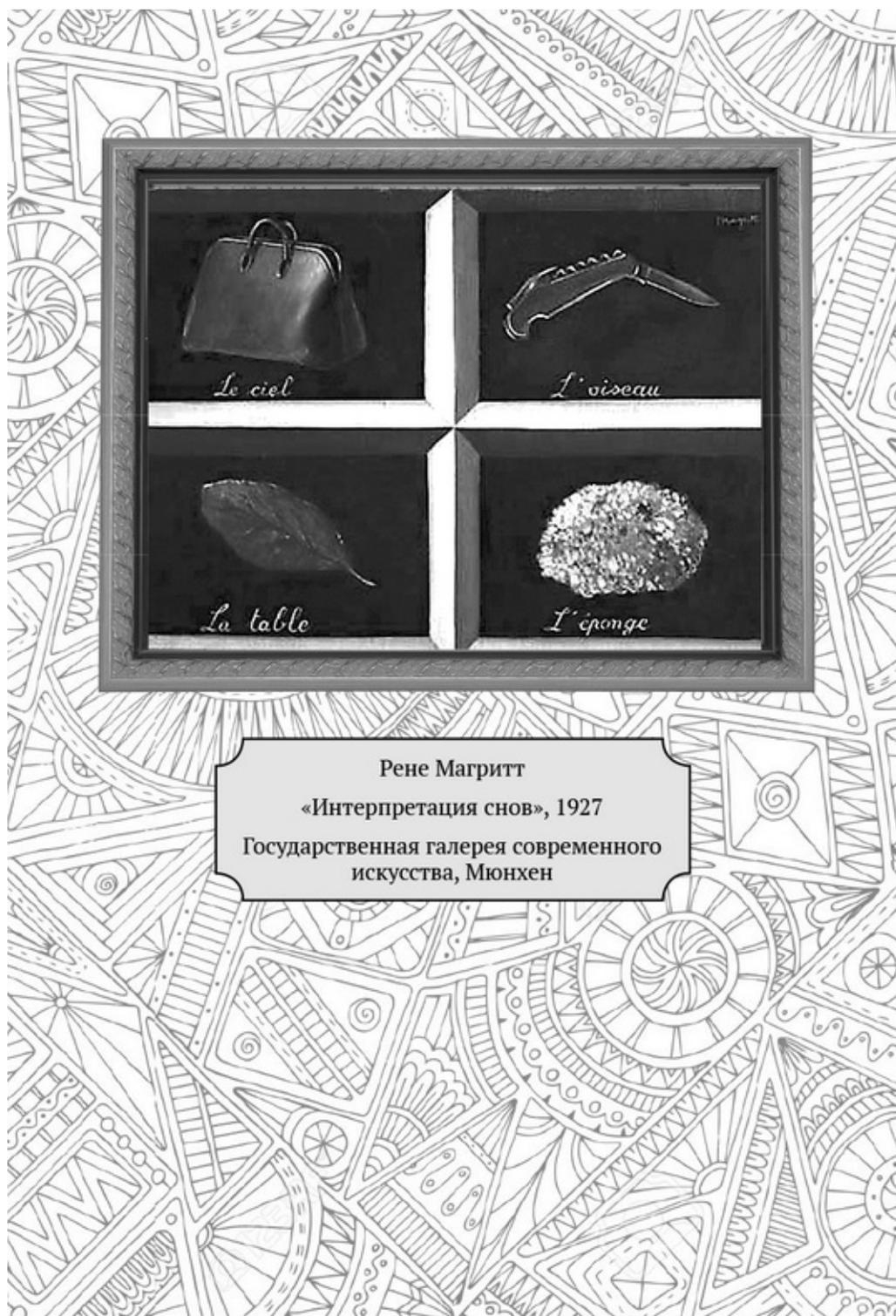
В средние века было четыре служителя книги. 1. Скриптор, который переписывал тексты. 2. Компилятор, собиравший тексты, связанные между собой. 3. Комментатор, который прояснял смысл текста. 4. Автор, который излагал свои мысли по поводу прочитанного с опорой на авторитеты.

Современный текст — это не текст, не совокупность знаков, наделенных смыслом, а пространство расходящихся тропинок смысла. Непрерывное смещение смысла делает ненужной функцию автора, того, кто является производящей причиной смысла, кто удерживает его в связи с целым, одному ему ведомым. Из всех служителей книги более всех пострадал автор. С отмиранием функции автора умирает и сам автор. После его смерти теряет работу комментатор, ибо ему из-за отсутствия смысла нечего комментировать и прояснять. Не лучшие времена наступили и для компилятора, ибо он может соединять только то, что уже соединено между собой. Разбежавшиеся смыслы делают это соединение невозможным. Только скриптор чувствует себя хорошо, так как письмо — его бытие. Скриптор полагает, что писать — это значит освобождать смыслы. Он, как переписчик, не существует вне процесса письма. И одновременно он комфортно себя чувствует вне процедуры порождения смысла. Скриптор — машинистка, для которой знаки не имеют никакого значения. Для него знак — это возможность перехода к другому знаку. Скриптор не является субъектом письма. Ему не надо мыслить. Для него язык существует вне связи с мыслью. Он одно предложение ставит рядом с другим предложением механически.

Фразы, оказавшиеся рядом, часто создают смысловые связи, которые не ожидалось. Вот пример семантической фигуры речи, зевгмы, создающей комическую ситуацию: «Шел дождь и три

студента, первый — в пальто, второй — в университет, третий — в плохом настроении», или: «Продается собака. Ест любое мясо. Очень любит маленьких детей».

Письмо — это попытка скриптора догнать смыслы. Писать — это не значит освободить смыслы. Скриптор заменяет автора и создает тексты-вампиры. Теперь уже не они дают тебе энергию и смыслы, а ты им. Ты вынужден приписывать смыслы тому, что смысла не имеет. Поэтому текст скриптора никогда не равен самому себе. В любом его слове есть возможность означать все что угодно. Слово не желает быть в рабстве у референта. Конфигурация отношения слов и вещей освободила слово из-под власти обозначаемого. Скриптор приходит, чтобы дать свободу слову. Чтобы освободить его из-под власти вещей и автора.



Рене Магритт  
«Интерпретация снов», 1927  
Государственная галерея современного  
искусства, Мюнхен

## Глава 13. Слова

С. Булгаков писал: «Слово исходит из тьмы молчания».<sup>162</sup> А это значит, что оно возникает раньше, чем его употребление. Слово может пониматься как знак и может пониматься как символ. О важности различия между говорящим и слушающим, а также между мифом и логосом, свидетельствует драма Софокла «Филоктет».

На острове Лемнос жил Филоктет, герой войны, друг Геракла. Жил он один, и не было у него ничего, кроме лука и стрел, подаренных ему Гераклом. Когда-то был Филоктет знаменит и уважаем греками. Но однажды ему не повезло. Его укусила в ногу змея. На месте укуса образовалась зловонная незаживающая рана. Рядом с Филоктетом невозможно было находиться, и греки решили избавиться от него. Одиссей высадил Филоктета на безлюдном острове и, оставив его умирать, уплыл.

Шло время. Война с Троей затягивалась, и боги сказали грекам, что они могут победить Трою, если у них появится оружие Геракла. И вот тогда-то греки вспомнили о Филоктете и стали делать все, чтобы забрать у него оружие Геракла. Они привезли ему подарки, вспомнили о его былых заслугах. Но что бы греки ни говорили, он не верил их словам и не понимал их проблем, ибо они обращались к нему на языке логоса. Их слова были знаками. И только в момент, когда Филоктету из мира мертвых явился сам Геракл со словом-мифом и напомнил ему о дружбе, о том, что боги хотят помочь грекам, а он, Филоктет, последовав воле богов, получит исцеление, он прислушался к его словам и отдал грекам лук и стрелы.

Итак, у греков есть два типа слов: слово-логос и слово-миф, или слово-знак и слово-символ. Как миф слово никогда не обманывает, оно всегда истинно и доносится до нас как бы из потустороннего мира. Как логос слово приходит из этого мира. Оно земное, поюстороннее. Оно может обманывать и вводить в заблуждение. Двум типам слова соответствуют два типа слушания. Слушать мифы — это значит внимать, принимать в себя, всем существом слушать. Слушать логос — это значит слушать ухом, слышать простые человеческие слова. Логос слышат. Мифу внимают.

## 1. Идея двух языков

Язык — это всегда два языка: язык внешний и внутренний, божественный и человеческий, ритуала и игры, жреца и воина. Есть имена, которые дал бог, и есть имена, которые дал человек. Бог назвал свет днем и тьму — ночью, твердь — небом и сушу — землей. Адам дал имена животным.

В каждом языке существуют два языка: один — священный, другой — повседневный. Один для себя, внутренний, другой для другого — внешний. На внутреннем языке говорит с человеком бог, на внешнем — обращаются к другому. На нем защищают внутренний язык от суггестии другого. В каждом слове есть два слова: внешнее и внутреннее.

## 2. Первое слово

Первое слово — это эмоциональная картина, в которой все повествование помещается в одном слове, и это слово — антислово. Марр его называл «мы — они», «это — то». Первое слово может обозначать что угодно. Например, весло могло обозначать действие (вести куда-нибудь) и предмет (лодку, лошадь, повозку).

Ребенок рождается как солипсист. Ему достаточно одного слова, чтобы выразить свое отношение к миру, чтобы изолировать себя от мира. Ребенок смотрит, чтобы смотреть, и хватается, чтобы хватать. И одно действие не связано с другим действием. Его тело рассыпано как бы на отдельные фрагменты, и он не узнает в них свое тело. Русские люди любили пеленать детей, чтобы они движениями своих рук и ног не могли себя напугать. Только на стадии зеркала ребенок собирает свое тело в одно целое и уже хватается, чтобы смотреть, и смотрит, чтобы схватить, то есть связывает одно действие с другим.

Первое слово бессмысленно. Если ребенок говорит «мама», то это не значит, что он имеет в виду маму. Первое слово — это слово без языка. В нем актуализируется прескрипция, повелительный зов, который может быть проинтерпретирован как «иди сюда», «дай», «помоги мне». В этой интонационной суггестии Выготский видел

явную принадлежность ребенка к социуму. Это давало ему основание говорить о присутствии социального в первые же минуты жизни ребенка. Проблема состоит в том, что первое слово бессмысленно. Сначала ребенок бессмысленно кричит, затем бессмысленно гукает, в полгода ребенок бессмысленно лепечет. Лепет — это речевой хаос аутиста, в котором нет места другому. Другой существует в сознании исследователя, в данном случае — в сознании Выготского, а не в сознании ребенка.

Согласно Выготскому, ребенок нуждается во взрослом, в другом с самого момента его рождения. Он его ищет, ждет, высматривает. Но ребенку никто не нужен, он занимается только собой. Об этом говорит следующий факт: ребенок никого не слушает, он, как аутист, когда-то впервые себя услышит, и ему понравится то, что он услышит. Он будет слушать только себя. Ребенок станет удваивать звуки, повторяя их. В итоге появятся эхоталии, удвоенные слоги, например «ма-ма», «па-па». Но слова на этой стадии пусты. В них взрослые вкладывают смысл, как в пустую банку. Но этот смысл принадлежит взрослым, а не ребенку.

Другое дело, что ребенок изначально переживает целостность пра-мы. А это значит, что он — это не его тело, к которому приурочено его детское сознание. Его «я» — это он и его мама. Его тело — это мама, которая включает в себя весь мир.

Языковая среда, как магнит, вытягивает из хаоса лепета те звуки, которые близки ей по порядку. Поэтому лепет русского ребенка — это уже не лепет ребенка из семьи французов. В фонации ребенка интонация меняет свой рисунок, реагируя на языковую среду. Никакой языковой компетенции у ребенка нет, кроме языковой среды. Например, если годовалого ребенка спросить по-русски: «Где окно?» — то он покажет на окно. А когда его спросят с той же интонацией по-французски: «Где окно?» — он тоже покажет на окно. И когда по-немецки — он тоже покажет на окно. И даже когда ему просто скажут «ля-ля», но все с той же интонацией, и тогда он тоже покажет на окно. Равно как одно и то же слово он будет отсылать к самым разным предметам.

Для ребенка одни и те же слова будут различаться в зависимости от эмоциональной раскраски мира, от того, кто их произносит. Для близких у него будет одна реакция, для чужих — другая. Они — это чужие. Они страшные, их надо бояться, от них исходит опасность. Даже питаться ребенок предпочитает только дома, ибо дом обжит, обитаем. Плач ребенка — это призыв о помощи к своим, к тем, кто связан между собой мелодикой голоса, интонационными подъемами и падениями. Чтобы понимать своих, достаточно голоса, его мелодии. Чтобы спрятаться от чужих, требуется язык. Язык создан для того, чтобы они не могли оказаться среди нас, для того чтобы мы их не понимали, чтобы они не могли оказать на нас речевую суггестию.

### 3. «Антислово»

До появления слова были предложные и местоименные звуки. Как только пропасть между ними была заполнена глаголами, появилась речь. Речь появилась прежде слов.

Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает: «Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного. Вот один парень резко и энергетически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь шла, свое самое презрительное отношение. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но в совсем уже другом тоне и смысле, — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут вызывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле: «Что, дескать, что же ты так, парень, влетел? Мы рассуждаем спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать!» И вот всю эту мысль оно

проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве что только поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть, вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге приподнимая руку, кричит... Эврика, вы думаете? Нашел, нашел, нет, совсем не эврика и не нашел, он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не «показалось», и он плечом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом... да все то же самое, запрещенное при дамах слово, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «Чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторяли это одно только, но излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне»<sup>163</sup>.

На этот текст Достоевского ссылались Бахтин и Выготский, которые увидели в нем пример экспрессивной интонации. Я же вижу в нем работу антислова. В антислове достигается компрессия, сжатие смысла до такой степени, что оно превращает наше сознание в первобытное целое. Слова произносятся во времени, как последовательность звуков. Они линейно упорядочены. «Антислово» — это лингвистическая черная дыра, в нем нет пустот, разряженности, она может только взрываться. В нем существует полнота смысла, представленная в один момент времени всеми своими частями. Всякое слово пульсирует между компрессией и декомпрессией, сжатием и рассеянием. В антислове происходит сжатие, в слове — разряжение.

«Антислово» указывает на то, что слова создавались не для того, чтобы обозначать предметы, а для того, чтобы быть перформативом, выражать эмоции, ограничивая самого себя. Предметы были втянуты в пространство слова его декомпрессией, его пустотами. Любая идея, любая философская теза — это не что

иное, как взрыв слова, рождающий метафору.

#### 4. «Слово-магия»

»Слово-магия» утешает и склеивает клеем галлюцинаций мистериальные отношения. Оно выражает, но ничего не сообщает. Это слово внушает и подчиняет замыслам уже-сознания. В нем не высказывают потаенное, ибо высказывание — предикат внешней речи. Слово-магия выражает невыразимое, оставляя невыразимое в его неприкосновенной невыразимости.

Есть магия имени, а еще есть магия слов и вещей. Магия вещей раскрывается колдуном. Магия слова — это некоммуникативный способ воздействия на другого. Магия слова не содержит в себе информацию, она не связана с предметной соотнесенностью слова.

Этот тип слова не известен Витгенштейну. Для Витгенштейна слова — это монады, которые у него никак не связаны. У него слово — это коробка, в которой сидит жук, ведомый лишь одному человеку. Никто в эту коробку не может заглянуть. С этим обстоятельством связана проблема понимания между людьми, которая для Витгенштейна оказывается неразрешимой. Связывает же людей «слово-магия», но эта сторона дела совершенно не рассматривается Витгенштейном. Теорию «слова-магии» разделял Флоренский. Суть этой теории такова.

В любом слове есть скелет<sup>164</sup>. Его называют фонемой. Это самое прочное и устойчивое в слове. А еще есть плоть слова. Это его этимон, корень, основная морфема. Она более подвижна. Но то, ради чего существует слово, называют семемой. Семема — душа слова. В морфеме сидит другой, грамматик. В семеме есть место для меня. Поэтому при звуках одного и того же слова никто не думает то же, что и другой. Слово воспринимается во времени как делящаяся целостность. То есть мы воспринимаем не набор фонем, а мелодию. Мы слышим мелодию голоса, когда звуки уже отзвучали. Мелодия не результат работы памяти. Если бы мы помнили звуки, то они составили бы хаос одного момента. Мы слышим

последовательность того, что уже в прошлом.

Фонема слова уже сама по себе действует на человека. Она, как музыка, настраивает душу. Ее многие слышат, но лишь некоторые понимают. Звуки слова цельны. Удачный подбор слов воздействует на слушателя, развивает у него совесть ушей. Вот пример музыки слов, выделенной П. Флоренским из стихов К. Бальмонта.

*В красоте музыкальности  
Как в недвижной зеркальности  
Я нашел очертания снов,  
До меня не рассказанных,  
Тосковавших и связанных,  
Как растенья над глыбою льдов.*

А вот отрывок из стихов А. Белого.

*Он в малиново-ярком плясал,  
Прославляя лазурь.  
Бородою взметал  
Вихрь метельно-серебряных бурь.*

Этимон слова — в его истории, в значении корня. Всматриваться в этимологию — значит считаться с его внутренней формой и, тем самым, делать каждое слово наглядным, образным, поэтическим.

Вот, например, слово «кипяток». Его этимон передается словами скакать, подпрыгивать, плясать, прыгать через голову. Кипяток не содержит никаких указаний на температуру. Кипяток — это, как говорит П. Флоренский, скорее скакун, плясун, прыгун. Возникает вопрос: а связана ли музыка слова с его этимоном? Флоренский считает, что связана. Но доказать это трудно.

Семема слова «кипяток» — это то, что впускает нас к себе, в свой дом с нашими чувствами и мыслями. Кипяток — это что-то горячее,

обжигающее, с высокой температурой. В материалах для словаря Срезневского<sup>165</sup> говорится о том, что кипяток — это источник воды, гной ран, черви, кишаси на членах человеческих, ров с горячей смолой и т. д. Кроме того, может кипеть море, а также люди и душа. Мы говорим «работа кипит», то есть идет спор, ловко. Семема слова в каждом из нас пускает свои боковые и воздушные корни, связываясь с боковыми ассоциациями. «Неопределенность, безграничность, зыблемость семемы позволяет протягивать невидимые нити между словами там, где их как будто невозможно протянуть. От слова тянутся нежные, цепкие щупальца, захватывающие щупальца другого слова. Слово с расширенной семемой воистину живет претрепетной жизнью. Оно затрагивает такие струны души, которые доселе молчали. Смутное, далекое, полузабытое, дремлющее шевелится в глубинах души. Навстречу такому слову»<sup>166</sup>. То есть слова ведут между собой какой-то неоконченный разговор, в котором мы все меньше и меньше принимаем участие. Когда же семема слова успевает пустить в нас свои боковые корни, если слово — это просто знак, с точно определенным значением?

Цитата из Флоренского: «В изучении слова мы подходим к основному противоречию, которое разрешимо только одним способом, а именно — признанием того, что прежде, нежели понять друг друга словесно, мы должны уже понимать друг друга внутренне, мистически, непосредственно. Чтобы разговаривать, надо иметь мистическое единство душ, которое разговором только выявляется сознанию»<sup>167</sup>. А вот цитата из Выготского: «Непосредственное общение душ невозможно»<sup>168</sup>.

Что говорит Флоренский? 1. Представление о том, что знаками задается внутренний мир человека, ложно. 2. Мыслить — это не значит говорить. 3. Внешнее, социальное не создает внутреннее. На этих, отвергаемых Флоренским посылах, строилась психология в 20-е годы Выготским и его сотрудниками, которые создали так называемую психологию без души.

Пониманию на словах предшествует дословное понимание. Флоренский настаивает на том, что нужно уже понимать друг друга, чтобы потом мы понимали друг друга вербально. Понимать — значит находиться внутри одной иллюзии, одной галлюцинации. А это значит, что границы твоей телесности, твоего тела совпадают с коллективным представлением, а не с твоим физическим телом. Твое тело заканчивается там, где существуют Они, те, кого мы не понимаем. Непонимание — условие идентификации с тем целым, которое есть Мы. А Мы — это уже-сознание.

## 5. «Слово-перекресток»

Слово как перекресток — это концепт Бахтина, основанный на представлении о том, что человек является знаковым социальным автоматом. В «слове-перекрестке» важны указания на социальный статус, роль, место и время разговора, жанр речи. Это слово диалогично, у него нет ни начала, ни конца. В нем нет семемы, оно пусто. Если бы оно не было пусто, то оно не могло бы быть местом встречи и столкновения разных людей и разных ценностей. В слове-перекрестке Бахтина нельзя встретить жука Витгенштейна. В нем все значения выставлены на всеобщее обозрение.

«Слово-перекресток» делает возможным существование празднословия. С того момента, когда слова говорятся праздно, без отнесения к мысли или делу, начинается время болтовни. Болтовня зарождается на перекрестке. Она отличается от диалога тем, что в диалоге происходит обмен контекстами, а болтовня строится без прощупывания смысла уже-сознания. «Слово-перекресток» сообщает, не выражая мысль и не высказывая ее. Оно как бы анонимно транслирует уже существующие смыслы. Проницательность Бахтина состояла в том, что он речью стал называть только ту речь, которая встретила с другой речью. Болтовня же — следствие этой встречи. После высказывания, после совершения речи-действия остаются трупы слов, которые, по словам Бахтина, филологи помещают в словари, как в морги, где их изучает лексикология. Мертвые слова радуют лингвистов и составителей словарей, ибо словарные слова состоят из мертвых

значений, это слова вне контекста, и поэтому они являются незавершенными, то есть полуфабрикатами слов.

Проблема же Бахтина состоит в том, что у него одна речь ищет встречи с другой речью и не ищет встречи с самостью, то есть у него все речи поверхностны и двигаются в горизонтальной плоскости. У них нет отношений к внутренней речи, к невысказанным смыслам, к тому, на что указывает движение по вертикали, вглубь. Тогда же как, на мой взгляд, речь — это не что иное, как отношение внутренней речи к внешней речи.

## 6. «Слово-термин»

«Слова-термины» — это слова с одним значением. Из «слов-терминов» легко составить бессмыслицу. Вот бессмыслица по Л. В. Щербе: «Глѳкая кѳздра штѳко будланѳла бѳкра и курдѳчит бокрѳнка». Здесь лексика не имеет значения, а смысл передается грамматикой, указанием на род, числом.

А вот пример Хомского: «Бесцветные зеленые идеи бешено спят». Или пример Жинкина: «Сорви арбуз у основания собачки и положи на муравьиное колечко». Здесь одни термины, и нет никакого научного смысла, отличного от повседневного.

Или цитата из книги Бурдые «Практический смысл»: «В самом деле, проекция на предмет необъективированного отношения объективации вызывает в разных областях практики всякие различные последствия, несмотря на то, что они исходят из одного и того же принципа: либо им придают как объективную основу практики то, что завоевано и выстроено благодаря работе по объективации, опрокидывая на реальность то, что существует лишь на бумаге через и для науки; либо интерпретируют действия, которые, как ритуалы или мифы, имеют целью воздействовать на природный и социальный миры так, как если бы речь шла об операциях, предназначенных для их интерпретации»<sup>169</sup>. В непрозрачности этого предложения нет никакого философского смысла. В нем переводчиком утерян даже здравый смысл.

## 7. «Слово-заглушка»

«Слово-заглушка» — это слово, которое препятствует нормальной реализации эмоции или чувства. «Слова-заглушки» создаются в редакциях газет и журналах, в идеологических штабах политических партий. Пример: афро-россиянин, воин-интернационалист. Последняя заглушка работает так: солдаты часто погибают. Их смерть переживается родными, и это нормально. А воины-интернационалисты не погибают, ибо они интернационалисты, они выполняют высшую миссию, и ими нужно только гордиться. Поэтому близкие погибшего должны гордиться его смертью, то есть они в связи с гибелью воина не могут нормально реализовать свои чувства.

Бывают заглушки для ума, например, заглушка для ума философа: биосоциальная сущность человека. Пресуппозиция этой заглушки: у человека есть сущность.

## 8. «Слово-бумажник»

«Слова-бумажники» увидел Делез. Это слова, в которых нужно закрыть один смысл, чтобы прочесть другой. Например, «единичество», то есть един и одновременно один. Или «отноцентризм», то есть относительный и центральный. Или «анонсенс» — анонс и нонсенс. Деррида говорил о слове как знаке в динамике. В речи актуализируется одно из различий, удерживаемых словом при отождествлении типа: А есть В.

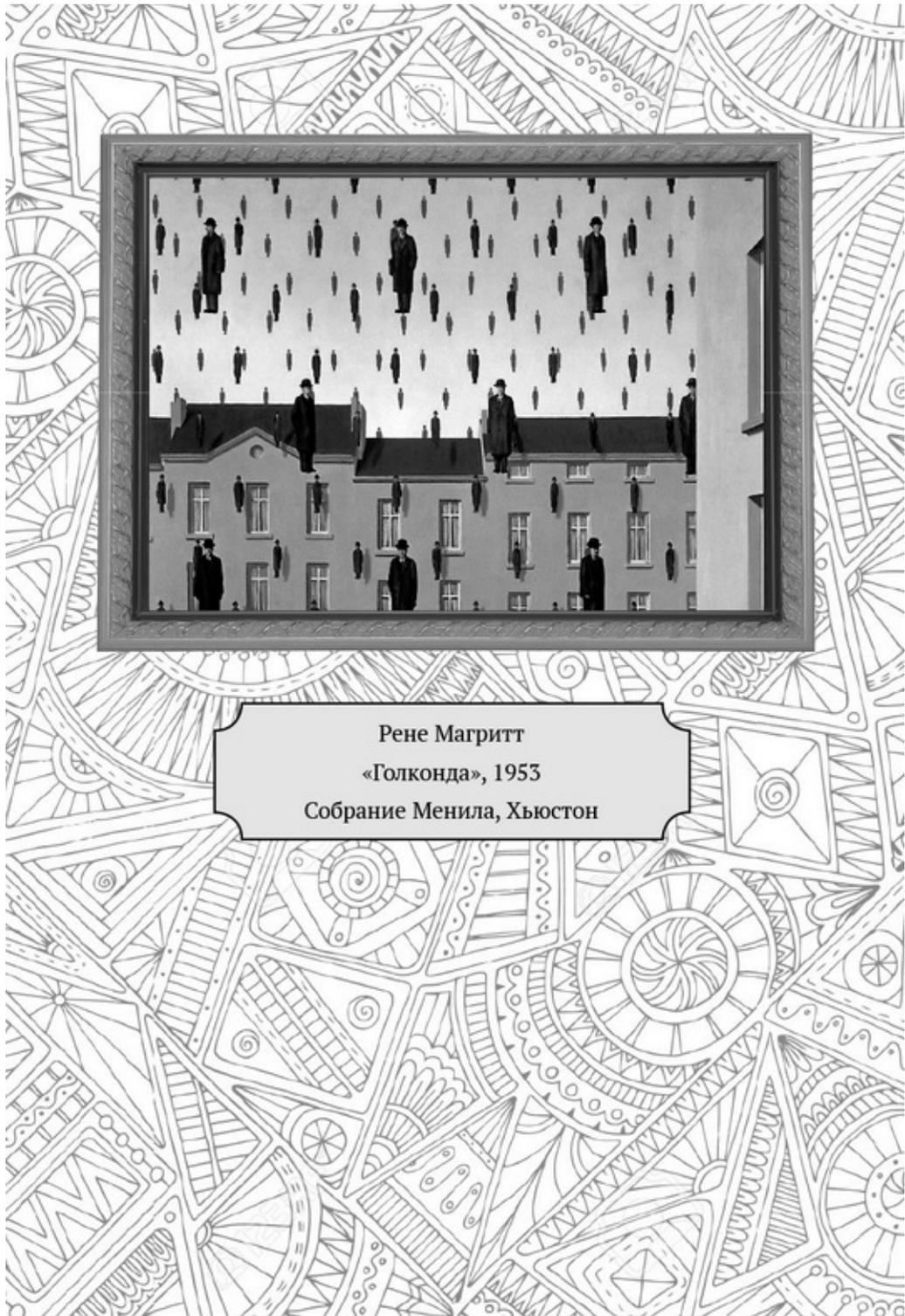
## 9. Диатеза

Можно сказать: «Я построил дом», а можно: «Дом был построен мной». В русском языке есть два залога: активный и пассивный. Глаголы с постфиксом «ся» называются возвратными и относятся, как правило, к действительному залогу. Например, «я умываюсь», то есть я сам умываю себя. Это действительный залог. Здесь есть субъект действия — это «я». И также есть объект действия — это то же «я». Объект и субъект совпадают, что выражается возвратным глаголом.

Возьмем другое выражение: «собака кусается». Значит ли это, что она сама себя кусает? Нет. Кусаться означает кусать, быть злой. То есть здесь субъект не совпадает с объектом. А это значит, что постфикс «ся» теряет значение возвратного действия. То же самое относится и к крапиве, которая жжется. И здесь частица «ся» как бы без дела, избыточна, ибо крапива сама себя не жжет. Почему? Потому что собака, равно как и крапива, — это грамматический субъект. Онтологически они бессубъектны. И поэтому возвратному глаголу некуда возвращаться. Онтологически собака и крапива — это объекты действия, а не субъекты. Поэтому никакого совпадения объекта с субъектом в данном случае быть не может. Субъект — человек. Поэтому когда я сержусь, то я сердит сам на себя. А если мы целуемся, то это взаимно возвратное действие.

Медведь не может оборотиться, то есть посмотреть сам на себя. Он может повернуть голову. А человек может оборотиться, то есть посмотреть на самого себя. И позволяет ему это сделать сознание. Он может построиться, то есть построить для себя дом. Но сам дом не может себя построить. Самодвижение мира репрессировано языком. Иными словами, создав язык, человек, как Прометей, похитил субъектность мира. Присвоил ее себе. И мир теперь существует объектно, то есть с дырой на месте субъектности. И в эту дыру проглядывает ничто.

Субъект-объектному делению мира предшествуют синтезы довербального уже-сознания, которое не переносит субъектность на природу. Оно обесмысливает саму возможность субъектно-объектного членения мира, стирая границу между внутренним миром и внешним. И в этом смысле первые слова человечества, равно как и первые слова ребенка, — это слова медиального залога, близкого к безличному «темнеет», которое не знает чтойности тьмы.



Рене Магритт  
«Голконда», 1953  
Собрание Менила, Хьюстон

**Глава 14.**  
**Язык и социум**

Язык возникает как жест отстранения Нас от Них, от тех, кто не такие, как Мы, у кого актуализированы другие галлюцинации. Между Нами и Ими должно быть непонимание. То есть язык — это игра в прятки Нас от Них. Эта языковая игра стала следствием первичного переживания пра-мы. Под пра-мы в философии понимается нерасчлененная на «я» и «он» самость. В психологии под пра-мы имеются в виду отношения матери и ребенка.

Если язык перестает отделять Нас от Них, то тогда нам, как аутистам, приходится отказываться от языка. Отказавшись от языка, мы отказывается и от «я», пытаюсь обойтись без этого языкового костыля.

## 1. Мы и Они

Аутисты не выделяют людей, не отличают их от предметов. Один этот факт требует осмысления проблемы отношений в пространстве «Мы и Они».

Они — это, конечно, ненормальные, не люди. Они обезьяны и людоеды. Мы — люди. Мы нормальные. Проблема же состоит в том, что мы в них все-таки что-то принимаем. Если бы мы ничего не принимали, то мы бы не могли с ними обмениваться жестами. Но они на жест отвечают жестом. А это значит, что Мы и Они где-то пересекаются, то есть в нас есть что-то от них, а в них — что-то от нас.

Среди нас есть Они, но такие же, как Мы. И среди них есть Мы, но такие же, как Они. Так появляется категория тех, кого называют Вы. Вы — это не Мы, но это и не Они. Вы — это Они, которые с Нами. Для женщин — это мужчины, для взрослых — дети, для бедных — богатые, для реалистов — аутисты.

Но если есть пересечение или даже касание между нами и ими, то это значит, что есть и те, кому приходится прятаться, скрывать, утаивать от нас, что Они — не Мы, а от них — что Они такие, как Мы. Двойственность пересечения Мы и Они, утаивание этой двойственности порождает внутренний мир человека, который не

требует плана выражения, ибо носит аутистический характер. Знаки изобретают те, кому нечего скрывать.

## 2. «Я» как социальный ноль

Отказавшись от «я», аутисты отказываются вступать в контакт с социумом. Желание исследовать мир у них угасает раньше, чем их рука дотянется до заинтересовавшего их предмета.

Язык существует только в пределах создаваемой им социальной реальности. Социум — это множество других, сосчитанных из предельной точки социума. Предельная точка социума — это пустое «я», которое ничего не прибавляет к счету и ничего не убавляет. «Я» — это социальный ноль, пустое именование места, которое начинает счет другим и завершает этот счет, не будучи сосчитанным. Пустое «я» является соблазном для другого. Оно не является элементом социума и поэтому находит в нем все, кроме себя.

Социальность всегда испытывает нехватку «я», отсутствие которого воспринимается другими как пустота, как дыра в материи социального. Другой пытается означить «я», навесить на него социальный ярлык. «Я», означенное другим, становится поименованной точкой социального пространства. Всякое «я», не обнаружив себя в социуме, обращается к языку в поисках своего имени. Но, что бы социум не предлагал, я говорит, что это не «я». Если «я» именуется другим, то оно входит в пространство поименованных других и принуждено говорить на языке другого. Его дискурс сводится к дискурсу другого, ибо у него нет собственного имени и нет собственных значений. Он не может говорить от своего имени. Речь, в которой «я» не имеет собственных значений, оказывается пустой.

Отсутствие имени в языке заставляет «я» вернуться к себе в некоммуникативном жесте именованного самого себя. Лишь именуя себя, «я» может вернуть себе свою речь, сделать ее полной. Поименованный другим не может встретиться с собой. Он надеется на встречу с другим. Разрыв с социумом возвращает ему полноту смысла, придавая его речи собственные значения.

Но «я» может застрять в языке и не вернуться к себе. И тогда говорящий станет говорить с удвоенной энергией.

Благодаря самоименованию «я» всегда находится не там, где его именуют другие. От него остается цепочка следов его отсутствия. Поэтому «я» есть предел существования социума.

### 3. «Аутистическая коробка»

Имеет ли слово само по себе значение? На этот вопрос существуют два ответа: да и нет. Выготский говорит «да». Витгенштейн скажет «нет». Согласно Выготскому, слово и значение слиты воедино. Если бы они не были слиты, то тогда было бы невозможно речевое мышление. Речь была бы сама по себе, а мышление само по себе.

На мой взгляд, речь и мышление изначально не зависят друг от друга. Мы мыслим не потому, что говорим, а говорим не потому, что мыслим. Скорее, наоборот. Когда мы говорим, мы не мыслим, а когда мы мыслим, мы не говорим. Феномен мышления вслух — это феномен проговаривания видений, грез, которые приходят нам в голову. Это как бы описание сна наяву. Обычно слова произносятся вне связи с мыслью, а мысль мыслится вне связи со словом.

Итак, согласно Выготскому, значение неотделимо от слова, тогда как Витгенштейн считал иначе. И мне кажется, что прав был Витгенштейн, выступив с критикой референциальной системы языка.

Человек, обращаясь к языку, учится использовать синтаксис и слова. Но каждое слово для каждого человека оказывается аутистической коробкой, в которой, в свою очередь, у каждого сидит свой жук. А поскольку никому нельзя посмотреть на жука в чужой коробке, постольку все думают, что жук — это то, что у него в коробке, и с этой мыслью вступают в социальную коммуникацию. Но то, что находится в коробке, вообще не принадлежит языку. Когда говорят, используют слова, а не значения слов<sup>170</sup>. Каждый

знает, что такое жук, по внешнему виду своего жука, но вполне может оказаться так, что в коробке находится совсем не жук, а что-то другое, или там вообще ничего нет. Но при этом слово «жук» будет употребляться людьми, хотя оно не может быть обозначением того, что в коробке, ибо то, что в коробке, существует вне языка.

## **Заключение**

Начиная писать эту книгу, мне казалось, что я понимаю кое-какие вещи. Заканчивая работу над ней, я понимаю, что оказался в сумеречном лесу, выбраться из которого нет никакой возможности.

## Примечания

[<<1>>](#) См.: Фуко М. Слова и вещи. М.: Прогресс, 1977. С. 436–438.

[<<2>>](#) Там же. С. 437.

[<<3>>](#) Там же. С. 438.

[<<4>>](#) Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1999. С. 239.

[<<5>>](#) См.: Делез Ж. Логика смысла. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 58.

[<<6>>](#) Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.

[<<7>>](#) Хармс Д. Полное собрание сочинений. М., 2014.

[<<8>>](#) См.: Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo Sapiens. СПб., 2003.

[<<9>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009.

[<<10>>](#) См.: Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004.

[<<11>>](#) См.: Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005.

[<<12>>](#) См.: Кант И. Основы метафизики нравственности. М.: Мысль, 1999. С. 222.

[<<13>>](#) Палмер Дж., Палмер Л. Эволюционная психология. Секреты поведения Homo Sapiens. СПб., 2003.

- [<<14>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 8.
- [<<15>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 24.
- [<<16>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 45.
- [<<17>>](#) Там же. С. 12.
- [<<18>>](#) Там же. С. 350.
- [<<19>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 324.
- [<<20>>](#) Там же. С. 11.
- [<<21>>](#) Там же.
- [<<22>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 47.
- [<<23>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 65.
- [<<24>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 54.
- [<<25>>](#) См.: там же. С. 59.
- [<<26>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 8.
- [<<27>>](#) Там же. С. 144–145.
- [<<28>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 150.
- [<<29>>](#) См.: там же. С. 154.
- [<<30>>](#) Там же. С. 231–232.

[<<31>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 247.

[<<32>>](#) Там же. С. 24.

[<<33>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 24.

[<<34>>](#) Там же. С. 27.

[<<35>>](#) *Блонский П. П.* Память и мышление. М., 2007. С. 96.

[<<36>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 99.

[<<37>>](#) Там же. С. 100.

[<<38>>](#) Там же.

[<<39>>](#) См.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 394–396.

[<<40>>](#) Там же. С. 399.

[<<41>>](#) Там же. С. 319.

[<<42>>](#) Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2009. С. 320.

[<<43>>](#) См.: Там же. С. 3.

[<<44>>](#) Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 175.

[<<45>>](#) См.: *Поршнев Б. Ф.* О начале человеческой истории. М., 2006.

[<<46>>](#) Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 388.

<<47>> Там же. С. 15.

<<48>> Там же.

<<49>> Там же.

<<50>> Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 11.

<<51>> Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 11.

<<52>> См.: Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 13.

<<53>> Лоренц К. Обратная сторона зеркала. М., 1998. С. 96.

<<54>> См.: *Бородай Ю. М. Эротика — смерть — табу: трагедия человеческого сознания.* М., 1996.

<<55>> См.: Лоренц К. Обратная сторона зеркала. М., 1998. С. 460.

<<56>> Лоренц К. Обратная сторона зеркала. М., 1998. С. 226.

<<57>> См.: Лоренц К. Обратная сторона зеркала. М., 1998. С. 275.

<<58>> См.: Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализов. поведение и язык. М., 2005. С. 53.

<<59>> См.: там же. С. 31.

<<60>> См.: там же. С. 213.

<<61>> См.: Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 212.

<<62>> Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализов. поведение и язык. М., 2005. С. 393.

<<63>> См.: там же. С. 394.

<<64>> См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 55.

<<65>> См.: Мониц Ю. К истокам человеческой коммуникации: ритуализованное поведение и язык. М., 2005. С. 399.

<<66>> См.: Абаев В. И. Статьи по теории и истории языкознания. М., 2006. С. 28.

<<67>> См.: Клягин Н. В. История цивилизации. М., 1996.

<<68>> Клягин Н. В. История цивилизации. М., 1996. С. 24.

<<69>> См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 541.

<<70>> См.: Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. В 3 т. Т. 3. М., 1977. С. 212.

<<71>> См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 560–572.

<<72>> Клягин Н. В. История цивилизации. М., 1996. С. 123

<<73>> Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 21.

<<74>> Блонский П. П. Память и мышление. М., 2007. С. 105–106.

<<75>> Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 21.

<<76>> Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 599.

<<77>> См.: Столяр А. Д. Натуральное творчество неандертальцев как основа генезиса искусства // Первобытное искусство. Новосибирск, 1971. С. 118–164.

<<78>> Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 483.

<<79>> См.: Тейлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.

<<80>> См.: Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.

<<81>> Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 467.

<<82>> Кречмер Э. Медицинская психология. М., 1927. С. 136.

<<83>> Там же. С. 148.

<<84>> Там же.

<<85>> См.: Кречмер Э. Строение тела и характер. М., 2003.

<<86>> Кант И. Критика чистого разума М., 2007. С. 160.

<<87>> Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2008. С. 506–507.

<<88>> Там же. С. 609.

<<89>> Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 2008. С. 609.

[<<90>>](#) См.: Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. Т. 2. М., 1971. С. 77.

[<<91>>](#) См.: Гущин А. Происхождение искусства. М., 1937.

[<<92>>](#) См.: Куценков П. А. Психология первобытного и традиционного искусства. М., 2007. С. 64–78.

[<<93>>](#) Кант И. Критика чистого разума. М., 2007. С. 143.

[<<94>>](#) Там же. С. 159.

[<<95>>](#) Блейлер Э. Аутистическое мышление. М., 1927.

[<<96>>](#) Поршев Б. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 496.

[<<97>>](#) Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000. С. 358.

[<<98>>](#) См.: Витняцкий Д. Новое объяснение натурализма пещерной живописи // Природа. 1999. № 5.

[<<99>>](#) Блейлер Э. Аутистическое мышление. М., 1927.

[<<100>>](#) Блейлер Э. Аутистическое мышление. М., 1927. С. 16.

[<<101>>](#) Там же.

[<<102>>](#) Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М., 2004. С. 78.

[<<103>>](#) Питерс Т. Аутизм: от теоретического понимания к педагогическому воздействию. СПб., 1999.

[<<104>>](#) См.: Эфроимсон В. П. Генетика гениальности. М., 1997.

[<<105>>](#) См.: *Ломброзо Ч.* Гениальность и помешательство. М., 1995.

[<<106>>](#) См.: Галлезе В., Ризолатти Д., Фогасси Л. Зеркальная часть мозга // В мире науки. 2007. № 3.

[<<107>>](#) См.: Рамачандран В., Оберман Л. Разбитые зеркала: теория аутизма // В мире науки. 2007. № 3.

[<<108>>](#) Рамачандран В., Оберман Л. Разбитые зеркала: теория аутизма // В мире науки. 2007. № 3.

[<<109>>](#) Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение Я. М., 2004. С. 3.

[<<110>>](#) См.: Кристева Ю. Ребенок с невысказанным смыслом // Философская мысль Франции XX века. Томск: Водолей, 1998. С. 297–305.

[<<111>>](#) Кристева Ю. Ребенок с невысказанным смыслом // Философская мысль Франции XX века. Томск: Водолей, 1998. С. 297–305.

[<<112>>](#) Там же.

[<<113>>](#) Кристева Ю. Ребенок с невысказанным смыслом // Философская мысль Франции XX века. Томск: Водолей, 1998. С. 297–305.

[<<114>>](#) Ростова Н. Н. «Нанук с севера»: бытие как наглядность смысла (Размышления о документальном фильме Р. Флаэрти, 1922, США — Франция) // Философия и культура. М., 2009. № 10.

[<<115>>](#) См.: Лихачев Д. С. Заметки о русском // Лихачев Д. С. Избранные работы. В 3 т. Т. 2. Л.: Худ. лит., 1987. С. 418–494.

- [<<116>>](#) См.: Флоренский П. Философия культа. М., 2004. С. 176.
- [<<117>>](#) Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 616.
- [<<118>>](#) Хайдеггер М. Что такое метафизика / Сборник статей: Что такое метафизика. М., 2007.
- [<<119>>](#) Там же.
- [<<120>>](#) Флоренский П. Философия культа. М., 2004. С. 145.
- [<<121>>](#) Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. С. 309.
- [<<122>>](#) Там же. С. 311.
- [<<123>>](#) *Выготский Л. С.* Психическое развитие ребенка. М., 2004. С. 53.
- [<<124>>](#) Кант И. Основания метафизики нравственности. М., 1999. С. 982.
- [<<125>>](#) Блейлер Э. Аутистическое мышление. М., 1927.
- [<<126>>](#) Делез Ж. Логика смысла. М., 1998. С. 330.
- [<<127>>](#) Ницше Ф. Веселая наука. СПб., 2002. С. 79–81.
- [<<128>>](#) Кант И. Основы метафизики нравственности. М., 1999. С. 982.
- [<<129>>](#) См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 317.
- [<<130>>](#) Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 317.
- [<<131>>](#) Там же. С. 445.

[<<132>>](#) Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. СПб., 2001. С. 211–212.

[<<133>>](#) Эриксон Э. Детство и общество. СПб., 1996. Глава 7.

[<<134>>](#) Ланге Г. К. Душевные движения. М., 1896. С. 57.

[<<135>>](#) Джемс У. Основы психологии. М., 1902. С. 311–312.

[<<136>>](#) См.: Уотсон Д. Психология как наука о поведении. М., 1926.

[<<137>>](#) Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / Психология эмоций. М., 1984. С. 130.

[<<138>>](#) Сартр Ж.-П. Очерк теории эмоций / Психология эмоций. М., 1984. С. 137.

[<<139>>](#) Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 2. М., 1982. С. 32.

[<<140>>](#) См.: Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М., 1971. С. 188.

[<<141>>](#) Серл Д. Открывая сознание заново. М., 2002. С. 93.

[<<142>>](#) Деннет Д. Виды психики. М., 2004. С. 158.

[<<143>>](#) Рикер П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике. М., 1995. С. 156.

[<<144>>](#) Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 136.

[<<145>>](#) Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 1. М., 1982. С. 89.

[<<146>>](#) Там же. С. 88.

- [<<147>>](#) *Выготский Л. С.* Собр. соч. Т. 1. М., 1982. С. 90.
- [<<148>>](#) Там же. С. 96.
- [<<149>>](#) *Выготский Л. С.* Собр. соч. Т. 1. М., 1982. С. 96.
- [<<150>>](#) *Мониц Ю. К.* К истокам человеческой коммуникации. М., 2005. С. 12.
- [<<151>>](#) Витгенштейн Л. *Философские работы.* М., 1994. С. 172.
- [<<152>>](#) *Гегель Г. В. Ф.* *Философская пропедевтика.* М., 1927. С. 20.
- [<<153>>](#) См.: Поршнева Б. О начале человеческой истории. М., 2006. С. 111–125.
- [<<154>>](#) См.: Деррида Ж. *Письмо и различие.* СПб., 2000. С. 355.
- [<<155>>](#) Деррида Ж. *Письмо и различие.* СПб., 2000. С. 355.
- [<<156>>](#) Там же. С. 358.
- [<<157>>](#) Остин Дж. *Перформативы — констативы // Философия языка.* М., 2004. С. 22–34.
- [<<158>>](#) Витгенштейн Л. *Философские работы.* Ч. 1. М., 1994.
- [<<159>>](#) Хайдеггер М. *Бытие и время.* М., 1997. С. 165.
- [<<160>>](#) Хайдеггер М. *Работы и размышления разных лет.* М., 1993. С. XI.
- [<<161>>](#) Лурия А. *Лекции по общей психологии.* М., 2004. С. 72.
- [<<162>>](#) Булгаков С. *Философия имени.* СПб., 1998. С. 14.

[<<163>>](#) Достоевский Ф. М. Дневник писателя. М., 2001. С. 143.

[<<164>>](#) См.: Флоренский П. А. Введение в историю античной философии. Лекция 10 // Философские науки. 2004. № 3. С. 86–87.

[<<165>>](#) См.: Материалы для словаря древнерусского языка И. И. Срезневского. СПб., 1893. Т. 1. С. 14–18.

[<<166>>](#) Флоренский П. А. Введение в историю античной философии. Лекция 10 // Философские науки. 2004. № 3. С. 94.

[<<167>>](#) Там же. С. 80.

[<<168>>](#) Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 2. М., 1972. С. 18.

[<<169>>](#) Бурдые П. Практический смысл. СПб.; М., 2001. С. 69.

[<<170>>](#) См.: Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 183.